



ERYRJUTKILQRQWTERYRJUTKIL44I00M12414VXXVXVBNJKTRPJMVGWERUMVCSYDB

ЧСДДРМЛЫИМЛТЧ ОРПУЦКНПШРМЛОСМТЧСДДРМЛЫИМЛТЧС QWE779ERYJUTKILQR

РИЖСКИЙ АЛЬМАНАХ

УКУТКIL44I00M12414VXXVXVBNJKTRPJMVGWERUMVCSYDBИЛОРПУЦКНПШРИ
ХХУХУВXVBNJKTRPJMVGWERUMVCSYDBИЛОРПУЦКНПШРИЛОСМТЧСДДРМЛЫИМЛТЧС

Проза
Поэзия
Документы
Размышления

Кн. I (VI)

RĪDZENE-1

УДК 821.161.1(082)

Р 497

Издается при содействии

ЛАТВИЙСКОГО ОБЩЕСТВА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

&

при финансовой поддержке

Фонда РУССКИЙ МИР



ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Ирина Цыгальская

СОСТАВИТЕЛИ

Ирина Цыгальская

Сергей Морейно

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Татьяна Зандерсон

Елена Матьякубова

Владимир Новиков

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО

Татьяну Бондареву

Гарри Гайлита

Елену Ермолаеву

Фаину Осину

Бориса Равдина

КОРРЕКТОР

Алексей Герасимов

РИЖСКИЙ АЛЬМАНАХ (RĪGAS ALMANAHS) №1(6)

Рига 2011

Распространяется бесплатно

в библиотеках, школах и высших учебных заведениях

МАКЕТ

Сергея Морейно

© АВТОРЫ, тексты

© РИЖСКИЙ АЛЬМАНАХ, состав, оформление 2011

© RĪDZENE-1 (р/у № 2-0549), издание, 2011

ISBN 979-9984-553-21-3

В НАЧАЛЕ БЫЛО...

Пятая книга «Рижского альманаха» с подзаголовком «Проза. Поэзия. Размышления. Воспоминания. Документы» (составитель И. Цыгальская, редактор В. Семенова) вышел в издательстве «Даугава» в 1997 году. В обратной перспективе мы упрямся в 1992 год и в следующие факты. «Альманах» – ровесник Нашей независимости. В числе его спонсоров побывали такие институции, как Правительство Латвии, Департамент по делам национальных меньшинств, Фонд Сороса в Латвии, Российское посольство в Латвии и Министерство культуры Латвии. Его бессменный составитель, Ирина Цыгальская, сумела сделать так, чтобы это единоразовое (ежегодное) издание не только гармонично дополнило казавшуюся некогда бессмертной «Даугаву», но и стало некоей вещью в себе, по-настоящему «рижской», синергетичной в смысле сосуществования в Риге двух культур, двух языковых стихий.

Едва ли не в каждом выпуске мы имеем дело с отдельной серьезной темой: литература латышской эмиграции, отчет о конкурсе русского рассказа, еврейская тема в латвийском контексте, молодая поэзия Даугавпилса... «Среди авторов 'Альманаха'», – полагалось бы написать далее, но я изменю сакраментальную формулу, чтобы подчеркнуть: вода с той поры утекала по-взрослому, не переставая. Из тех, кто писал для «Альманаха» или редактировал его, среди нас уже нет – Юрия Абызова, Вольдемара Бааля, Олега Золотова, Алексея Ивлева, Ларисы Романенко, Виолетты Семенович. Собственно говоря, даже то утверждение, что нынешний альманах должно воспринимать как продолжение прежнего – поскольку у них один (основной) составитель и часть авторов перекочевала из старого в новый, – надо делить пополам. За десять с небольшим лет мы прожили десятки жизней, пережили миллениум, использовали и упустили массу возможностей. Кто-то сменил жанр, а кто-то начал переводить – с языка на язык – собственных детей.

Если смотреть на «Альманах» как на сборник первых публикаций, его можно было бы назвать как угодно, например – свежо и оригинально – «Новым рижским альманахом». Однако с информационной точки зрения, – а «Альманаху» в определенной степени всегда удавалась роль культуртрегера, – момент культурно-информационной преемственности всё же имеет место. Восстановление традиции – само по себе традиция. В конце концов, принцип «рижской школы колебаний» как раз и заключается в том, чтобы обязательно покидать насиженное местечко – кафе, бар – ради могущих затянуться не на один час поисков, чтобы в новом месте, растерев озябшие руки, воскликнуть: «Продолжим!» (из разговора Б. Равдина с И. Уникель и С. Ханиным в сочельник 2005 года).

Прежние номера «Альманаха» доступны в библиотеках города, а стало быть, благодаря межбиблиотечному метаболизму, и городов. Их можно подержать в руках – и, полагаю, имеет смысл почитать, поскольку под их не слишком казистыми обложками (в меру финансово-полиграфических возможностей тех лет) найдутся интереснейшие материалы, которых нет и, вероятно, не будет в интернете. Так что связь, которую я пытаюсь нащупать и описать, является простой физической, безо всяких «мета». Оттого и дизайн этой обложки наследует обложке предыдущего выпуска, и цифра на ней стоит (пускай и в скобочках) – VI. А единичка за скобками говорит о начале нового колебательного витка. Сколь долгого? Поживем – увидим!

Сергей Морейно. СОЛОВЕЙ ПЯТОЙ ЗОНЫ, рецензия

8

С. Морейно (1964) – прозаик, поэт, переводчик. Родился в Москве, живет в Саулкрасты. «Соловей пятой зоны» – это предисловие к латышскому изданию «Школы для дураков» в переводе Майры Асаре, выпущенному издательством «Zvaigzne ABC» в прошлом году.

Гарри Гайлит. СЛАБОУМНЫЙ РОМАН, рецензия

15

Г. Гайлит (1941) – литературный и театральный критик. В 1988 году вышел сборник критических статей «Полет пчелы, сон и пробуждение». Статьи о театре и литературе публикуются с 1958 года в газетах «Советская молодежь», «Диена», «Literatūra un Māksla», «Телеграф», журналах «Родник», «Даугава», «Karogs» и др. латвийских изданиях, а также в журнале «Дружба народов».

ОНТЕКСТКОНТЕКСТКОНТЕКСТКОНТЕК
рецензии, интервью

Виктор Авотиньш. БЕЗДЕЙСТВИЕ – ЭТО НЕ КУЛЬТУРА.
Интервью Наталии Морозовой

19

В. Авотиньш (1947) – поэт, публицист, политический обозреватель Neatkarīgā Rīta Avīze. С 1980 года – член Латвийского Союза писателей, член Латвийского PEN-клуба. Был членом КПСС. В 1973–1977 годах – руководитель отдела и 2-й секретарь райкома ЛКСМ Московского района Риги. Работал в журнале «Даугава», газетах Literatūra un Māksla, Latvijas Jaunatne. В 1992 году был избран председателем правления Союза писателей ЛР. Один из инициаторов создания Народного Фронта Латвии.

А. Ранцане – поэт. Училась в Литературном институте им. Горького в Москве. Работала редактором в издательстве «Лиесма», а также в Даугавпилском Музыкально-драматическом театре, главным редактором газеты «Latgales Laiks», спецкором газеты «Diena». С 2000 года живет в Резекне. Автор нескольких сборников поэзии, лауреат премии им. Аспазии. В заглавии текста перифразировано название стихотворения Евгения Шешолина «Песня из далекого сада».

ОНТЕКСТКОНТЕКСТКОНТЕКСТКОНТЕК рецензии, интервью

А. Герасимов (1969) – прозаик, поэт, переводчик. Родился в Горьком (Н. Новгороде), в Риге с 1977 года. Закончил Московский Литературный институт им. Горького. Публиковался в «Рижском альманахе», в журналах «Даугава», «Дружба народов» и др. латвийских и российских изданиях. Пишет драматические произведения, участвует в театральных представлениях, сочиняет и показывает литературные перформансы. Обзор посвящен выставке «И ДРУГИЕ направления, поиски, художники в Латвии, 1960–1984», организованной в прошлом году галереей «Rīgas Mākslas telpa».

СОЛОВЕЙ ПЯТОЙ ЗОНЫ

1.

Предупреждаю – это не предисловие. Не биографическая справка, не очерк творчества Саши Соколова. В рок-н-рольных терминах это – попытка разогреть публики перед выступлением супергруппы. Потому что «Школа для дураков» – суперкнига. В русской ли, европейской литературе таких книг – раз, два и обчелся. Почему? Потому.

Признаюсь – других его книг я не читал. Не смог. Да и не хотел. Как-то сразу по прочтении «Школы» сделалось ясно: такое пишется раз в столетие. И уж – тем более – одним человеком неповторимо и невозпроизводимо. Прочее же, как говорили во времена не столь отдаленные, перед прочтением сжечь.

Все, что я знаю о Саше Соколове, я нашел вчера (теперь уже позавчера) в Интернете. Ничего нового – подробности к черту, а существенное проговорено на страницах книги. Однако, по долгу службы, обязан донести до читателя. В получении распишитесь!

2.

Александр Всеволодович Соколов. Псевдоним – Саша Соколов. Родился в 1943 году в Оттаве – отец служил помощником военного атташе в советском посольстве. Закончил факультет журналистики МГУ. Дебют 1973 года: «Школа для дураков».

Первый миф (а, может, и не миф) – одобрительный отзыв Набокова, способствовавший публикации. Хотя чему тут, собственно, удивляться? Думаю, принять эту книгу было для умного Набокова менее унижительно, нежели не принять. Все-таки стилистическое пиршество, вполне себе изысканное, заметно невооруженным глазом. Доведенное до ступени, недоступной самому энтомологу – до степени незаметности изыска.

Отсюда второй миф – литературное, пусть и заочное, наставничество Набокова. Казалось бы, признаки налицо: бабочки там, нимфетка-Нимфея... Но это уж точно миф. «Школа» трепетна, как бывают трепетны лишь *зимние* бабочки, а Набоков жесток, как тихая птица – ночной бражник. И жесток, и, возможно, в старческой пронизательности понял, что начало-то – в общем – конец. И дал добро...

3.

С ранней юности Соколов мечтал покинуть Союз. Даже пробовал сбежать из него. Чудо-деталь: его задерживают при попытке пересечения советско-иранской границы. «Была пограничная застава на Каспийском море. Мы с

товарищем попытались, но не вышло. Мы немножко посидели в тюрьме. Мне было 19 лет всего. Потом выпустили благодаря моему отцу, у которого были хорошие связи в армейских кругах», – из интервью радио «Свобода» (стало быть, не миф).

В 1975 ему удастся выехать, вступив в брак с гражданкой Австрии. Удастся (от слова «удача») принять канадское гражданство. Целая коллекция занятий: инструктор по горным лыжам, истопник, ночной сторож, лаборант в морге. Живет в Америке, временами выезжая в Израиль и Европу. После публикации «Между собакой и волком» (1980) и «Палисандрии» (1985) не печатается и пишет в стол, приобретая репутацию «русского Сэлинджера».

4.

...Потому, что русские писатели, оставшиеся за границей (за настоящей границей), со временем начинают писать все хуже и хуже. Бунин, Солженицын, Бродский, Довлатов... Почему? Русский язык принадлежит чрезвычайно анархичному, практически охламонскому народу. И как-то поддерживается им в состоянии довольно высокой боеготовности. Русский язык – язык-анархист, язык-охламон, без царя в голове и прочая, и прочая – каким-то образом продолжает являться мощным, точным и надежным инструментом выражения чего угодно (чего только душеньке угодно).

Разумно предположить, что, наряду с явной организационной структурой речи – вернее, наряду с ее явным отсутствием – присутствует и другая, неявная, удерживающая речение в ежовых рукавицах. Гибкая, сиюминутная, мгновенно меняющаяся, трамвайно-телефонно-газетная – насущная. Оторваться от нее – значит утратить контроль над языком. И, чем тоньше языковой слух писателя, тем быстрее это происходит.

Впрочем, какая разница!

5.

Русская проза второй половины прошлого века... Не мытьем, так катаньем возшла послевоенная проза на старых дрожжах, нищая проза народа-победителя. Нечем нам крыть ни «Игру в бисер», ни «Игру в классики», ни – как бы они там ни играли, отчаянный скат на гданьской почте в «Жестяном барабане»!

Одна птичка, одна ласточка – «Москва-Петушки» незабвенного Венички вырвалась из кычущей стаи циников-моралистов, и снова все потоптали тяжелые толстовские ходули. Убил Толстой, без ножа зарезал... всех. Только один падший ангельчик, якобы алкоголик, повернувшись ко Льву Николаевичу задом, к Николаю Васильевичу передом, написал: «Поэма».

6.

Как называлась эта страна, в коей половину гражданского населения составляли гении и проститутки? Что это за страна, я вас спрашиваю, где по снежному полю под ледяным ветром бредет лихой человек, а вокруг каждого

дуба, словно ученый кот, ходит по цепи очарованный странник? Вот заскучал он, домчал на птице-тройке до середины Днепра и аж заколдовался; собрался увидеть древний Кремль и оказался на Курском вокзале; сошел с поезда на станции...

Страна называлась.

7.

Это повесть (от слова «повествовать») – а так, конечно, тоже поэма, сага, эпос «пятой пригородной зоны» – как раз о красоте, о любви, о страдании, о бесконечности; о бесконечности любви и страданий. О жертве, о добром пастыре («Аз есмь пастырь добрый: пастырь добрый душу свою полагает за овцы», Иоанна10:11), о духе, о плоти, о ее смерти и ее же, плоти, воскрешении. О ветре, дороге в бескрайнем русском поле и опять о любви, «трех вещах» – нелюбимого, как я понял, Соколовым – Платонова.

«Проснитесь, ибо наступила пора сказать правду. О ком, о чем?» И тут даже набоковское лыко в строку: «Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та, а точнее сказать я не вправе».

О сыне, об отце (молва утверждает, что о Сыне и об Отце, и с этим я, конечно же, соглашусь – пускай возникнет еще один миф): о сыне, пришедшем в мир отца, вернее, отцов (ибо и Перилло – отец, пожирающий свое потомство Кронос), творящих этот мир, говоря словами вечного комсомольца Николая Островского, «мучительно больным» и обрекающих в нем на мучительную боль сыновей своих. О Матери – терпеливой матери, о вечном ученике-друге-наставнике Павле-Савле и, конечно же, вечной возлюбленной всех и вся, недостижимой для одного отдельно взятого (отдельно взятых двоих?) Магдалине...

8.

«...так скажет ребенок «халва» – так сладко, так сладко! так вязнут в зубах, так лишнут две строчки – такие вот, с ними бы споткнуться на дымной аллее: вкус спирта у сердца, вкус спирта», – между прочим, наш, рижанин – Золотов – написал. – «Мой сладкий мой небесный папа я чем-то виноват...»

Ощущение того, что «ты – чей-то сын», так сладко само по себе, так сладко...

Как неверие – обратная сторона веры, такая же точно *вера* (поиск веры), так *безотцовщина* – «задняя» сторона сыновних чувств. Если мать дается каждому естественно, неотъемлемо и навсегда, то отца ищут, обретают, теряют и снова находят.

Из изумительно красивой книги «Леонардо» когда-то модного, а ныне дружно порицаемого Фрейда: «Психоанализ научил нас видеть интимную связь между отцовским комплексом и верой в Бога; он показал нам, что личный Бог психологически ни что иное, как идеализированный отец, и мы наблюдаем ежедневно, что молодые люди теряют религиозную веру, как только рушится для них авторитет отца».

9.

Для того, кто, веруя, чувствует, что царство грядущего – «не от мира сего», естественно стремление отыскать себе Небесного Отца и смутное отождествление или осознание родства с Сыном Божиим. Почему же Фрейд отказывает Леонардо в любви к небесному Отцу? – если послушать Фрейда, «Леонардо победил как догматическую, так и личную религию»; да потому, что Леонардо – сам себе Бог и сам Отец.

«9 июля 1504 года в среду в 7 утра умер синьор Пьеро да Винчи, нотариус во дворце Подеста; мой отец, в 7 часов».

Иисус, Леонардо, Нимфея.

«...Ибо где-то кем-то сказано: глухой, придет время – и услышит».

«Ныне кричу всей кровью своей, как кричат о грядущем отмщении: на свете нет ничего, на свете нет ничего, на свете нет ничего, кроме Ветра!»

«...Итальянский человек Данте человек Бруно человек Леонардо...»

«...Если хочешь увидеть летание четырьмя крыльями ступай во рвы Миланской крепости и увидишь черных стрекоз...»

«...А барабан естественно бей».

10.

Бессмысленно рыться в книгах, так ведь можно что-то напутать, забыть, заложить не ту страницу и доказать, что Перилло – страшно подумать – Дух! – а Насылающий Ветер – почтальон Михеев...

«Тот странный и большой мир, в который вводят нас Евангелия, – мир как бы из одного русского романа, где сходятся отбросы общества, нервное страдание и «ребячество» идиота, – этот мир должен был при всех обстоятельствах сделать тип более грубым: в особенности первые ученики, чтобы хоть что-нибудь понять, переводили это бытие, расплывающееся в символическом и непонятном, на язык собственной грубости» (философ Философ, «Der Antichrist»; однозначно не переводится) – «Элемент невменяемости и распада Я свил себе в этих сочинениях зловещее гнездо» (его экзегет).

Не первое обращение к Евангелию... на Руси... не первое. Виноват, но вот у, скажем, Булгакова – небезызвестного такого Булгакова – речь-таки не о жалости, не о любви: о воздаянии, притом сомнительном!

11.

Своеобразие «Школы» в том, что здесь – в силу декларируемых смещений и раздвоений, а то и растроений личности, все являются друг другу всем. И, как хорошие режиссеры давно поняли, что Гамлетов в спектакле должно быть два, на место протагониста постоянно приходит и уходит с него Норвегов – учитель и духовный отец Нимфеи; он же – Савл, ученик Христа, обращенный им в Павла; он же – сам Христос, учитель слабых и немудрых, брошенный директором Перилло в крестовый поход и безвременно в бозе почивший...

По-русски «христосик» – юродивый, слабак, лох. *Ботаник*.

Заметьте, не я это сказал!

Но, почему, собственно, Павел? Не Га-Ноцри, не Мастер этот долбаный, который лишь прикидывается, что ничего не хочет, а на самом деле еще как хочет: пишет в тридцатые годы роман о Иерусалиме и хочет положительных рецензий, Маргариты и, главное, хочет мести – вот оно, *ressentiment!*

«Братия! Не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни», 1 Коринфянам 14:20.

«Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян», Веничка Ерофеев.

«И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручая меня, чтоб я не превозносился», 2 Коринфянам 12:7.

12.

Норвегов – Христос. Христос – Нимфея. Вета – Блудница. Она же – Роза Ветров. Так получилась. Их *взаимосвязь* не религиозна. Она и в Евангелии общечеловечна. Эта пара должна была возникнуть, здесь и сейчас: почитаемый всеми, но преданный – и презренная, но желаемая всеми. Идея Евангелия: любовь к Нему и жалость к ней. Соколов дополняет: жалость к Нему и любовь к ней. Так он превращает героев в людей, извлекая из мифа, но сохраняя меж ними и нами дистанцию.

Еще в таком разговоре рано или поздно должно всплыть имя Достоевского – в привычном обрамлении «напрашивается параллель». Я бы, напротив, сказал, что напрашивается противопоставление. Как желтый свет дополняет синий до белого, так Саша дополняет Федора Михайловича до любви.

Вот уехал Соколов на Запад – чьих он там будет, соплеменник загадочного *Dostoevsky*, о коем рафинированный француз скажет «гениальный еретик», стопроцентный мужчина – «сукин сын», а обеспеченный испанец, определяя его романы, предложит взмахом руки нарисовать эллипс?

13.

И все-таки генезис. Тенденциозно: раз «школа», значит, Учитель и ученики, раз идиот – значит, Федор Михайлович, и, стало быть, рыбная ловля, «немудрое мира избрал», Его же царствию не будет конца. Однако же все это правда. Назорей, Мышкин, палаточник из Тарса, Цинциннат, Нимфея – абсолютно независимы и одновременно вплетены (аурами?) в невероятный клубок, который, признаюсь, без понятия, как распутать.

Князь Мышкин обязан быть Идиотом, чтобы его все любили.

Христос обязан быть идиотом, чтобы Его все любили.

Павел отнюдь не был идиотом.

Есть такой персонаж в русских сказках...

Гениальный ход: Норвегов – *дурак*. Поэтому так жалко всего хорошего в нем. Вета – красавица и учителька, она – недосыгаема, но вот – блудница, изначально-безысходно-обреченная блядь, отсюда любовь.

И, *обратно*, любовь и жалость.

Христос идет и несет свой крест, Мышкин корячится под ним, пытаюсь подняться. Противоположности, смыкающиеся гранями. Князь Мышкин – абсолютно реальный тип, то, во что, по мнению Достоевского, собиралась выродиться русская интеллигенция.

...В Норвегове она могла бы и возродиться.

14.

Есть в мировой литературе страницы, вызывающие физиологическое отвращение: смерть князя Болконского, уход Кнехта в мир, похороны Иакова, муки Цинцинната.

Не миф лишается героя, но герой – мифа. С героя снимается иммунитет преобразующего вычленения, он как бы выходит из мифа, покидает барокамеру индивидуальности и оказывается в пошлейшем (*gemein*=низкий=общий) мире конкретики. Те черты, переживания, эпизоды жизни, что придавали неповторимость мифологическому персонажу, оказываются отвратительны, будучи отнесены к заурядному человеку.

Смерть только подчеркивает, что все потеряно; что более уже не выбраться из глубин *gemein*. Не гибель определяет мерзость поименованных пассажей – бывает же и красивая смерть?

Страшна конечность!

Возьмем математику: у нее длинные мозги, она дотягивается ладонью до бесконечного, как колдун со своего чердака дотрагивается до неба. Но надо дотронуться «целиком», всему, так коснуться, чтобы обтекло тебя прохладным душем, шекоча спину и ероша волосы. Миф – возможность бесконечности. Демифологизация – деинфинитизация.

Не стать тебе инженером!

15.

А теперь, читатель, поговорим о любви. Да-да, не обижайся, так будет лучше всего. И ответь мне, пожалуйста, на один вопрос – а лучше на два.

Первый – отчего мы, прожженные реалисты и циники, знающие, что время лечит, стирает и все такое, каждый раз верим, что эта наша очередная любовь – до гроба? А?

Второй вопрос – отчего, за исключением отдельных редких случаев, мы – когда любовь до гроба уже прошла – не вешаемся, не стреляемся, даже не ломаем себе шею, выпрыгивая из окон второго и третьего этажей, а, лишь немного *пострадав*, спокойно едим хот-доги, запивая их кофе из картонных стаканчиков?

У меня есть только одно объяснение. Этимологическое. На некоторые из наших влюбленностей, как автомобильная сигнализация на некоторые толчки почвы, некий зашитый внутри нас датчик специальных сигналов (машина необъяснимых порывов Роберта Шекли!) выдает убедительное *f o r e v e r*. И тогда мы называем влюбленность любовью. А не наоборот: влюбленность перерастает в любовь, нам кажется, что это навсегда... etc.

16.

А нужна эта машинка для того, чтобы цивилизация человека не вымерла, как мамонты. «Как так», – ты, нетерпеливый читатель, воскликнешь – «для продолжения цивилизации достаточно секса!» Ан нет! Секса достаточно для продолжения рода, а для сохранения цивилизации необходима любовь. Ибо цивилизация, подобно ролевой игре, держится на социальных моделях. И влюбленности возникают вокруг дружественных моделей, между которыми при соприкосновении/соударении проскальзывает искра стимула.

Такой вот суп, куда вместо перчика подброшены романы нефтяных магнатов с продавщицами перчаток. Стимул, подобно протонно-нейтронному ядру, удерживает на своей орбите *любви* электронные пары до тех пор, пока они не распадутся и каждый из электронов не отправится в свободное плаванье до следующего валентного ядра.

Кристаллическая решетка из социальных ролей, заполненная электронным газом – вот что такое наша жизнь, и цивилизация, и общественная система, и *любовный ток* проходит по ней, как гребень волны по озерной глади.

17.

Внеролевая, внесоциальная, необусловленная любовь – о ней Сашей Соколовым написана книга «Школа для дураков».

18.

Ночью мне снилось, что плакал у креста.

Горько, но как будто обидел кого, или тебя кто обидел, и накричали друг на друга, а потом плакали вместе, и стало светло.

Часто думаешь – тот умный, тот смелый, а тот богатый – и все равно я лучше. А чем лучше? Тем, что плакать могу.

«Но можно писать письма».

«Всякий раз ставя в конце – п р о щ а й. Радость моя, если умру от невзгод, сумасшествия и печали, если до срока, определенного мне судьбой, не нагляжусь на тебя, если не нарадуюсь ветхим мельницам на изумрудных польных холмах, если не напьюсь прозрачной воды из вечных рук твоих, если не успею пройти до конца, если не расскажу всего, что хотел сказать о тебе, о себе, если однажды умру, не простясь – прости».

19.

Вхожу в город, как побежденный...

СЛАБОУМНЫЙ РОМАН САШИ СОКОЛОВА

Это название, можно сказать, я не придумал. Оно пришло само. Закончив читать «Школу для дураков», я еще раз взглянул на авторское посвящение. Обычно писатели посвящают свои шедевры жене, матери, любимой женщине, другу. У Соколова посвящение начинается словами: «Слабоумному мальчику». Дальше – конкретное имя, фамилия и чуть ли не точный адрес. Вот и мне захотелось ответить автору тем же самым по тому же месту.

Впрочем, я вполне допускаю, что ничего плохого своим посвящением он сделать не намеревался. Просто не подумал, как это может быть воспринято.

Но начнем сначала. Читать постмодернистский и уж очень депрессивный роман Соколова мне долго не хотелось, я это сделал только сейчас. Написан он был в начале семидесятых, но опубликовать его тогда, конечно, нельзя было. Впервые роман вышел в США, когда Соколов в 1975 году всеми правдами и неправдами добился, наконец, разрешения выехать из СССР, чтобы жениться на некой австриячке.

Без этого, не исключено, что фиктивного брака (тогда так делать было модно), он уехать из страны при всех своих биографических «регалиях» никак не смог бы.

Мытарства совка

А «регалии» Соколова таковы. Как и близкий ему по духу Виктор Ерофеев, оба они выходцы из элитных семей сталинских дипломатов. Оба потом самым нелепым образом предали не только идеалы и моральные ценности своих высокопоставленных предков, но и подставили под удар тщательно их выпестовавших отцов.

Соколов родился в Канаде. Его отец служил в Оттаве помощником военного атташе, но на самом деле являлся советским агентом, возглавлявшим группу разведчиков, которые занимались сбором сведений о производстве американской атомной бомбы. Когда пришло время сыну поступать в вуз, отец приложил немало усилий, чтобы юного Соколова взяли в Военный институт иностранных языков, готовивший кадровых разведчиков. Однако на третьем году учебы Соколов вдруг решил из института уйти и попал в военный госпиталь для душевнобольных. Считается, что он тогда симулировал психическое заболевание.

Выйдя из больницы – это был конец 60-х – Соколов успел перевестись в МГУ на заочное отделение журналистики. Но жизни в Москве ему уже не было. Работать приходилось истошником, ночным сторожем, лаборантом в морге, инструктором по горнолыжному спорту. Несколько раз Соколов пробовал бежать на Запад, но его ловили, и только благодаря влиянию родителей, ему удалось избежать заключения.

Кроме «Школы», у Соколова есть еще два романа – «Между собакой и волком» (1980) и «Палисандрия» (1985). Все это печаталось в годы перестройки в журналах «Октябрь» и «Волга». В дальнейшем, на протяжении вот уже двадцати пяти лет, Соколов больше ничего серьезного не сочинил. Тем не менее, он и сегодня все еще продолжает считаться «великим стилистом» и «лучшим (прозаиком – Г. Г.) из пишущих по-русски за последние 50 лет».

Согласитесь, этостораживает: среди постмодернистов не то что великих, но и просто хороших стилистов не может быть по определению. Прочитав сейчас «Школу», я убедился в этом еще раз. Больше того, попадись «Школа» в руки начинающего читателя, я думаю, она его отведит от чтения книг раз и навсегда.

Настораживало меня и то, что Соколова называют «русским Сэлинджером», чей роман «Над пропастью во ржи» тоже очень специфичен.

Впрочем, скорей всего, Соколова многие носят сейчас на руках вовсе не за приписываемые ему литературные достоинства, а как это у нас часто бывает, потому, что он попал в струю. Ведь его первый роман издало знаменитое издательство «Ардис», с которым был тесно связан Набоков. К тому же владелец издательства попросил тогда уже смертельно больного Набокова посмотреть рукопись и сказать что-нибудь хорошее об авторе, который не в чести у себя на родине.

Сомневаюсь, чтобы Набоков стал серьезно углубляться в «Школу». Но уловив некоторое созвучие с его собственной темой «потерянного рая» (проданная русская дача в романе напомнила Набокову о сожженном в России родовом имении), он не поленился сказать, что книга начинающего автора – обаятельная, трагическая и трогательная.

Этого оказалось достаточно, чтобы рекламмейкеры (ради успешной продажи книги) сразу определили Соколова в ученики, духовные наследники и продолжатели традиций великого мастера русской прозы. А критики тут же стали выискивать параллели между «Школой» Соколова и поздними романами Набокова. И находили их, и трубили об этом всему свету.

Представляю себе, как вначале позабавило Соколова все, что написали критики о его «Школе». Потом это, наверное, озадачило. И наконец, разозлило. Вероятно, дифирамбы, связанные с автором «Ады», в адрес народившегося на свет нового гения русской прозы продолжались бы до сих пор, не заяви Соколов в интервью о том, что на самом деле ни о какой связи его с покойным писателем не может быть и речи, так как он ни одного романа Набокова тогда еще не читал.

Разделение пространства и времени

«Школа для дураков» – продукт совсем другой выпечки. С натяжкой можно, конечно, допустить, что герой Сэлинджера своей неприкаянностью и неменяемостью несколько похож на умственно недоразвитого персонажа Соколова. Но роман «Над пропастью во ржи» написан настоящим мастером американской прозы. Сэлинджер, действительно, хороший стилист, умело выстраивающий сюжет своего романа так, что от его книги не оторваться. Чего не скажешь о Соколове.

Как все постмодернисты, он высокомерно отказывается от того, с чем справиться не умеет. Так в одной из статей Соколов говорит, что сюжет он с детства презирал. Дескать, писать он предпочитает беспорядочно и не организовано, чтобы было ни о чем, и в то же время обо всем. Линейная проза ему всегда была противна. Кстати, со временем у Соколова тоже отношения очень странные. Он утверждает, что время в его романе отсутствует. Нет там времени, есть только пространство.

Помню, как Лев Гумилев определяет, что такое смерть. Это способ существования, при котором происходит отделение пространства от времени. «Школа» буквально вся пропитана смертельной тоской. На смертельной тоске, между прочим, строится черный юмор. На черный юмор роман Соколова похож и даже очень. В этом стиле, например, сочинены вставленные в «Школу» миниатюрные рассказы «Написанные на веранде» – так называется эта часть романа. Приведу из одного рассказа цитату, чтобы можно было представить, как это выглядит:

«Гроб повис на зубце ковша и болтался над траншеей, и все было нормально. Но потом крышка открылась и из него что-то посыпалось. Тогда экскаваторщик вылез из кабины и осмотрел его. [...] Ему хотелось полюбоваться на череп, потому что настоящего черепа ему ни разу в жизни не приходилось видеть, а тем более трогать руками. Правда, он время от времени трогал свою голову или голову жены и представлял, что если снять кожу со своей или с женной головы, то и получится настоящий череп...»

Это еще достаточно вразумительно написанный фрагмент книги. Рассказы тут, в отличие от большей части «Школы», имеют хоть какой-то внутренний стержень и даже смысл. Только не понятно, зачем они вставлены в роман. Зато они по своему даже поэтичны. Правда, это черная поэзия. Кстати, Соколов свои тексты не считает прозой, он их называет – проэзия.

Читать Сашу Соколова и никого другого

Все остальное содержимое книги излагается от имени героя с большим, раздвоенным сознанием – учащимся школы для умственно неполноценных детей. Он страдает раздвоением личности и потерей ощущения времени. Отсюда и авторское отрицание сюжета, и нарочитое прыганье из одной ситуации в другую, и прерывистость действия.

Тот, кто любит традиционную, классическую прозу: рационально организованную, насыщенную мыслями, образами, стилистическими фигурами, красками, интонациями, – «Школе» не обрадуется. Потому что ничего подобного в романе нет. Соколов всем этим литературным инструментарием управлять не умеет. И не хочет.

У него все намного проще (или наоборот сложнее, кто как считает), когда просто идет речевой поток и чуть что, текст превращается в неприятзательную игру в слова типа игры в названия городов или что-то в этом роде. Соколова, например, умиляет созвучие слов или их многозначность, когда вместо планов он говорит – планктон на будущее. Ветка железнодорожная у него с легкостью

превращается в ветку акации, а та неожиданно в училку Вету Акатову, сквозной образ всех его рассказов о жизни слабоумного школьника.

Очень часто, много раз на протяжении романа его герой (или все же автор?) ударяется в своего рода литературное кликушество. Неуправляемый поток речи, – не путать с потоком сознания, – перебивается нервическим подергиванием, топтанием на месте, как это бывает с заигранной грампластинкой, когда она прокручивается на одном и том же месте, и чуть ли ни натуральным повизгиванием. Слова беспорядочно повторяются, и тогда раздваивается сознание, – должно быть, у героя, – или, хуже того, начинает казаться, что с бедным автором вот-вот произойдет приступ падучей. Читать это скучно и трудно, именно потому, что Соколов литературным играм со смыслами предпочитает довольно упрощенные словесные игры.

Я не говорю, что это плохо, упаси боже. Как-никак, Соколов считается живым классиком советского постмодернизма, и за это многими почитается. Но что это хорошо, я сказать тоже не могу.

Кстати, для постмодернистов понятия хорошо или плохо не существуют. В этом смысле они предпочитают, чтобы было никак. И часто, когда читаешь «Школу», кажется, что автор именно к такому «никак» и стремится. Только у него это не очень получается.

Гораздо лучше в романе звучит скрытое (без кавычек и по памяти, как это принято у постмодернистов) цитирование читанных автором книжек разных известных писателей детской и юношеской литературы. Тут неожиданно появляются короткие проблески иронии, которой «Школе» чудовищно не хватает. Ирония, будь она повсеместной, возможно, вывела бы роман в совершенно другой ряд. А так – патологическое состояние ума, описанное патологическими средствами, вызывает впечатление нерадостное. Попади эта книга в руки тому, кому автор ее посвятил, да и любому психически неуравновешенному читателю, можно представить себе их реакцию.

«Школа» – это очень слабо, но с претензией написанный текст. Я бы его даже не стал называть художественным произведением. Это не литература, что-то другое. Интерес он вызывает в определенных кругах только как факт позиционной борьбы постмодернистов с реализмом. И, вероятно, еще как акт политического вызова государственной системе страны, из которой автор в свое время выехал.

Я посмотрел в Интернете отклики читателей на роман Соколова. Они разные. Но как мне показалось, мало кто прочел книгу до конца. А прочитавший вряд ли когда-нибудь будет перечитывать роман еще раз. Или наоборот, будет, но тогда только Соколова. Его одного. И никого больше.

Виктор Авотиньш

БЕЗДЕЙСТВИЕ – ЭТО НЕ КУЛЬТУРА

Беседу ведет Наталия Морозова

Н. М.: Что происходит сегодня с латвийской культурой. Каковы ее современные взаимоотношения с властью и как они отражаются на обществе и каждом отдельном человеке. Как власть и культура влияют друг на друга и каким в связи с этим представляется наше настоящее и будущее... Об этом мы решили побеседовать с известным латышским публицистом и поэтом Виктором Авотиньшем.

«ПОТРЕБИТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ» – ВСЕ ЖЕ ДИКАРЬ

Один ваш текст в прежнем «Рижском альманахе», выходявшем в 90-е годы минувшего века, назывался «Культура как намордник». Что Вы считаете культурой?

В. А.: В принципе, – это любое действие, которое улучшает качество того, что есть. Бездействие – это не культура. Скажем, «Мона Лиза» – гениальное достижение искусства, но к культуре, – пока на нее никто не смотрит, пока ею никто не дышит, не трогает умом или духом, она не имеет никакого отношения, – она просто багаж. Но на нее все-таки кто-то смотрел в течение веков – и создалось определенное представление, культурный слой...

Культурой ли занимается сегодня наше Министерство культуры? Нужно ли оно вообще, тем более, с таким количеством чиновников, что это возмущает бывшего министра культуры Раймонда Паулса?

Паулс, однако, по-моему, защищал министерство, когда я и еще пара человек в начале 1990-х высказались за объединение министерств культуры и образования. И в нашей латвийской ситуации прав был Паулс. Я ошибался. Ибо думал, что творческие негосударственные организации независимой страны окажутся достаточно сильны, чтобы устанавливать и утверждать парадигму культурной политики без «господина» в виде министерства и с департаментом в роли помощника. Однако – у так называемых культурных работников Латвии нет ресурса на культурную политику без большого начальника. То есть – у них есть ресурс на свой театр, свою книгу... Верх возможной тут культурной собранности – праздник Песни. А на масштаб народа, страны этот ресурс, рад бы ошибиться... пока что от «культурной отрасли» ждать нечего. Пока у нас, как в одном интервью сказал Кнут Скуениекс, период кормления вшей в окопах.

А с точки зрения тех, кто у нас делает официальную культурную политику, культура – это отрасль, производящая культтовары для потребления! Однако, если вся культурная политика заключается в том, чтобы составить афишу, содержащую то, чем мне себя утешить или порадовать, где культурненько оттянуться после (некультурного) рабочего дня, то речь пока не о культуре, а лишь о макияже, наложив который, я, пожалуй, сойду за культурного. Это – сектор рынка. А я не понимаю, что такое «потребитель культуры». На мой взгляд, это какой-то

образованный, но все же дикарь. Нет, дикарь все же витальное существо. Так что, хуже дикаря. Это такой себе на уме тип, который потребляет культуру, в лучшем случае, как корова траву. У коровы-то в результате молоко появляется, ее производственная продуктивность увеличивается. А «потребителя» и его действия культура не меняет. Он не начинает давать молока больше, лучшей жирности...

Культурная политика, которая производит или утешает культурных потребителей, создает то положение государства, в каком оно теперь находится: пассивное общество, отсутствие интеллигенции как сословия, отсутствие интеллектуального заказа политикам. А интеллектуальный заказ должен быть высшим заказом. И политики должны его исполнять и слушаться. А такого соборного заказа никто у нас не делал за последние годы.

На мой взгляд, когда культура – ведомственное занятие, когда она как бы производится и через окошко выдается, это значит, что отсутствует надлежащая культурная политика. Которая должна мобилизовать любого, в любой отрасли, потому что к культуре имеет отношение столь же экономист, сколь и поэт. Да, один профессионал в искусстве, другой профессионал как брокер или как владелец пивной, но по отношению к культуре они равнозначные единицы, если каждый в своей отрасли – созидатель, постоянно улучшающий качество действия своего.

Недаром в *массмедиа* рубрика «Культура» сегодня почти отсутствует, зато присутствуют «Развлечения», «Шоу-бизнес». Так что имеем уровень «хлеба и зрелищ». Министерство культуры занимается зрелищами, а Министерство экономики занимается «хлебом», такое вот разделение компетенций. Я не говорю, что зрелище не может быть хорошим или театры не могут быть зрелищными для потребителей высокого уровня. Но дело-то в том, что даже этот высокий уровень потребителей не является целью культурной политики.

Что же, на ваш взгляд, является?

Понимаете, министры и Министерство культуры выбрали удобную позицию как бы опекунов искусства. Это очень узкая стезя. Не помню, кто сказал, что основа культуры – вершины. А у нас основа культуры – курица, которая называется «Министерство культуры». Чтобы была возможность взять эти вершины культуры под свое крыло, министерство им говорит: «Вы вершины, конечно, но не выше бюджета прошлого года». Министерство подстраивает вершины под свои бюджетные возможности, а не свою политику под эти вершины. Вот определили недавно Канон культуры Латвии. Допустим, что этот Канон включает в себя необходимый для процветания народа Латвии минимум ценностных, духовных, идейных, нравственных... основ. Цель культурной политики – добиться, чтобы вершины Канона стали основой массового (!) сознания.

А Министерство культуры отчасти занимается благотворительностью, чтобы выделить хоть что-то – литературе, кино, изобразительному искусству, театрам... Там, где нужно действовать по принципу «талантам надо помогать, бездарности пробьются сами», занимается социальной, а не культурной политикой. Особенно от этого страдают коллективные проекты, которые требуют значительных средств для осуществления. Поэтому так страдает от этого национальное кино. А это все-таки лучшее средство влияния на массы. И в век сов-

ременных технологий национальное кино необходимо. Оно не может производить десятки, но где-то пять игровых фильмов в год сниматься должно.

Как говорится, уточним дефиниции. Что такое национальное кино в данном контексте?

Это то, что создается людьми, которые здесь живут. Кино, произведенное здесь, и командой, где преобладают латвийцы, является частью национальной культуры. Скорее так. Евгений Пашкевич – типичный пример. Отчасти он на мой взгляд пример и тому, когда общий принцип финансирования «всем сестрам по серьгам» бьет мимо результата. По капельке, по капельке... Но всем. Я тоже поддавался этому принципу.

Во всяком случае, ожидать цельности произведения в такой ситуации уже трудно?

Да-да! Творческого начала проекта. Или возьмем Национальную библиотеку. В 1991 году известный архитектор Гунарс Биркергс создал проект. Был свежий проект, как бы олицетворение благих мечтаний нации, латышской в данном случае. Если бы библиотеку построили в 1997-м, это был бы признак национального усердия хотя бы, типа памятника Свободы. Объект, которым можно гордиться. Но прошло 20 лет и сегодня этот на 30% урезанный объект вряд ли станет гордостью нации, олицетворением ее современных достижений.

Памятник несбывшемуся?

Да, это уже как бы резюме, но для духовного подъема несколько запоздалое. Кроме того, гигантскими темпами пошли вперед все виртуальные технологии, возможности общения, тип контактов изменился. Это не столь радостно. Боюсь, что изменились даже символы восприятия нами самих себя, знаки идентичности.

О СОЗДАНИИ КУЛЬТУРНОЙ ЭЛИТЫ

Вспомним знаменитую фразу – «если бы директором был я». Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать в нынешней ситуации?

Я бы не думал в рамках Министерства культуры. Я бы думал сначала о том, что у меня есть, чтобы заинтересовать людей, во-первых – жить. И жить вольно, жить ответственно за свою жизнь. Чисто эгоистическую цель поставить такую, чтобы ты был доволен собой и собой несколько даже гордился.

Причем, живя здесь, а не где-то еще?

Да! Во-первых, необходимо найти максимально возможный ресурс для такого чисто социального самоутверждения. Решить, что я должен сделать, отступаясь от культурной политики как некоего глянца над грязью, вот этого make up культурного, позы, фальши. Какие у меня есть ресурсы, какими духовными качествами кого подключить, чтобы вот этот стабильный социальный слой создать...

Потом, я бы, очевидно, по-другому использовал Академию культуры – как место селекции интеллектуальных мозгов, ориентированных на культуру. То есть не просто выискивал бы людей, но и старался бы достаточно их обеспечивать, имея определенные виды на их размещение по стране на определенных должностях. Способных людей до 30 лет, любой национальности, талантливых менеджеров, политиков в перспективе. Это не ново. Селекцией элит правители занимались. Хоть российские умы считали, например, Геттинген более достой-

ным местом для просвещения, чем Царскосельский лицей, полагалось, что он будет поставлять отечеству людей, которыми оно гордилось бы. А МВТУ для чего создали после войны? Создание элит должно быть задачей культурной политики страны и не зависеть от бюрократических, номенклатурных, сенильных прихотей. Отбор должен быть жестким, школа очень хорошей, мозги, которых пока не хватает самим, должны быть куплены... Вариант – обучение достойных должно быть оплачено (при определенных условиях обратной связи) государством в любом краю света, где можно получить должное знание. Это сложно, – но это было бы заведомо конкурентноспособное, заведомо интеллектуально оправданное образование.

Вопрос – кто будет заниматься таким поиском и отбором?

Все-таки у нас хватает людей, заинтересованных в своей стране. Способных слушать молодых людей и чувствовать их интересы, их таланты. Просто поставить даже перед школьными учителями такую задачу, чтобы они смотрели: *кто, в принципе*, может управлять, быть президентом, быть министром. Отбирать их, так же, как отбирают детей в музыкальные и художественные школы. Этим занимался Александр II, этим занималась Франция во времена Наполеона, Германия – на уровне гимназий. Ничего нового тут нет. Просто у нас маленькая страна, очевиден дефицит лидеров. А те, кто есть, не способны решить, скажем, проблемы бедности или элементарной рабочей квалификации даже на уровне тактических задач. Значит, нужна политика под этот отбор.

ПОЛИТИКИ СОЗДАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА У НАС НЕ БЫЛО

Вы говорите, что в стране и сейчас немало умных, знающих профессионалов в разных сферах. Но почему власти, если и слышат их рекомендации, то делают все с точностью до наоборот?

Нету собирателей мозгов. Или же мозги, которые способны хотя бы мыслить, если не действовать, на государственном уровне, заведомо делаются маргиналами. А бюрократия в большинстве своем работает на чисто фискальную задачу: прижать народ, чтобы обеспечить налоги, а налоги положить в казну и распределять по своему разумению, без особого расчета на стимулирование народного хозяйства.

Но я бы пенял не столько на власть в данном случае, сколько на неспособность латышей или вообще нынешнего латвийского общества, к некой солидарности. Вопрос в том, как озаботить интеллект такими категориями, как государство, нация или хотя бы общество. Политики создания гражданского общества у нас не было. И государство в этом направлении не шло, и сами политические партии и организации. Культурные учреждения и экспертные сообщества не работали на государство и на народ. Они скорее фиксировали своими исследованиями какое-то состояние, констатировали. Предлагали какие-то решения политикам, но интеллектуальное сообщество не настаивало на них, считало, что политики сами догадаются. Политики сами не догадывались. Не было интеллектуального бунта. Поколенческого даже бунта (который должен был состояться!) – против людей моего поколения и даже людей сорокалетних...

В чем он должен был выражаться?

Ну, как можно жить под советскими ментальными представлениями? Время ушло вперед! Прошло уже достаточно, чтобы ситуацией правили люди, которые начали ходить в школу в 1990-м. *Это* поколение сейчас должно определять ту-тошний распорядок дня. А у нас продолжается политика искусственного старения общества. То есть, детьми считаются до 25 лет, как это и при Советах было. Слой безработных – здоровые молодые люди, десятками тысяч, без перспектив после окончания школ. Это в стране, которая заявляет, что человек – на первом месте. Причем, технологически оснащенный, современный человек, по Закону об образовании. Где этот человек?! Нет этой политики. Но и интеллектуалы такую политику не заказывают. Как нет независимого экспертного сообщества, так же нет и независимого интеллектуального сообщества.

Но недавно создано сообщество «Время для культуры» / Laiks kultūrai...

Вот оно-то и должно разрабатывать стратегию. Но, если министерство, если министр Сармите Элерте не возьмет над ним жесткое шефство, скорее всего оно быстро завянет и станет прозябать, «подавая надежды» и требуя поддержки под эти «надежды». Когда я был в подобном совете при министре культуры Янисе Дрипе, при Хелене Демаковой, там проговаривались какие-то проблемы, но не ставилась культурно-политическая задача, парадигма. А парадигму, похоже, надо менять.

Искусство – это другое. Не надо накрывать культурой искусство. Искусству это может не понравиться. Оно развивается по своим правилам и принципам. Ему было бы плевать на Министерство культуры, если бы там не лежали какие-то деньги. Искусство – это малая часть всей культуры, однако в значительной мере определяет основу культуры. Потому что синтезирует то качество, которое есть в народе. Если в народе радостное качество, это так или иначе проявляется в искусстве.

И много ли замечаете радостного?

Наша беда в том, что мы хотим каких-то семимильных шагов, – вот тогда мы увидим эту культуру. А то, что человек одержал над собой какую-то победу, на полшага продвинулся, не замечаем. В любом деле. Мы социумом не воспитываем культурных людей. А гранты – как бы признание статуса. Слава Богу, сейчас есть Интернет, где статус, кумиры и идолы могут создаваться без посредников, без экспертного сообщества. Сами ребята создают себе идиологов, и писателей даже, музыкантов. А в экспертную оценку я бы верил, если бы в Латвии была критика. Но в Латвии критики уже, пожалуй, нет. Есть критики, отдельные люди, которые пишут о литературе, о музыке, искусстве. Но это не создает критику как полемику, как столкновение взглядов на разные вещи. Лишь какие-то охи-ахи клакеров по поводу тех или иных событий.

Есть многое, что можно заметить и поддерживать на уровне таланта. Но тут степень запросов несколько другая. Понимаете, хочется, чтобы прорвало на том уровне, как Райнис в начале прошлого века! Чтобы появилось что-то действительно от Бога. Прозрение, что ли, такой духовной силы, что любой стал бы для себя необратим во вчерашнее, более низкое качество.

Но – крайней тупостью было бы при этом не замечать сущее. Игнорировать то, что создается теперь, не замечать, как люди над собой ста-

раются в отсутствие идеального и идеала. Мало ли талантливых тут молодых поэтов, молодых художников... Целое поколение. Великолепные хоры, Новый рижский театр... И, что отрадно, усердная, талантливая (и среди русских, и среди латышей) краеведческая работа. Родину, значит, люди любят.

У нас есть что заметить, что поднимать и ставить на вершину этого времени. О том, чего нет, можно мечтать, но это не значит, что не нужно поддерживать то, что есть.

КОГДА ДУРАКА НАЧИНАЮТ НАЗЫВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО БОЛЬШИНСТВА...

Какой вам представляется современная русская культура Латвии?

Во-первых, латвийская русская культура существует, я вижу. И общество есть, и творческие люди, и работы творческих людей, и хорошая творческая молодежь, которая этим занимается. И попытки даже обеспечить какую-то соборность. И собирание объектов, издание книг по этим объектам. Вот недавно на своем вечере, в театрике на Стабу 18, Владлен Дозорцев рассказывал, что задумал устраивать там вечера русских поэтов, художников, которые были тут в советское время. Мы мало о них знаем. Мы знаем, благодаря Юрию Ивановичу Абызову, довоенное время, и забываем, что в послевоенное были Лариса Романенко, Виктор Андреев, Лидия Жданова и многие другие... Помня о них, обеспечить их присутствие среди нас – это тоже замечательная культурная работа.

У меня нет внутренней проблемы неприятия местной русской культуры. Вообще нет такой дилеммы. И думаю, что ее нет ни у Улдиса Берзиньша, ни у Леона Бриедиса... У таких людей, которых я действительно уважаю в латышской культуре. Это проблема тех, у кого есть какой-то комплекс. Комплекс не учиться у других, не радоваться другой культуре, которая может тебя самого обогащать. Мол, вот до сюда латышское, дальше русское, а зачем мне это знать...

Я почему задала вопрос – «есть мнение», что русская культура в Латвии – нечто такое маргинальное...

Не мне и даже не правительству Латвии определять самочувствие русской культуры Латвии. К тому же она – часть культуры Латвии. Неотъемлемая. И часть всей русской культуры. Неотъемлемая. А с самочувствием своим разберетесь сами. Поскольку «маргинальность» – слово спекулятивное. Слово или невежественного хама или перепуганного кролика. Слишком часто используется не для объективных измерений, а для того, чтобы поставить что-либо ниже собственной недалекости.

Я хочу сказать несколько о другом. Вот Гарри Гайлит в «Балтийском мире» написал, что у латышей вообще не может быть интеллигенции. Обижен Гарри. Но с таким же стебом я могу и на русских наехать и тоже найти достаточное количество цитат, так же, как он может найти достаточное количество цитат у латышей, которые подтверждают его мысль. Но это, на мой взгляд, будет обоюдная бестолковая глупость. Раз нет интеллигенции, давайте создавать ее. Это – культурная политика.

Ибо нет интеллигенции потому, что не выполняется сословная задача. То есть, быть тем килем, который дает духовное направление обществу. Не

враждовать тут надо, а как-то обогащаться взаимно. Меня учила русская культура. Тесть мой Иван Матвеевич Рошонок – член «Сокола», член «Фратернитас Арктика», старовер (упоминается Соженицыным в «Архипелаге ГУЛАГ») – нет для меня лучшего примера врача. Сто лет ему в этом году. Его друг – поэт, писатель Платон Иосифович Набоков – нет для меня лучшего образца русского интеллигента. Или вот Юрий Иванович Абызов – человек совершенно иного склада, но сутью своей – родня Платону Иосифовичу. Для меня они все живые. Как и преподаватели военной кафедры (в РКИИГА им. Ленинского комсомола / РАУ – Рижского авиационного университета. – *Ред.*), которые давали мне прочесть «Доктора Живаго». С Серебряным веком я познакомился благодаря майору и полковнику. Не могу я себе позволить относиться к русской культуре более небрежно, чем они относились к латышской. А они относились к ней – мне пока не достать. Правда, мультикультурность в виде современной Вавилонской башни или супермаркета я приемлю столь же плохо как и политкорректность, когда дурака начинают называть представителем интеллектуального большинства.

РАБОТАТЬ НА ОТБОР

Что в этой ситуации может пресса?

Думаю, мало что может, там всегда будет вавилон недалеких, ограниченных мнений. Широта без кругозора. Частью культурной политики должно быть поддержание изданий, которые целенаправленно работают на интеллект, в которых есть живая дискуссия. То есть, задачей которых является опять же эта задача селекции интеллекта, его привлечение. Тут должны быть издания на латышском и на русском языках, которые несли бы этот уровень. Они должны содержаться государством. И в них должны быть жесткая и грамотная критика и полемика. Это работало бы на отбор, на повышение качества ценностных представлений общества о том, в каком мире оно живет.

А сейчас даже газета «Kultūras Forums» перестает выходить из-за финансовых трудностей, сложная ситуация у журнала «Teātra Vēstnesis»?

Продолжим, чего у нас еще нет или может не быть... «Karogs», «Даугава»...

И вряд ли государство в ближайшие годы пойдет на поддержку таких изданий?

На чем тогда тренироваться нормальной тусовке, в которой участвуют те, с кем ты не согласен? Есть, например, альманах Гуманитарного семинара Сергея Мазура, есть сайт семинара, есть несколько литературных сайтов, есть портал satori.lv... Это здорово, это, надеюсь, обеспечивает горизонтальные, маргинальные в лучшем смысле этого слова связи. Но, на мой взгляд, должно быть периодическое издание, рассчитанное на максимум публичности. Не на рынок, и не на толпу, а на людей, способных мыслить в категориях культуры. Неэлитарный (в смысле языка общения) рупор культурной политики с участием лучших умов без оглядки на пятый пункт.

Кто-то из латышских журналистов сказал по этому поводу, что нашей власти как раз выгодно иметь тупой, нищий, больной, убогий народ...

Убогое в духовном плане правительство по себе судит и поделом получает от народа. Оно бессмысленно правит, думая лишь о чисто обывательской пользе от

своего правления. Масштаб мышления, масштаб способностей должны соответствовать масштабу должности. А так как этого соответствия не наблюдается, выраживание интеллектуальной элиты должно стать частью культурной политики.

Какая элита - люди уезжают из Латвии!

Да, и не только латыши. Худшее, что может быть, – когда молодежи заведомо не светит ничто иное, как участь лишнего поколения. Окончил школу – а что дальше?! Я бы переместил акцент на молодых людей. Социальный лифт для молодых должен работать в полную силу. Хотя бы потому, что экономический потенциал, а значит и достойная жизнь пенсионеров, обеспечивается молодыми поколениями.

Все это вопрос времени, перспективы. Что можно сделать уже сейчас?

А люди делают. Вот создали люди альтернативный бюджет. Правительство к ним не прислушалось. Создали люди какие-то проекты, скажем, политического толка. Посоветовали изменить Сатверсме, изменить выборную систему, предложили какие-то прогрессивные начинания в образовании, культуре. Проанализировали модели занятости, высшего образования в Скандинавии, в Германии... Это что – не дело? Но у нас во власти доминирует не юридическое, а корпоративное право, оно определяет отбор идей, выбор специалистов в правительство. Отдельные люди работают, но не получают от политиков оценки тех или иных идей, которые могли бы определять здесь погоду. Ведь эта работа должна превращаться в политическую практику. А превращать ее в политическую практику должно государство. Если власть на это не работает, значит, должны быть люди заинтересованные, способные социальным образом воздействовать на власть, изменить ее. Но для этого у нас нет лидеров. Значит, снова приходим к тому, что лидеры должны создаваться.

Следовательно, ближайшие лет десять нам надеяться в этом плане не на что?

Ну, авось выявится какой-то гений. Или кому-то станет выгодно, чтобы здесь у народа были собственное качество и собственная голова на плечах. Но ни русским, ни латышам не надо себя принижать. Если нет интеллигенции, я не сказал, что нет грамотных интеллигентных людей. Если с экономикой плохо, это не значит, что нет экономистов, которые понимают, что происходит. Они пишут, они говорят об этом. И есть политики, которые понимают. Имеющий уши, да услышит их. Пока некому создавать из них социальную силу. Это не умаляет ценность по государственному мыслящих людей. Да, нужен другой тип лидера, чтобы они могли вместе с ним взять на себя задачу управления. Его, к сожалению, нет. Наши политики не препятствуют тому, чтобы ими управляли извне. А если власть не правит самостоятельно, она приобретает навык холопа. Под холопом туго. Но – у него короткое дыхание.

Анна Ранцане

ТРИ ПЕСНИ ИЗ БЛИЖНИХ САДОВ

Русская поэзия Латгалии. Лудза, 2010

Резекненский Поэтический Вестник 2007 – 2010. Резекне, 2010

«Он из тихих районных столиц...» Лудза, 2008

Давно не бывала в саду! – так хотелось сказать после прочтения этих трех книг.

Прогуливаясь по саду русской поэзии Латгалии, наряду с чужими растениями то и дело встречаешь старых знакомых. Те же георгины и те же пионы, божьи деревца, ромашки. А как же иначе, если сад веками взращивала, вскармливала и лелеяла общая земля, поила вода из общих рек и источников. Латгальские и славянские корни здесь издревле, уже с XVII века, когда в этом краю обрели пристанище гонимые староверческие общины, и еще того прежде; они волей-неволей так тесно сплелись, что, разрывая, можно повредить какое-нибудь деревце или цветок. Да, высока и непрístupна была ограда староверческого подворья, инородцев недоверчиво встречала «поганая кружка» у колодца, – и все же: над высокими воротами вскуривался тонкий аромат латышского божьего дерева, а в ярких вышивках на полотенцах мелькали древо Аустры и знаки Лаймы. Шло время, забор оставался, но жил и чуть приметный аромат божьего дерева – как знак общности. Может быть, на земле Мары люди легче находили общий язык – и в молитве, и возделывая глинистую и тощую землю.

В этих книгах собрана поэзия, которая преимущественно исходит «из тихих районных столиц», где днем еще заметно какое-то движение, а вечерами, когда из бережливости гасятся фонари, улочки окутывают тишина и одиночество, такие мглистые и щемящие, потому что чаще всего просто некуда пойти. Я нередко задумываюсь – почему и в наше прагматическое время, в этом крайнем одиночестве люди по-прежнему пишут стихи? Ищут ли в поэзии спасения от будней, или приюта, хотя ведь поэзия – довольно ненадежная лодка, на тех, кто сочиняет стихи, зачастую смотрят как на чудаков, «провинциальных трагиков», которые, вопреки ничтожно малой возможности печатать свои произведения, все же издают книги, продолжают самоотверженно служить своей музе. Сказанное относится к пишущим как на латышском, так и на русском языке, только последние условно находятся вне своей родной языковой среды. Условно, потому что именно в Латгалии эта русская языковая среда по-прежнему достаточно сильна. И все же – как восклицает в своем длинном стихотворении латгальский старовер, даугавпилский поэт Алексей Соловьев: «Мы русские / Но мы не россияне!».

Поэтические антологии в Латвии – не частое явление. И выход в свет объемной (508 страниц!) антологии «Русская поэзия в Латгалии, конец XX – начало XXI века» – значительное событие. В аскетически оформленной книге в алфавитном порядке расположились: оригинальная поэзия 52 авторов, фотографии поэтов и краткие сведения о каждом из них. Слово бы в подтверждение слов о близости поэтических садов, в антологию вошли также произведения де-

вяти латгальских поэтов, переведенные на русский язык. Книга издана в рамках проекта «САБРИ – диалог между латышской культурой и культурами наименьшинств» при поддержке Исландии, Лихтенштейна и Норвегии, Общественного фонда интеграции и самоуправления Лудзенского края. Эти страны и организации, оказавшие финансовую поддержку, захотелось упомянуть, потому что иначе вряд ли Лудзенской русской общине «Наследие» удалось бы осуществить эту давнюю мечту о такой большой книге поэзии. Редактор и составитель сборника – живущий в Лудзе поэт Александр Якимов, который готовит литературные страницы в газете «Лудзас Земе» и в газете «Панорама Резекне». Отобраны те авторы, которые регулярно публикуются в периодических изданиях, ежегодниках в Даугавпилсе, Резекне, Лудзе и других местах Латгалии. Поэтические антологии, правда, нередко напоминают семейный альбом, где одинаково любимы все родственники, куда включаются все фотографии без исключения. На этот раз тоже не ломали голову над отбором авторов, но, может быть, эта полнота информации – одна из ценностей книги. Остается лишь попутно с сожалением заметить, что в изданной в Риге несколько лет назад солидной антологии «Современная русская поэзия Латвии» никому из русских поэтов Латгалии места не нашлось. Ни для безвременно ушедшего из жизни Евгения Шешолина (1955–1990), с его ярким поэтическим талантом, произведения которого вошли в академический сборник «Антология русского верлибра». Ни для весьма интересных поэтов Даугавпилса Руслана Соколова (1970) и Павла Васкана (1975).

В рассматриваемом сборнике сильна женская плеяда лириков – прежде всего незаслуженно забытая лудзенская поэтесса Елена Арбузова (1946–1991), даугавпилсские поэтессы Фаина Осина и Татьяна Рускуле, Ольга Орс из Резекне. Наряду с ними назовем совсем молодых авторов: в то время еще школьницу из Лудзы Анну Выборную, в чьих строчках видится хрупкий, но страстный лиризм – «Лепестки белой лилии – выше! / С ветром – вверх! Почему Ты не дышишь? / Крик упавшей звезды, плач дождя – по Тебе»; школьницу из Малты Ксению Ржевскую, в чьих стихах обнаружим параллели с юной Мариной Цветаевой. «Город Д.» Руслана Соколова: «Город, / чье имя размыто рекой (то ли Н, то ли Д – / какая-то буква приходит на память) [...]. На каждой улице кто-то ждет / письма, короткого сообщения, – / просто знака, / когда можно будет / трогаться в путь, / туда, / где беспомощные города / создают иллюзию / побежденного страха», – напоминает «Городок Н.» Добычина, но оба – один и тот же Даугавпилс, Двинск, Динабург.

Тут же – многие авторы старшего поколения, написанное которыми не выходит за рамки «семейного альбома», но и это – честное и преданное служение музе.

Надо сказать, что в русской поэзии больше замечается следование общепринятым добрым традициям, как в смысле формы, так и содержания; традиционное четверостишие, изредка – сонет. В этом смысле сразу выделяются помещенные в сборник в переводе Фаины Синой стихи современников старшего и среднего поколения, пишущих на латгальском языке (Валентина Лукашевича, Йоньса Рыучанса, Анны Ранцане, Антона Кукойса, Вилиса Дзервиникса и др.), чья поэтическая форма, преимущественно верлибр, более свободна, а тематика – суровее, они уже вышли из воспевания родного края, однако, почти каждо-

му из них можно найти единомышленника из сада русской поэзии, с которым вести переключку.

Далее – две книги, которые как бы послужили основой этой антологии, поскольку в обеих собраны произведения из поэтических страниц местных районных газет. Теперь, когда крупные национальные газеты полностью отказались от публикаций поэзии и прозы, закрылись литературные периодические издания, одни лишь местные газеты тихо, скромно, как незаметные служанки, ведут эту работу отображения литературного процесса. Более ценным и интересным кажется «Резекненский Поэтический Вестник» (поддержку оказали Резекненская городская Дума и редакция газеты «Панорама Резекне»), в котором собрано сто литературных страниц из газеты «Панорама Резекне». Может быть, в целях экономии страницы книги – как факсимиле газетных страниц, что несколько затрудняет чтение, но зато они похожи на сурово тревожных свидетелей эпохи, как письма с фронта. Наряду со стихами здесь помещаются пространственные беседы с авторами, в том числе и с гостями из других городов (Сергеем Пичугиным, Александром Кувакиным, Юрием Куликовым и др., а также с пишущей на латышском и латгальском языках Даце Скрауча). Завершается сборник июнем 2010 года, будто бы то захлеб, то медленно досчитав до ста, и не ведая, будет ли продолжение счета. Как в стихотворении составителя страниц Александра Якимова – «Посчитай мне тихонько до ста».

Вторая книга – «Он из тихих районных столиц...» (издатель – Лудзенская главная городская библиотека, при финансовой поддержке Лудзенской Городской Думы) – издана красивее, в твердой обложке, и оформлена совсем как сувенирное издание, чтобы дарить гостям города. На фотографии, помещенной на обложке, в Большом Лудзенском озере отражаются белые башни Лудзенского костела. Здесь собраны стихи литературных страниц из другой районной газеты – «Лудзас Земс», период времени – длиннее, с 2001 года, однако, ценность книги умалает то, что в ней нет сведений об авторах, у некоторых из них – только инициалы, авторы следуют один за другим просто в алфавитном порядке без какого-либо отбора. «Прогуливаясь» по страницам этой большой книги будто бы петляешь по ухабистым, неровным улицам маленького приграничного городка («тихой районной столицы» – Александр Якимов), на каждом шагу все же встречаясь с давними, милыми знакомыми, волшебными отражениями в стеклах окон, резьбой по дереву на оконных коробках, геранью или миртой на подоконнике. То, что объединяет все эти три книжки, – это любовь: к своему родному краю, Латгалии, простота и вера в какую-то тихую, обыкновенную красоту, которая когда-нибудь, но все же обязательно спасет мир!

Алексей Герасимов

ARS AD MARGINEM

Деление искусства на «элитарное», «массовое», «коммерческое», «нонконформистское», «придворное», «площадное» и т. д. необходимо, конечно, для более или менее точной систематизации, но каменных стен между андеграундом и поп-культурой, между мейнстримом и маргинальными течениями — нет. Более того, существует обратная связь: андеграунд влияет на поп-культуру и наоборот, а маргинальное течение в один прекрасный день может стать основным. То есть, разные пласты культуры — едины в своем как бы «противостоянии».

Одна из самых интересных выставок последнего времени — «И ДРУГИЕ направления, поиски, художники в Латвии, 1960–1984» (Rīgas Mākslas telpa), посвящена тому пласту латвийской культуры означенного периода, который существовал параллельно мейнстриму и независимо от него. (А мейнстрим, это, конечно, соцреалистическая станковая живопись, графика, скульптура, психологический театр etc).

Следует заметить, что представлено было искусство отнюдь не «запрещенное» и не «антисоветское» (точнее, не столько оно), а искусство, которое в то время либо вообще искусством официально не признавалось, либо проходило по разряду любительского, «самодеятельного».

Например, «Рижская пантомима» и «Театр Ансиса Рутентала» не имели статуса профессиональных коллективов, хотя работали на высочайшем для своего времени уровне и гремели на всю страну.

Или живописцы, которые получили профессиональное образование, но работали в стилях, противоречащих партийным установкам, — их не принимали в Союз художников, а значит, они не имели возможности участвовать в официально разрешенных выставках, не получали мастерских и, главное, не могли законно вести образ жизни свободных художников, то есть, обязаны были где-то служить, иначе их могли осудить за тунеядство.

Или дизайнеры, которые занимались рекламой или кинетик-артом, — их искусство проходило как «прикладное».

Или фотографы, которые вели творческие поиски на грани художественной фотографии и фотожурналистики, или экспериментировали с фотоколлажами и с различными техниками, великими усилиями достигая тех результатов, которые сейчас легко получить с помощью «фотошопа», — они не получали признания даже у своих коллег!

Или авторы инсталляций, или организаторы хеппенингов, арт-акций, уличных и квартирных перформансов, — все они как бы не существовали для советского общества в качестве художников. Хотя и рисковали быть замеченными властью как хулиганы или даже порнографы.

•

Почему же кураторами выставки был выбран именно этот отрезок времени? Потому что именно в 1960-м коллектив под управлением Роберта Лигера (существовавший как любительский театраль-ный кружок при рижском ДК строителей) показал первое в Латвии пантомимическое представление. А в 1984 году на официальной выставке «Среда. Природа. Человек» впервые помимо живописи, графики и скульптуры были представлены художественные инсталляции, то есть, маргинальные некогда арт-направления потихоньку стали вливаться в мейнстрим.

Кто же создавал в ту эпоху латвийское искусство *ad marginem*? Которое, конечно, заслуживает более серьезного и глубокого исследования, чем моя беглая заметка.

Например.

Живописцы и графики: Зента Логина, исключенная из Союза художников за абстрактный формализм; Раймонд Лицитис, на чье творчество влияла чуждая науке коммунизму философия Востока; «французская группа» из Художественной Академии — Бруно Василевский, Имант Ланцманис, Майя Табака, Иева Ланцмане, Курт Фридрихсон, вдохновлявшиеся европейским искусством *Belle Epoque*, что, конечно, было своего рода эскапизмом; Лига Пурмале и Миервалдис Полис, пионеры фотореализма в Латвии, возникшего как реакция на лакированный и становящийся уже декоративным соцреализм; Рашид Аликперов, чье яркое творчество, вдохновленное Ведической культурой, было чуждо не только советской власти, но и латвийскому андеграунду, признававшему только серые оттенки и мягкие полутона; Владимир Глушенков, в творчестве которого можно увидеть научно-фантастические и даже сюрреалистические мотивы; Владимир Павлов, тесно связанный с художниками нонконформистами Ленинграда, он чудом сумел организовать неформальную выставку картин в Клубе кинолюбителей, которую со скандалом закрыли по распоряжению министра культуры ЛССР.

Перформансеры: Мара Кимеле, в то время студентка актерского факультета, режиссировавшая «исторические» перформансы — театрализованные реконструкции стилей разных эпох в еще не отреставрированном Рундальском дворце; Андрис Гринбергс и Ко., устраивавшие рискованные, провокативные, эротико-оргастические перформансы по мотивам фильмов «Ромео и Джульета» Дзеффирелли и «Красная пустыня» Антониони; Харий Лединьш и Юрий Бойко со своей группой «Желтые почтальоны», каждый год совершавшие акцию «Поход на Болдерау».

Фотографы: Эгон Спурис — автор серии художественно-документальных работ «Пролетарские районы Риги», Мара Брашмане — фотолетописец рижской богемы; Гунар Бинде — грандмастер жанра ню; Валтер Янис Эзериньш — абстракционист, экспериментировавший с различными химикалиями и другими фотоматериалами.

И многие, многие другие художники, которых впоследствии ждали совершенно разные судьбы: кого-то репрессировали, кто-то самоубийствовался, кто-то бросил творчество, а кто-то достиг общественно-го признания и влился в мейнстрим наших дней. Но это уже совсем другая тема.

В. Агапов (1970) – критик. Живет в Риге и в Москве. Сфера интересов: кино, литература, философия, музыка. Сотрудничал с газетой «Labrīt», работал в московском интернет-портале «Weekend». Автор многочисленных рецензий, обзоров, предисловий и комментариев. Близок к мультимедийному проекту (группе) «Орбита», периодически публикуется в ее изданиях.

Сергей Морейно. Ж(ИЗНЬ) КАК ПОПЫТКА
СИНХРОНИЗАЦИИ, эссе

Текст входит в книгу С. Морейно «Фраза и Равновесие», которую издательство «Mansards» планирует издать на русском и латышском языках («Frāze un līdzsvars») этой осенью. В латышском переводе М. Асапе и О. Силабриедиса эссе «D. kā sinhronizācijas mēģinājums» публиковалось в журнале «Mūzikas saule» в 2010 году.

ОДТЕКСТПОДТЕКСТПОДТЕКСТПОДТЕК
дискуссия, эссе

Дискуссия за «Круглым столом». ПОЭЗИЯ ЖИВА.
Ведет Наталия Морозова

Принимают участие: Карлис Вердиньш – поэт, переводчик, литературный критик, доктор филологии; Гарри Гайлит – литературный и театральный критик; Владлен Дозорцев – поэт, прозаик, драматург; Сергей Морейно – поэт, прозаик, переводчик; Сергей Пичугин – поэт, прозаик; Борис Равдин – историк культуры, член Правления Латвийского общества русской культуры; Анатолий Ракитянский – библиограф, библиофил, член Правления Латвийского общества русской культуры; Владимир Соколов – политолог; Игорь Трохачевский – поэт, прозаик; Ирина Цыгальская – писатель, переводчик; Инта Чакла – литературный критик.

Владимир Ореховский. ДВА СУПЕРМЕНА, эссе

62

В. Ореховский (1959) – ученый, писатель. Окончил физико-математический факультет Латвийского университета. Доктор инженерных наук. Публикации в газетах «Бизнес&Балтия», «Республика», «Вести», «Час», «Суббота»; журналах «Datorpasaule», «Бизнес.lv», «Даугава», «Ева», «Карьера», «Коммерсант Baltic», «Патрон», «Рижский альманах».

ОДТЕКСТПОДТЕКСТПОДТЕКСТПОДТЕК ДИСКУССИЯ, ЭССЕ

Гарри Гайлит. ПУТИ И ПЕРЕПУТЬЯ НЕОФИТА, эссе

68

Мемуарная проза литературного и театрального критика Г. Гайлита (1941) посвящена шестидесятым – студенчеству времен оттепели, рижской богеме, кафе, кофе, искусству, политике и, конечно, книгам. «Книг у меня дома всегда было много. Книги – это моя стихия. Видеть их постоянно перед глазами, держать в руках, читать – дело для меня обычное. Там, где их нет, мне находиться странно и неудобно. Интерьер без книг кажется неестественным и убогим». Еще одно слово в копилку воспоминаний о рижском общепите, который своеобразно охарактеризовал И. (Изя) Малер: «Здесь сживали старушки за пирожным и мы, читавшие в Эренбурге, что поэты проводят время в кафе. И пьют кофе. Так я впервые выпил черного кофе. Впрочем Рига бежала салонов, латышский дом не любит постоянных гостей, а предпочитает встречи на нейтральных территориях».

НЕСБЫТОЧНЫЙ ДАР МНЕМОЗИНЫ

Защищая «Лолиту» от обвинений в порнографии, иные читатели бросаются в крайность и объявляют книгу Набокова романом о любви. Опровергнуть эту «любовную» трактовку легко, ведь Гумберт Гумберт – изворотливый негодяй, и доверять его писанине нельзя. И хотя популяризации такой точки зрения на Гумберта способствовал сам Набоков, принимать ее за истину в последней инстанции нельзя, иначе роман превратится в аттракцион – блуждание по лабиринту чужого больного сознания. Увлекательная задачка для логиков, но лишенная глубины. Что такая глубина возможна, убеждает труд Гумберта Гумберта «Прустовская тема в письме Китса к Бенджамину Бейли», вызвавший, как помним, одобрительные ухмылки у шести-семи ученых.

Это не хвастовство Гумберта, тут ему можно верить: комментаторы Набокова и вправду обнаружили прустовские мотивы в указанном письме. Но еще интереснее попытки Гумберта применить метод Пруста на практике, когда он возвращается в Брайсланд в августе 1952 года с новой пассией Ритой. Назовем его метод рационализацией Пруста – в погоне за утраченным временем Гумберт точно знает, где искать те мимолетные детали, что могли бы воскресить былое. «Я вступил в новую фазу существования: я теперь пытался ухватиться за старые декорации и спасти хотя бы гербарий прошлого». Напомним, что пятью годами ранее именно в Брайсланде Гумберт впервые переспал с Лолитой. Сразу же отметим отличие гумбертовских приемов от прустовских. Рассказчик «В поисках утраченного времени» никуда специально не ездил, былые ощущения охватывали его случайно. А Гумберт не может ждать милости от случая, и потому подстегивает его. Оставив Риту в баре (и тем самым подчеркнув собственную трезвость), Гумберт отправится в городскую библиотеку ворошить подшивку местной газеты за август 1947 года. Он буквально задыхался, когда читал строки, первая из которых была: «В воскресенье, 24-го, в одном из двух местных кинематографов шел фильм «Одержимые», а в другом – «Грубая Сила»».

Отчего же чтение этих строк захватило дух Гумберта? Простое объяснение – острый угол переплета «бодал» его в живот во время чтения – Гумберт не приемлет сам. Ведь он настроен во всем видеть знаки судьбы: недаром называет «роком» фолиант «Брайсландского Вестника». Те знаки, что в первый приезд он, ослепленный желанием, принимал за помехи на его пути к отелю. Фильмы в списке пропущенных примет особенно интересны. Не только потому, что взгляд Гумберта их выхватывает первыми, но и потому, что на один из этих фильмов очень хотела сходить Лолита. Во время поездки по Брайсланду она сказала: «Ах, этот фильм я очень хочу посмотреть! Пойдем сразу после обеда. Пожалуйста, пойдем!» Гумберт не возражал, но при этом не собирался исполнять ее желания («он-то, хитрый, распаленный черт, отлично знал, что к девяти часам вечера, когда начнется его собственное представление, она будет спать мертвым сном у него в объятиях»).

На какой же из названных фильмов хотела пойти Лолита? И может ли эта информация быть нам полезной? Может, если верить в то, что у Набокова любые детали не случайны (тем более такие, к которым титульный персонаж проявляет живой интерес). К тому же, игнорируя интерес Лолиты, мы уподобляемся Гумберту и принимаем его критерии за объективные.

Первая из упомянутых в «Брайсландском вестнике» лент вне всяких сомнений – нуар «Грубая сила» Жюля Дассена (отца поп-певца Джо Дассена). Насчет второго фильма мнения литературоведов расходятся. А. Долинин напоминает, что летом 1947 года в прокат США вышел фильм Кертиса Бернхардта «Одержимые» «о безответно любовной страсти одной женщины, которая в конце концов сходит с ума» (А. Долинин, Комментарии \ \ Набоков В. Лолита. М.: Художественная литература, 1991, с. 405). А. Люксембург в пятитомном собрании сочинений Набокова американского периода тоже упоминает этот фильм, но добавляет: «Впрочем, Набоков мог иметь в виду и фильм режиссера Витторио Де Сика «Одержимость», снятый в Италии в 1942 г. по мотивам романа Д. Кэйна «Почтальон всегда звонит дважды» и ставший известным в США только после окончания Второй мировой войны. В этой уголовной драме акцент сделан на шутках судьбы, которые ведут к непредусмотренной повторяемости событий, что концептуально близко Набокову». А. Люксембург неверно атрибутирует «Одержимость» – ее снял не Де Сика, а Лукино Висконти. Версию, что Набоков имеет в виду «Одержимость» Висконти, можно отбросить по многим причинам, которые могут стать темой отдельной статьи. Назовем лишь самую существенную: правами на экранизацию романа Д. Кэйна в те годы владела компания MGM. В мае 1946 года MGM этим правом воспользовалась и выпустила на экраны свою экранизацию – фильм Тэя Гарнетта «Почтальон всегда звонит дважды» с Ланой Тернер и Джоном Гарфилдом стал самым кассовым нуаром классического периода. С точки зрения закона об авторском праве фильм Висконти нарушал копирайт и не мог демонстрироваться в США. То есть, до выхода «Лолиты» в печать у Набокова не было возможности посмотреть фильм Висконти, а значит, он не мог его упомянуть даже в том случае, если бы хотел пойти против фактов и допустить некоторую авторскую вольность. Итак, остановимся на том, что 24 августа 1947 года в Брайсланде показывали «Одержимых» Бернхардта, а точнее – «Одержимую».

Легко догадаться, какой из двух фильм брайсландского репертуара приглянулся Лолите. Уж, конечно, не «Грубая сила» – суровая драма о безнадежной попытке заключенных сбежать из тюрьмы. История безумной любви должна была больше заинтересовать девочку. Дополнительным стимулом могло послужить то, что главную роль в «Одержимой» сыграла Джоан Кроуфорд – в 40-е годы она позировала для рекламных постеров кока-колы, так что подростки ее лицо на афише должны были узнавать мгновенно.

Гумберт не дал Лолите посмотреть «Одержимую» и сам лишил себя этой возможности. Однако читателю Набокова знакомство с фильмом позволит четче разглядеть узор гумбертовой судьбы и прояснить многие темные места романа. У «Одержимой» и «Лолиты» так много общего, что попади герои на сеанс, их отношения были бы совсем другими – фильм мог бы сыграть роль, аналогичную «Мышеловке» в «Гамлете».

Судите сами. Фильм начинается с блужданий по городу главной героини Луизы Хауэлл. В каждом встречном она ищет сходства с неким Дэвидом, пока, наконец, не попадает в руки психиатра. Дальнейшее течение фильма – череда флэшбеков: Луиза вспоминает прошлое и пытается объяснить, кто же такой Дэвид и почему так много значит в ее судьбе. Не правда ли, сюжет и форма изложения весьма сходны с «Лолитой»? Не будем забывать, что Гумберт – тоже сумасшедший и прекрасно это понимает (к помощи психиатров он до убийства Куильти обращался сам), а судить о его прошлом мы можем только с его собственных слов. В романе сторонняя Гумберту точка зрения появляется лишь однажды – в предисловии Джона Рэя. В фильме воспоминания Луизы периодически прерываются диалогами врачей, во время которых они обсуждают состояние пациентки, но ничего не могут сказать о достоверности ее слов. В обоих случаях авторы умело намекают, что полностью доверять рассказчикам нельзя. Такая форма повествования оставляет возможность для «неожиданного» финала – все рассказанное героиней или героем может оказаться бредом сумасшедшего. Концовка «Одержимой» однако лишена столь предсказуемого эффекта. Она обманывает наши ожидания тем, что все рассказанное Луизой оказывается правдой.

И все же атмосфера загадочности сохраняется даже после того, как авторы указали нам в финале на «грубый реализм» истории. Этот неожиданный сюрреалистический эффект от достоверного описания роднит фильм Бернхардта с романом Набокова (в частности, со странным убийством Клера Куильти). Каким образом Бернхардт добился нужного эффекта? Он вводит в сюжет побочных персонажей: если Луиза влюблена в Дэвида, то в нее в свою очередь влюблен его деловой партнер – пожилой и состоятельный мистер Грэм. В начале фильма Луиза работает сиделкой – присматривает за женой мистера Грэма Полин, страдающей патологической ревностью и суицидальными наклонностями. Полин считает, что до безумия ее довел муж бесконечными изменами. Однажды, пока ее дети отдыхали в летнем лагере, Полин удалось сбежать из дома и утопиться. Вернувшейся из лагеря дочери Кэрол, конечно, кажется, что Луиза убила ее мать, чтобы стать новой миссис Грэм. Другими словами, если Луиза одержима патологической любовью к Дэвиду, ее окружение разделяет параноидальную картину мира. Мистер Грэм трезвее всех прочих смотрит на происходящее, но при этом он в упор не замечает, что его жена влюблена в другого. Выходит, самая объективная точка зрения – у Дэвида, но это ему несколько не помогает, так как Луиза убивает его как раз за излишнюю рациональность. Если учесть точки зрения побочных персонажей, станет ясно, почему финал фильма сохраняет всю тревожность кошмара – Луизе поставлен диагноз, но Кэрол сохранит свое параноидальное понимание действительности, а образ мистера Грэма останется непроясненным. К тому же, диагноз не обещает излечения. Мало того, что психиатры вынуждают Луизу восстановить цепь событий, отчего ей становится только хуже, так они еще одним из основных критериев ее безумия называют эмоциональную холодность и нежелание встать на чужую точку зрения, демонстрируя своим поведением те же симптомы.

Возможно, поэтому Набоков переводит название фильма во множественном числе – «Одержимые», а не «Одержимая». Таким образом подчеркивается

безвыходное положение Луизы – ее врачи избавлены от иллюзий не более, чем она сама. В том же положении находится и Гумберт – психиатры пытаются вернуть его в нормальное общество, не замечая, насколько патологична сама «норма» (критика Гумбертом «одноэтажной» Америки сохраняет свою силу вне зависимости от его собственного морального облика). А стало быть его исповедь (то есть текст романа) можно трактовать не просто как попытку самооправдаться, а как опыт самоанализа и самоизлечения. За готовность (пусть мимолетную) вернуться к прошлому и объективно всмотреться в сложный узор судьбы Набоков вознаграждает Гумберта озарением. Вскоре после поездки с Ритой в Брайсланд Гумберт делает открытие:

«Кто знает, может быть, истинная сущность моего «извращения» зависит не столько от прямого обаяния прозрачной, чистой, юной, запретной, волшебной красоты девочек, сколько от сознания пленительной неуязвимости положения, при котором бесконечные совершенства заполняют пробел между тем немногим, что дарится, и всем тем, что обещается, всем тем, что таится в дивных красках несбыточных бездн».

Таким образом, Гумберт не был педофилом. И не потому, что излечился благодаря любви к Лолите, а потому, что за его одержимостью нимфетками крылась совсем другая – исключительно головная – страсть. А своей исповедью нимфомана он соответственно маскировал совсем другое преступление. Как страсть постепенно вела его к параноидальной картине мира, Гумберт мог бы понять, если бы одним августовским вечером 1947 года поддался уговорам одинокой девочки и сходил в кино.

Сергей Морейно

Ж(ИЗНЬ) КАК ПОПЫТКА СИНХРОНИЗАЦИИ

I. Заметки На Своих Полях

*но в любой экспозиции если
судьбу и время менять местами
беспрерывно отыщется нечто щемящее
Олег Золотов*

В основе величия всегда лежит легкость. Если великая конструкция не будет легкой во всех своих проявлениях, она рухнет, придавленная собственной тяжестью.

Великая пирамида кажется большой как раз потому, что ее вершина каким-то образом тянет за собой всю остальную массу. За нее можно было бы легко подвесить пирамиду к небесам. А если поставить ее на эту вершину на попá, усилия двух пальцев хватило бы удержать ее в равновесии.

И Сталин, которому следовало бы даровать жизнь вечную – затем, чтобы ежедневно распинать, вешать, отрубать голову и сжигать на медленном огне (в колбасном цехе мясокомбината имени его соратника Анастаса Микояна) – грандиозен. Но не обилием жертв: тут он не сравнится – в процентном отношении, конечно – ни с чумой, ни с китайским восстанием желтых повязок. Он велик в сбегавших к бесконечности переходах от спицей к звездам московских высокоток, в этих запястьях гигантских дольменов, каких не удаивались, скажем, и башни Кремля.

Бедные свободные латыши содрали с Академии наук Тилманиса и Ольгаржевского не то звезду, не то герб – а это все равно, что отрубить руке пальцы. И вот грозит эта надрубленная рука от Спикеров до самых до окраин Москачки. И ждут неприкаянными дома вдоль правого берега Двины – не дождутся спугнутых курцупым членом высотного тела покупателей.

Величие природы в том, что она живет и действует по принципу: *easy come – easy go*. Когда она с легкостью заваливает белым снегом свои поля, леса и реки, сметая его с той же легкостью прочь и насыпая обратно, я склоняю перед ее величием свою смешную головку и с облегчением делаю заметки на полях.

Как бы то ни было, у меня теперь есть поля. Пара соток посередке Латвии, пара гектаров у нее востоке.

Нам отчего-то трудно говорить о такой вещи, как облегчение. О процессе облегчения, связанном с понятием «облегчиться». Как сказал друг, вернувшись из Амстердама, по тому поводу, что в Голландии неявно запрещено пить (нет водки): «Кокс, герыч, еби животных... но пить нельзя. Если ты пьешь,

ты – враг всего народа». Писая кипятком всех видов вокруг слова «трахаться», мы отчего-то избегаем слова «поссать».

Когда зима, собираясь на очередной срок – править нами, – разбирается ворохи белых избирательных бюллетеней со своими именами, я как бы подписываю их. Я мечу свою территорию, означенную древними межевыми столбами яблонь, и наступающее с продеванием последней пуговички в последнюю петельку облегчение приводит к необратимым сдвигам сознания, требующим вторичного выплеска на *tabula rasa*, чистый лист, свободное поле.

Недавно я, например, стоя под яблоней, задумался об эволюционном пути из стихов во прозу. Конечно же, конечно, случилось мне порассуждать об этом и раньше. Но мне хватало определений, оставленных великими. И я даже не хочу их называть – ни те, что знал прежде, ни те, о которых узнал вчера. Потому, что: попробую со второй попытки – потому, что... Ненавидя, по причине своего негуманитарного образования, все гуманитарные рассуждения о знаках, значениях, логиках – такие наивные, такие беспомощные, словно Офелия на закате своей карьеры – но, как и Офелия, такие же, блин, себе на уме, я и не думал, не гадал, что как-то раз на закате дня приобшусь к таинству знака, вечного, как сама жизнь. И, в контексте этой банальной метафоры, гуманитарного и, пожалуй, гуманного.

Точка на листе. Темная (не знаю, какие у вас там чернила) точка на белом листе. Знак, связующий воедино существо, территорию и сезон его обитания на этой территории: человека, пространство и время. Я возвращаюсь в дом, вхожу с веранды в натопленную мной с утра комнату, иду на кухню, мою руки и ставлю чайник. Я держу в голове картинку своих полей, их тоскующей по теплой человеческой закорючке белизны (будто ночью, когда ты один на трассе, тоскуешь по человеческому голосу в радиоприемнике – но нет: ни одного, даже самого тупого диджея, одна музыка), и правда льющейся из кувшина воды шепчет мне на ухо два слова, что станут основой нескольких (немногих) последующих абзацев: *перенос* и *разлука*.

Различие между поэзией и прозой отнюдь не начинается тогда, когда человек перестает рифмовать, петь и приплясывать в такт собственным строкам и принимается писать по-человечески. Гораздо раньше – в тот миг, когда он только-только приступает к письму: *переносит* слова на бумагу. Еще раньше – когда первый художник берет свое первое стило, и на стенах пещеры появляется первый герой: Палка-палка-огуречик с копьём в руке, преследующий первого персонажа второго плана, Бизона. Потому что в устном рассказе нет героя, есть лишь автор (отставим в сторону устное исполнение написанного ранее – озвучку). Герой возникает на бумаге, и, отложив стило, автор *разлучается* с ним. Не прощаясь.

Точка-точка-запятая, скривив рожицу, бежит за своим жарким, добавляя к сучкам-задоринкам, трилистникам птичьих лапок и, конечно же, бизоньим кизьякам нервный пунктир охотничьих мокасин – надеюсь, у них там зима, – эту бесконечную вязь безответных (до поры, до времени) SOS. Тут я всегда припоминаю – слово «тут» означает «думая о следах на снегу» – начало книги великого Пришвина: «Звери третичной эпохи земли не изменили своей родине, когда она оледенела, и если бы сразу, то какой бы это ужас был тигру увидеть свой след на

снегу!» И, как бегущий за стадом охотник своими следами обнаруживает себя в глазах внимательного следопыта, так и герой проявляется в письменах; под рукою автора, среди белых полей.

Герой – это то всё, живое и неживое, с чем мы оказываемся в диалоге, вступив в контакт с текстом. Нет диалога – нет героя. В мирадах текстов есть только автор, случаются персонажи, но нет героя. И это в моих глазах отличает хорошее письмо от дурного, послание от просто текста, потому что вне диалога нет читателя, а без читателя нет письма – одни каракули: грязь на снегу, если не пыль на ветру. Как мне, как читателю, нужен от текста заряд ума, любви, теплоты, да еще в натуральной оболочке голоса и, по возможности, облика – потрогать&поговорить, так мне, как писателю, необходимо добить до читателя своим полем, осуществиться в нем; и не мне одному: не Пушкин ли устами онегинской Татьяны подчеркивал: «Я к Вам пишу...»

(Пользуюсь этим простым определением, чтобы раз и навсегда покончить со зверскими вычленениями из массы текста лирических героев, протагонистов, идей – из «романа идей», – словом, всего такого. Вот: герой стихотворения М. Ю. Лермонтова «Парус» (Белеет парус одинокой...) – это отчасти автор, отчасти сам парус, а в его же стихотворении «Утес» (Ночевала тучка золотая...) герой – автор, глядящий на тучку, но никак не утес и уж, тем более, не тучка. Совершенно ясно: и здесь, и там герой – нечто, физически излучающее возможность общения; открытый шанс на сопричастность. Постоять рядом, провожая глазами тучку; покинуть «край родной»; поплыть в «страну далекую», поискать в ней бури...)

...Автор отпустил своего героя, выражаясь языком современного менеджмента, в поля. В полном объеме сохраняя PR-поддержку, он обязуется по первому требованию представлять героя каждому встреченному им читателю. Автор и герой пребывают на связи. Повернем, чтобы на совесть отработать название заметки, тему иначе: герой остается в поле притяжения автора. Согласно принятой сегодняшней физикой концепции близкодействия (в принципе, у «близкодействия» имеется исторический, с душком эфира и флогистона, подтекст, но уж больно мне нравится термин), действие любой силы «контактно». Тела не оказывают действия через пустоту, они влияют друг на друга с помощью посредника, поля.

Поле, в свою очередь, не умоглядная абстракция, оно реально и имеет корпускулярно-волновую природу: при общем рассмотрении ведет себя как волна, при частном – как совокупность частиц. Проще: поле – это змея, удав или питон, а для любителей экзотики пускай будет уроборос – издали кольца-кольца, вблизи чешуйки-чешуйки. Если взаимодействующие предметы разнесены далеко, их силовой контакт можно представить следующим образом: проплыл по Оке катер (Ока – река моего детства, вообще «река» – быстрая, узкая, извилистая), прогнал волну, та дошла до берега, качнула поплавок и стоящую на якоре лодку. Если же близко, они обмениваются «силовыми» частицами, посылая их друг другу как футбольные пасы или мячики для пинг-понга. Шелк-шелк, запрос-ответ. Сколь ни бесплотен шарик, под воздействием его прыжков партнеры ощутимо меняют свои траектории.

Когда герои от автора далеки, они подобны окружающим звезде планетам (так Солнце выражает себя в населенной нами Земле). Близки – предстают нам в виде ядра, окруженного электронами (и атом обнаруживает свои свойства – например, способность к контакту, валентность – в поведении электронных оболочек). Назовем поле, посредством которого автор удерживает героев на их орбитах, языком – в широком смысле. Вновь простое определение, пресекающее попытки описать язык как комбинацию лексики с синтаксисом, набор метафор&интонаций, идентифицировать его как бедный или богатый («Бывает, полная чушь написана таким языком, что не оторвешься», – а случается, полная дичь написана отвратительным языком, и все равно не оторваться)... язык – он либо есть, либо его нет; и автор или говорит с героем, или же нет, но в последнем случае не оказывается на месте и героя: брошенный автором, тот ушел, «через речку, через лес» – over the river and through the woods, хотя до настоящей зимы еще далеко; исчез, растворился в полях.

Для чего автору нужен герой? Да всё за тем же – посредством героя он общается с нами. Для плотного, надежного контакта автор должен стабилизировать орбиту героя (а местами и самого героя, как Солярис стабилизировал своим полем нейтринные структуры гостей). Из курса физики мы помним, что силы, управляющие телами на сверхблизкой дистанции, отличаются от прямых и понятных сил, обратно пропорциональных квадратам расстояний. Вблизи же – не только иная зависимость силы от расстояния, но наглое вмешательство в ясную гравитационную картину электростатики и магнетизма. Притяжение может смениться отталкиванием. Вступив в недопустимую близость, герой может слиться, схлопнуться с автором, деформировать его; а может слететь с орбиты – и «с катушек».

Во избежание коллапса поле-язык необходимо структурировать и очень четко «вести» им героя, как ведут точки самолетов на экране локатора авиационные диспетчеры. Требуют подавления или сведения к гармоникам паразитные колебания; близкая орбита нуждается в консервации. Применим к ее параметрам всё, что мы читали&слышали о производстве консервов. Субстанция дробится на небольшие порции, в нее добавляется загуститель – пектин или гуаровая камедь (не дай Бог, каррагинан!), затем она пакуется в жесть или стекло и подвергается термообработке. Полученный результат характеризуют: малые, но достаточно жесткие формы, особая вязкая консистенция (тыняновские «единство и теснота ряда»), определенная формальная двойственность банки и наполнения.

Я стою среди желтеющих на закате сугробов, не полновластных, но – первых пробных снегов зимы, локальных – то и дело перебивающих свое повествование и обнажающих, как прием, коричневую комбинацию земли, никак не желающей пожухнуть травы и опавших листьев. Невидимый мне в узкой лесополосе между садом и морем, кричит приподнявшийся косяк неведомых птиц. От вечного лета их отделяет несколько тысяч километров, от вечного счастья – пока еще теплого родового гнезда – несколько минут лёта. Всё кругом гласит: *разлука и перенос*. Моя единственная мысль проста, как правда, и умещается в полутора шагах снежного полотна – от одной грани зимы до другой.

Поэзия отличается от прозы лишь одним – расстоянием между автором и героем.

II. Жизнь Как Попытка Синхронизации (feat. Даниэль Морейно)

Люди выстраивают свою жизнь при помощи времени.

*Если его немного изменить, всегда случается
что-нибудь, наводящее на размышления.*

Питер Хёг, пер. Е.Красновой

Здесь, во втором разделе, я использовал гораздо больше слов. Они понадобились мне для того, чтобы затемнить смысл большей части написанного – кроме трех-четырех фактов, одной-двух мыслей, пришедших мне в голову с той поры, как улетели птицы. С тех пор, как наступила та роскошная затяжная зима, пережить которую казалось легче, сбиваясь в подобные обломкам племен стайки и кучки.

1. время / Время

Мы живем во времени, как в рыбы в воде. В рыбе есть вода (особенно много – в замороженной :) рыбе). И время есть внутри нас. «Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше» – это сказано (в отношении рыбы) о температурном режиме, потому что рыба селится там, где ей ни горячо, ни холодно, а – как надо.

И (сказано применительно к нам) о наиболее благоприятном токе времени сквозь нас; о качестве нашего личного времени. Тут нет ничего мистического. Я говорю о времени жизни: о том времени, что показывают часы, о том, в течении которого происходят или представляются происшедшими события – о том отмеренном нам море Времени, вне которого мы задыхаемся. Как рыба в плавательном пузыре носит каплю воздуха, мы носим внутри глоток смерти.

Есть тысяча способов описать и зарисовать время. Как vehicle-проводник, как хорошо темперированный клавишник, как траекторию (прямую, кольцевую, спиральную). Время, как пребывающее в движении пространство (девиз капитана Немо: «Mobilis in mobile»), – неважно, говорим ли мы о физическом, энтропийном времени или о так называемом семиотическом. Всегда получается, что время есть нечто, благодаря чему существует невозможное и возможное; время разделяет и соединяет, отсекает и сращивает. Избитейшая и, значит, ближайшая к истине метафора реки (времени) прекрасна тем, что сводит воедино оба его аспекта – течения и берегов.

Напомню: разлука и перенос. Берега́ и течение. Структура и связь. Нет, все-таки *течение и берега*.

Моя одержимость временем/Временем началась с того, что я попытался привнести в те или иные социальные картинки принцип близкодействия. В частности, в схемы властвования: далеко не всякий механизм власти можно описать в терминах кнута и пряника. Между рабом и властелином безусловно что-то такое есть, что-то от одного к другому пере/проистекает, и этому можно пробовать подыскать имя и образ: страх, покорность, угроза, боль... что-то здесь чем-то

питается, кто-то кого-то питает, какой-то формой/разновидностью материи/энергии. А если речь просто о богатом и о просто бедном? Как объяснить эту линию власти, эту плоскость приниженности в лицах? Ни прямого страха, ни прямой угрозы – даже прямой зависимости ведь нет? Какие частицы осуществляют этот обмен веществ?

Первое допущение состояло в том, что неизвестной природы потоки, регулирующие отношения низшего и высшего, слуги и господина, каким-то образом сочетаются с понятием времени: с одной из его ипостасей или аватар.

Время – это всё, чем мы наделены изначально. Оно свойственно нам, присуще нам. Кому-то больше, кому-то меньше. Малейшее право распоряжаться чужим временем всегда означало ту или иную степень реальной власти. И, напротив, любые проявления власти – суть отношения богатого и бедного, только роль денег в них играет время. А контакт, пускай и удаленный, подчиненного с подчиняющим состоит в том, что они опосредованно – хотя, случается, и напрямую – вступают в совместный, зачастую односторонний обмен временем. (Я думал о Времени в категориях «вещного права» – на наше собственное время распространяется лишь одно из трех правомочий собственника (владения, распоряжения и пользования) – мы можем пользоваться временем. Тот же, кто отдал его в чужое владение, и тот, кто им распорядится – оба нарушают Закон; оттого в нашем мире повсюду и постоянно присутствует тьма...)

Другая тема – мнимые отношения власти. Во-первых, театр – зритель приходит с заведомым желанием подчиниться уставу чужой жизни, стать на время ее свидетелем, очевидцем – на время! В театре, который у Станиславского «начинается с вешалки», с безумной серьезностью обставлен самый отсчет времени – звонки, занавес – обозначение моментов, в которые зритель включается в предложенную ему временную цепь. Во-вторых («Как вам это понравится!»), весь мир – сплошные подмости:

*Весь мир – театр.
В нем женщины, мужчины – все актеры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль.*

*All the world's a stage,
And all the men and women merely players:
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages.*

В-третьих...

Я думал об этих играх на краю эротики, о сессиях, взаимных договоренностях (как в театре). О ключевом слове, опускающем кулису; пожалуй, «нижними» правит желание не столько боли, сколько унижения; не столько унижения, сколько демонстрации своего унижения «верхнему» на определенном отрезке времени; желание хронометража! жажда временного метаболизма (а хороший секс всегда вне времени, счастливые часов не наблюдают – любовники

дарят друг другу время (хорошая темперированность); и настоящий секс никогда не обрывается оргазмом! О «землях проклятых» – территориях, с которых тьма подсасывает время (что-то вроде скота вампиров – жертв, у которых вампиры постоянно пьют кровь?), и где всегда так мерзко и так пугающе: оттого, что живущие тут и добровольно отдающие свое время – они обесценивают его.

Итак: мы не просто плывем по реке времени и не просто стремимся к тому, чтобы иметь как можно больше времени, сэкономить его или, напротив, убить. Мы воспринимаем – в качестве жизненно-важной для нас – всю структуру реки: ее отмели, заводи, плесы, ее размеченный бакенами фарватер; мы внутренне согласуемся с неким порядком прохождения пристаней на этой реке. Более того, мы участвуем в некотором подобии игры, где клетками под фишки служат наши позиции на реке. Мы пропускаем, обгоняем, тонем, берем на буксир.

Назовем время, чью пространственную природу – порождаемые им *связь и структуру*, – чье течение и берега мы ощущаем как полную и единственную разметку всей нашей реальности так: *Время*.

2. Оживить губы

Вторым мотивом, непрерывно звучащим у меня в... везде, было соответствие.

Говоря об обществе, искусстве, религии – и жизни, как таковой – язык и сознание постоянно трутся возле понятий согласия, равновесия. Жизнь как единение путника и пути внятно иллюстрируется метафорой перчатки. Соответствие внешнего и внутреннего, формы и содержания есть предмет жизненных исканий; реализация предназначения, что ли. Обоюдный поиск: (1) пальцы поджимаются, (2) просовываются внутрь, (3) складки расправляются по руке. Вместимое подгоняется под вместилище, и наоборот, вплоть до абсолютного слияния.

Интересно становится там, где ткань перчатки отстает от кожи ладони – тепло, и ветер веет. Туда мужики, поступая, прямо скажем, весьма вульгарно, целуют в парадных дамские ручки. Так рождается искусство – на стыке, на острие, от внезапного соприкосновения. «Девушки, присев за шатрами, мочатся на грани света и тени» – в процессе восхождения (к цели), *anabasis*.

А у истоков этих заметок притаилось воспоминание, на сей раз настоящее, подлинно зимнее воспоминание. Его я наблюдаю сегодня с дистанции, какая только возможна в домашнем кинотеатре памяти (это искусственная дистанция – ведь было дело *этой* зимой), и потому опишу короткую сценку, сверкнувшую на грани снежного склона и густеющей лесной синевы, в третьем лице. Как бы со стороны.

Как бы с неким *Н. Или М.*

Сдав лыжи и надев свои разношерстные кроссы, М. вышел из здания проката и с ботинками на плече двинулся к парковке. В двух корпусах от его машины стоял паркетник с откинутой задней дверцей, а с ним рядом – та девочка, чье катание обращало на себя внимание М., когда тот ехал на подъемнике. Теперь она была без шлема, и М. увидел невысокую женщину тридцати с чем-то лет, с двумя косицами черных волос. Когда М. выруливал с парковки, она все еще оставалась возле своего багажника, и ее белое в затеявшихся сумерках лицо с легким

румянцем скул зацепило М. так сильно и столь беспричинно, что сердце от обиды пропустило не один, как говорится, удар, а целых два.

...И я представил: вот идет красивая девушка. Вот бежит девушка – по эскалатору, движущемуся навстречу (на нем едут самые красивые девушки, потому что ты видишь один только верх и додумываешь к нему наилучший низ), вот она возле автомобиля – я представляю себе, как она сядет в него и отчалит (отдаст швартовы и ушльвет). Скажи сейчас Всё Наверху Предержащий, что она – твоя навеки, и ты завопишь от ужаса, но она удалется, и тебе больно!

Начнем с аналогий. Несимметричный облик, асимметричная ваза, неправильной формы дом порою кажутся нам прекрасными и равномерными, воскрешая мысль о совершенной гармонии. Рисунок висит на стене, забранный в ограничивающую его рамку, одновременно являясь частью стены, продолжения плоскости стены за пределы комнаты и, как опять-таки говорится, частью вселенной. Пространство черно, равнодушно, симметрично. Линии крохотного рисунка не могут спорить с его аморфной невозмутимостью. Но если они не симметричны, если они протестуют против безликой правильности, то, вступив во временное противоборство с ней и пав на поле боя, они лишь высвечивают всеобщую гармонию симметрии. Локальное возмущение идет симметрии на пользу.

Метод возмущений, популярный в точных науках: иногда легче выяснить, как ведет себя искомая величина в окрестности заданной точки, нежели установить ее значение в самой точке. Сместиться, чтобы по поведению величины при смещении (возмущении) понять характер величины в центре возмущений.

Сместившись достаточно далеко от точки даже очень устойчивого равновесия, можно и «упасть». Пропустить удар. Я представил себе – поток жизненных линий, не то судеб, не то предписаний – скажем, струй времени. Они касаются друг друга, сходятся и расходятся, пересекаются или следуют параллельным курсом. Ты же держишься своей, назначенной тебе струи, стараясь не тормозить и не форсировать ее течение. Чтобы лучше ощущать струю (лучше видеть и лучше слышать – для этого у тебя такие большие глаза и уши – а, может быть, ты просто нервничаешь), ты вынужден возмущать собственную траекторию; ты отстаешь и опережаешь. Ты периодически не в фазе; да что там, не в форме – ты *расплываешься*. И вдруг видишь девушку, плывущую рядом с тобой одними маршрутами, вы едва-едва откатились на одной и той же горе, ее щеки разрумянены, глаза серьезны, ее стать дышит силой и покоем – уж она-то наверняка на гребне собственной волны!

И она не с тобой.

Ты ощущаешь несовпадение с чужим временем, принимая его за свое.

Поскольку ты, глядя на нее, ничего другого уже не видишь и не слышишь.

Своим соответствием она подчеркивает твое рассогласование. Тебе чудится, что ты падаешь. Пропуская удар.

Я позвонил Майре, и она ответила, что «да, мол, значит, счастье и покой – в том, чтобы синхронизоваться с личным временем, и в те мгновения или даже интервалы времени, когда она точно следует проложенному для нее курсу, она чувствует себя наилучшим образом – да что там, она блаженствует! – но,

однако, полная и окончательная синхронизация – это, наверное, смерть» (тут мы произнесем хором вслед за ранним Бродским:

*Что не знал Эвклид, что, сходя на конус,
вещь обретает не ноль, но Хронос.)*

И, наверное, наоборот. Оттого так смутила самого Яму (Смерть) просьба Начикетаса, сына Ваджашравасы: «Сомнение [возникает] после смерти человека – одни [говорят:] Он есть, – другие: Его нет. – Да узнаю я это, обученный тобой. – Вот третий дар из даров» («Даже боги до сих пор сомневаются здесь, ибо не легко распознать это тонкое рассуждение. Выбери себе другой дар, Начикетас, не обременяй меня, освободи меня от этого», – отвечал Яма. – «Выбери себе [в дар] сыновей и внуков, что проживут сотню лет; множество скота, слонов, золото, коней; Выбери себе [во владение] обширные угодья на земле и живи сам [столько] осеней, сколько хочешь»), – что Начикетас вопрошал его о времени. А у богов, как у марксистов, вопрос об отношении бога ко времени – основной вопрос философии.

«Какие ни бывают труднодостижимые желания в мире смертных – проси себе вволю все, что желаешь. Вот красавицы на колесницах, сопровождаемые музыкой, – такие недоступны людям. Пусть, подаренные мною, они служат тебе, Начикетас, – не спрашивай только о смерти». Думаю, каждый, кто вспоминал это место, представлял себе нечто вроде Айшварии Рай в спайдере с CD-чейнджером на тысячу дисков – если, конечно, не был достаточно просветленным – и, покуда мы живы, да и рок-н-ролл еще теплится, приятно в моменты экстремальных смещений ощутить на губах вкус времени. Здесь мы воскликнем вместе с ранним Рокпелнисом:

*Хоть каплю времени нам – губы оживить!
Хоть каплю календарных суток нашим глоткам...*

3. Море смерти

– Человек отличается от животного тем, что способен испытывать чувство рассогласования, – сказал я.

– И испытывать от этого особого рода боль, – сказала Майра. – Поэтому скучно бывает только тем животным, которые живут с человеком...

– Тогда скажи мне, почему встреча с супермоделью, принцессой, голливудской звездой так не волнует, как...

– Наверное, потому, что они слишком далеки.

– В терминах!

– Мы должны только в терминах?

– Хорошо, дай, сам попробую: рассогласование заметно невооруженным глазом, если периоды колебаний пары кривых отличаются не слишком сильно, и сдвиг фаз не слишком велик. Проще – если кривые «слегка не параллельны», это легко заметить. Если они совсем «непараллельны», мы в недоумении. А ведь

они вполне могут оказаться идентичными и совмещаться при наложении – при сдвиге на очень большое расстояние и повороте на очень тупой угол.

– Так! Наверное, так.

– А теперь скажи: почему у каждого из нас есть свой тип – брюнетки с короткими волосами, к примеру?

– ...ограммы. Наши личные ...ограммы...

– Плохо слышно. Куда ты пропала?

– Я *сходила* в душ...

– Синхронизировалась? Вода – побратим *Времени*!

– ...и поняла: какие-то узловые точки, красота, например, неподвластны *времени*. Иначе мы не вытащим себя из твоего *Времени*. Как Мюнхаузен...

— Это моменты, когда Бог забывает о *времени*, свободные от его ревности-любви ко *Времени*.

– ... хотя я убеждена, что время принадлежит Богу.

– Ну, место в раю тебе обеспечено!

.....

И тогда я спросил Даниэля: «Что такое страх?»

.....

Я коротенько изложил ему концепцию, и он ушел на кухню. Там он несколько раз поел, прерываясь на размышления, потом вернулся и рассказал.

«Сознание – это способность чувствовать рассогласование со *Временем*, а страх – продукт его деятельности», – сказал Даниэль, подводя итог длительного усиленного питания. – «Мы должны отличать страх от инстинкта самосохранения. Страх – это, чаще всего, просто боязнь чего-то в отсутствии реальной угрозы. Нежелание не последствий какого-то действия (картины его последствий), но самого начала действия, причем действия, осуществимого только с тобой».

(Тут мы быстренько ввели понятие состояния и смены состояний. *Время* – пучок нитей, поток струй и т.д. Нить, струя и процесс синхронизации с ней – состояние. Смена состояния – смена струи или нити.)

«Нежелание изменить состояние, выйти за пределы гармонии твоего мирка порождает страх. Страх – это предчувствие возможности изменить состояние. Ощущение предела состояния, границы, тонкости границы. Можно сказать, что страх – обочина дороги, по которой ты едешь. Обочина защищает не только тебя от поля, по которому проходит дорога, но и само поле от вас: от дороги и от тебя заодно. Обоюдная защитная реакция, вот».

Согласно Даниэлю, мой страх оказывался пограничной нейтральной полосой между моим состоянием и незамеченной зоной.

Появились вопросы.

– Откуда берется разметка?

– Запрещает ли *Время* смену состояний?

– Каков механизм отмены/переноса границы? Как исчезает страх?

Появились ответы.

– Она возникает вместе с тобой, как след твоего дыхания на зеркальце.

– Это вроде границы в Техасе – прорвался, значит всё! Средневековый город, чей воздух «делал тебя свободным».

– Есть моменты видения – устанавливающие и отменяющие. В тумане разделительная линия кажется разметкой обочины. Когда туман исчезает, ты видишь еще один ряд – справа от себя. И тебя больше не беспокоит, что дорога может сузиться за счет него.

Я согласился. Я вспомнил, как в детстве боялся паровоза – оттого, что, минуя станцию, он свистел и пускал черный дым. Но стоило мне увидеть его с такого расстояния, что свист показался тихим, а дым – белым, я успокоился. Средство для борьбы с фобиями: увидеть разметку при другом освещении, в другом климате; в стае, в группе. Увидеть – и не испугаться!

Появились ответы на незаданные вопросы.

(...«В Москву, в Москву!» – жажда смены состояния. «Вишневый сад» : приграничный район, страх Раневской и Лопахина. Нерв чеховских пьес – ожидаемые перемены имеют одинаковые приметы с нежеланными: бегут мурашки, сосет под ложечкой.

...Соединение Времен в единое советское Время сдвигает страх на обочину этого времени. Личный, атомарный страх изгоняется из репертуара эмоций, замещаясь коллективными фобиями и действиями по их преодолению.

...Кислородное, то бишь, временное отравление «шестидесятников», хмуро и бессильно пытающихся разрушить породивший их ад – вместо того, чтобы созидать новую жизнь во вдруг обретенном раю, куда хлынули все имперские запасы Времени.

...Страх, страх, страх. «Гормоны счастья» – еда, секс, алкоголь, наркотик. Слава, успех, власть. Передвижение по накатанной трассе на такой скорости, что обочина растворяется, исчезает – а вместе с ней и немаркированная территория.)

4. В тишине, по горячим следам

«Текст соткан утком слова по основе молчания» (В. Библихин) – есть у меня и такая цитата из крупного советского ученого.

Я бы уточнил. Текст не бесконечен, а основа и уток бесконечны. Текст ложится на молчание, как мазок кисти на холст, карандаш на бумагу. Текст вышит ниткой слова по канве молчания. Выбор пялец – в воле говорящего, так же, как и выбор между молчанием и речью. Тогда молчание становится срезом тишины (белизна бумаги – срез белого всего мира). Наверное, тишина – это светá безмолвия, утопающего в тенях. Светá пустоты – подобно белизне, рисующей в черном пространстве. Оттого бывает напряженная тишина, пугливая тишина. Молчание, будучи вырезано из тишины, может терять свою первозданную чистоту, «портиться» – так желтеет бумага...

А). Первое приближение к временной гипотезе.

Рассогласование и выход из него напоминают определенные элементы вождения автомобиля с механической коробкой передач. Случается, что ситуация на дороге предполагает некое развитие в обе стороны – как с понижением, так и с повышением скорости (и, соответственно, передачи). Тогда мы на краткий миг (краткость его зависит от мастерства водителя) включаем нейтраль (если покрытие сухо и нет необходимости форсировать передачу) и как бы «выкатыва-

емся» из рассогласования, пока дорога сама не подскажет нам нужную скорость. Назовем такую нашу потребность в нейтральной передаче моментом колебания или поиска. Второй вариант, «накат» или «докатывание», имеет место при полной уверенности в дороге и в себе, когда на затыжном, пологом и прямом спуске мы, экономя топливо, переходим на холостые обороты – либо при сбросе скорости перед самым торможением. Здесь мы осознанно отдаем себя и машину во власть дороги, ничего не требуя и не ожидая от нее. Назовем этот момент единением или обретением.

В). Второе приближение – к ней же.

Согласно нежной формулировке Майры Асаре, – тишина существует также и для того, чтобы продолжилось сказанное. То, что не в силах выдержать паузу, должно умолкнуть. Перейти в безмолвие, в пустоту. Мы прибегаем к тишине, когда не знаем, что сказать, и надеемся подслушать какое-то указание, чей-то шепот, который принесет новое направление нашим мыслям (и новые слова тоже) – или же тогда, когда все уже сказано. Мы надеемся на тишину в миг наивысшего рассогласования и нуждаемся в ней сразу по выходе (еще при выходе) из него.

Можно сказать, что тишина – это стыковочный модуль, шлюз между нами и *Временем*. Это наша нейтральная передача («Именно положение сознания как какого-то универсального метаобъекта делает сомнительным обращение к аналогиям, ибо всякая аналогия, чтобы быть корректной, должна производиться или на том же уровне, что и аналогизируемый факт, или, по крайней мере, на уровне близком к нему», – считали М. Мамардашвили с А. Пятигорским, ну так что ж: *Время*, конечно, универсальный метаобъект, но одна из его функций, кажется, и заключается именно в вытягивании прочих объектов и субъектов аналогий на свой уровень, хотя бы временно), когда *Время* – магистраль.

С). Третье и последнее.

«Говоря об ‘истории’, я хочу подчеркнуть, что она, как сложная идея, ни в коем случае не может редуцироваться ни к квазинатуралистической концепции времени современной науки, ни ко времени взятому в его мифологическом аспекте» (те же люди).

Тезис о невозможности соединения технического знания с гуманитарным (основная проблема Фоменко). Во время оно я поторопился «принять» А. Т. Фоменко из технических соображений, однако теперь, когда его результаты подробно рассмотрены и раскритикованы технарями, я поддерживаю его из гуманитарных. Б. Равдин: гуманитарное сиюминутно, техническое – на века. То есть, техническое знание – это абсолютная, по определенным правилам (преемственность, соответствие и т.п.) вычленимая составляющая знания; гуманитарное – релятивно и может, в принципе, отменять весь предшествующий объем знаний. Разные позиции по отношению ко времени, отсюда – невозможность даже минимального их синтеза.

Но что, если?

Первый след.

«На свете одно занятие реально *реально* – охота. Актей, Аталанта, Гончие псы, апостолы Петр и Павел, король Стах, поручик Вронский, Эрнест Хемингуэй, Наль и Дамаянти, лебедь, рак и щука только и делают, что высле-

живают, подкрадываются, преследуют и убегают. Охотятся на небе и на земле: Фобос за Аресом, Дон Гуан за женщинами, Гамлет за призраком, нумизмат – за монетами несуществующих царств.

В действе участвуют трое: охотник, собака и жертва.

Лучше всего быть собакой».

Второй след.

«Герой – это то всё, живое и неживое, с чем мы оказываемся в диалоге, вступив в контакт с текстом».

Третий след.

«Назовем поле, посредством которого автор удерживает героев на их орбитах, языком – в широком смысле».

В рамках нашего расследования мы знаем, что тексты меняют свой смысл и ценность – в зависимости от того, что в них со временем дополнительно вкладывают боги (Бог) и люди. И, соответственно, забирают. Наши тексты – как файлообменные серверы. С их помощью мы делаем контакт (как делают любовь, make love) с Богом. И, хотя иногда нам кажется, что мы вступаем с Ним (с ними) в непосредственное соприкосновение, наш контакт все-таки опосредован. По крайней мере, Его реакция имеет наблюдаемую, а порой и ярко выраженную задержку. Такие отношения, если немного подумать, напомнят нам общение автора с героем в предыдущей серии. Или (только не будем спешить!) – охотника с увлеченной преследованием дичи собакой.

Далее, мы установили, что тишина – это переходный модуль между нами и *Временем*. Тишина гарантирует нам достаточно прямые отношения, мы можем погружаться во *Время*, плыть по нему, тонуть в нем. Итак!

Бог = охотник = автор.

Мы = собака = герой.

Время = дичь = читатель.

Наши тексты – это язык, с помощью которого Бог общается с ними.

Мы – герои текста, адресованного Богом *Времени*.

Поскольку текст и герой в определенном смысле синонимичны, мы – это текст, который Бог пишет *Времени*.

Тишина – это моменты, в которые *Время* читает нас.

4. Bingo!

В заключение – «Святое семейство», картина маслом.

Время, разумеется, не оно – Она, госпожа *Время*. Мы – дети Бога и *Времени*. Имеет место любовный треугольник (не классический, но релятивистский!). Третья вершина – сами знаете, кто... Бог беспрестанно овладевает *Временем*, и *Время* рождает ему детей – смертных, увы – и, как у всякой матери, переживающей своих детей, характер *Времени* со временем портится... Мы же болтаемся на своих пуговинах, подобно «йо-йо», пока не сорвемся, вернее, не вырвемся из наших маленьких жизней в большую смерть – обратно во *Время*.

(Теперь пойдем, по-фоменковски, вразнос. Я уверен, что Юрий Долгорукий – это Чингисхан, и что ему самое место напротив московской мэрии. Поехали! Человек, в отличие от Бога, может и должен делать выбор (Бог дал нам талант к рассогласованию). К чему Богу беспрерывно требовать от нас веры – пред лицом *Времени*? Не дьявола же он боится... Очевидно, надеется на Страшный Суд, как на преобразование *Времени*? И Credo – это вера Бога, а не вера в Бога?)

Когда я сообщил название предполагаемой статьи – «Жизнь как попытка синхронизации» – Борису Равдину, он спросил, не кажется ли мне слово *жизнь* «излишне обценным»? Я, как всегда, согласился...

«Круглый стол»

ПОЭЗИЯ ЖИВА

Беседу ведет Наталья Морозова

Участуют (в порядке вступления в беседу): Ирина Цыгальская – писатель, переводчик; Наталья Морозова – журналист-обозреватель; Владимир Соколов – политолог; Анатолий Ракитянский – библиограф, библиофил, член Правления Латвийского общества русской культуры; Инта Чакла – литературный критик; Гарри Гайлит – литературный и театральный критик; Владлен Дозорцев – поэт, прозаик, драматург; Сергей Пичугин – поэт, прозаик; Борис Равдин – историк культуры, член Правления Латвийского общества русской культуры; Сергей Морейно – поэт, прозаик, переводчик; Игорь Трохачевский – поэт, прозаик; Карлис Вердиньш – поэт, переводчик, литературный критик, доктор филологии.

И. Ц.: Несколько слов для вступления. Первое. Ритм культуры, понимаемой как творческое, духовно-душевное постижение Вселенной, а не в значении цивилизации, – все сильнее не совпадает с ритмами общественного, социального, политического переустройства, исторических катаклизмов. Возникают разрывы. Позволю себе процитировать строки крупнейшего латышского поэта второй половины 20-го века Ояра Вацетиса: «Но еще чаще / я в этот лес хожу один / узлы завязывать – / дураки мое приёมство порвали, / я жизнью червя живу, на куски разрубленного».

Второе. В одной из передач российского телевидения в конце прошлого года, когда спровоцированные фанатами футбола, в Москве, Петербурге и других городах России произошли кровавые столкновения и убийства на почве национальной вражды, прозвучали такие слова: «*Прохохотали страну*». Мне иногда кажется, что и мы *прохохотали* страну, свою Латвию. В данном контексте имею в виду присутствующую в литературе 90-х, начала 2000-х годов тотальную иронию, которая насковзь стала пронизывать значительную часть как латышской, так и русской поэзии. Любое средство художественной изобразительности может повредить поэтике произведения, но может и украсить, усилить ее воздействие на читающую публику. Ирония, если она не пронизывает целиком весь текст, может быть то веселой, то грустной, легкой или тяжелой, переходящей в сарказм. Тяжелая ирония и сарказм, кажется, должны бы, как и в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века, занять, уже занимают свое место в новой поэзии. Потому что это один из способов приближения ее к «поэзии действительности» – так обозначает самое высокое требование к стихам наш современник, писатель Евгений Абдуллаев.

Н. М.: Была и есть ли в Латвии сегодня у разных литературных течений своя «трибуна» (журналы, альманахи и проч.), через которую они могли бы заявить о себе? А также возможность издания своих книг?

В. С.: В газетах стихи теперь не публикуют, на поэтических вечерах известные люди не появляются, поэтому нет ощущения, что это важный для общества процесс, в том числе, культурный. Когда общество «Гражданство. Образование. Культура», которое я возглавляю, в 2007 году организовало литературный конкурс среди пишущей на русском языке молодежи до 35 лет, для меня было просто открытием, что пишущих-то очень много! Но тут наблюдается погружение поэтов в себя, когда стихи превращаются в собственную психотерапию. Это, может быть, очень интересно – но не для «внешнего контура».

И. Ц.: Говорить о наличии «своей трибуны», о возможности заявить о себе в последние примерно 20 лет, – а именно об этом периоде пойдет речь в нашей дискуссии, – можно лишь с большой натяжкой. В

самое последнее время, когда не выходит (с 2008 г.) «Даугава» (единственный литературный журнал на русском языке), когда к середине февраля 2011 года еще не вышло ни одного номера единственного «толстого» литературного журнала «Kaņoga» и мало надежды на его дальнейшее присутствие в периодике, когда перестала существовать еженедельная газета «Kultūras Forums», худо-бедно все же уделявшая внимание и литературному процессу, — на этот вопрос можно ответить однозначно: «трибуны» нет. Латвийский Фонд капитала культуры обеспечивает частичной поддержкой примерно треть или даже четвертую часть проектов. Среди не получивших помощи остается немало талантливых известных писателей — как молодых, так и среднего и старшего поколения. К тому же далеко не все пишущие обращаются в этот фонд. Я не располагаю информацией, сколько писателей и поэтов не подают заявок в ФКК. И по каким причинам.

Н. М.: Начнем наш разговор с латышской поэзии. Сохраняется ли в ней преемственность? Остается ли поиск единого мирового смысла?

А. Р.: Листая сегодня новые сборники латышской поэзии, я не вижу поиска. Из прочитанных авторов заинтересовали Петерис Бруверис, Аманда Айзпуриете...

И. Ч.: Первое, что я с удивлением для себя констатировала, это что еще никогда в истории Латвии не было издано столько поэзии, как в 1990-х и в первом десятилетии нынешнего века. Например, в 2007 году вышло 118 поэтических книг (не только новые сборники, но и повторные издания, детская, разного рода прикладная поэзия). Значит, поэзия все еще воспринимается как необходимое и даже престижное средство самовыражения. Что касается качества, здесь наблюдается огромное разнообразие, от очень примитивного любительства до очень серьезной профессиональной поэзии. Стихи издаются, эти издания покупаются, то есть, поэзию все еще читают. Хотя, конечно, количество читателей сильно сократилось.

Что касается тенденций, разброс настолько широк, что всего я не в состоянии ни заметить, ни назвать. Но ясно, что после 2000-го, если сравнить с 90-ми, поэзия снова обращается к читателю. До этого был период, когда поэты замкнулись на самих себе, своей среде. Их не интересовала публика, а публику не интересовали поэзия и поэты. Но, по-моему, ситуация понемногу меняется.

В начале и середине 90-х у поколения, которое вошло тогда в поэзию, было заметное желание откеститься от предшествовавшей им поэзии советских времен, доказать свою инакость. По-моему, эти установки сегодня тоже не столь уже невротические и в творчестве поэтов нового поколения снова чувствуется связь с литературной традицией.

Есть еще одна существенная тенденция. Уже в поэзии Петериса Брувериса в конце 90-х появился интерес к «маленькому человеку», отброшенному на задворки цивилизации потребления. В некоторых самых новых сборниках есть эта эмпатия, сочувствие, интерес к человеческим судьбам и чувствам. Другая заметная тенденция — это присутствие некой метафизики. Скажем, в новых сборниках Эвина Раупса, Лианы Ланги, Майры Асаре. Но что касается последнего десятилетия, то человеческое, поэтическое, авторское «я» больше не является чем-то само собой разумеющимся, оно как бы растворяется в окружающей среде. И мне кажется, это одна из главных проблем современной латышской поэзии.

Г. Г.: Сколько я знаю, сейчас латышская литература не интересна подавляющему большинству русской читающей публики. Объясню почему: по-моему, за последние двадцать лет общественное сознание определенной части латышей под влиянием национальных настроений шагнуло не вперед, а наоборот — отступило далеко назад.

Сегодня книг на латышском языке издается неизмеримо больше, чем, скажем, в годы советского застоя. Однако, сами латыши жалуются, что от этого уровень латышской литературы не возрос.

В. Д.: Для меня теперешняя латышская поэзия существует в двух поколениях. Это поэты старшего поколения, которые продолжают работать достаточно продуктивно и очень интересны каждый сам

по себе. Лично я с удовольствием читаю Яниса Рокпелниса, Улдиса Берзиньша, Леона Бриедиса... Это поколение устоялось в латышской литературе. И думаю, пройдет много времени, а они так и останутся классиками своего периода.

Следующая волна — ныне, увы, покойный Юрис Куннос, Петерис Бруверис, Гунтар Годиньш, Аманда Айзпуриете, Эдвин Раулс. Довольно продуктивное поэтическое поколение, несомненно, влияющее на русских поэтов, которые живут и работают здесь.

С. П.: Я знаю латышскую поэзию в основном по переводам. Некоторых поэтов — таких, как Янис Рокпелнис, Юрис Куннос, Аманда Айзпуриете, Лиана Ланга. Из молодых — Мартса Пуятса. Судя по ним, современная латышская поэзия все чаще стремится к прямому высказыванию. И к верлибру.

Н. М.: Если оглянуться на последнее двадцатилетие российской поэзии, в ней возникало, существовало и пересекалось множество течений и направлений. Творили концептуалисты и постконцептуалисты, метареалисты и конкретисты, постмодернисты, постакмеисты и постфутуристы... Какие заметные течения можно выделить в латвийской поэзии того же периода? Какие процессы происходили внутри этих течений, как менялись проблематика, язык и стиль, отношение к слову и образу, к самому понятию поэзии? Если бы вам пришлось составлять антологию современной латышской или русской поэзии Латвии — какие самые значительные, на ваш взгляд, имена вы бы включили в нее обязательно?

Г. Г.: Что касается русских поэтов, то им у нас негде печататься. Стихи для русских СМИ в Латвии — давно уже не формат. Литература (и поэзия особенно) заставляет человека чувствовать и думать, иметь собственное мнение. Но как раз частное мнение, субъективный взгляд на мир и любое фило-софствование в нашей повседневной печати не приветствуются. А коли печатать свои стихи поэтам негде, то и критика в их адрес тоже отсутствует. И уже одно это влечет за собой невзыскательность и нетребовательность к тому, что делаешь.

Есть и другая сторона проблемы. Поэт всегда растет духовно вместе со своей аудиторией. Стихи сегодня публикой не востребованы. Наши поэты, мне кажется, не только не растут, но и не испытывают больше потребности в читателях. Минувшей осенью в Балтийской академии состоялась встреча с нашими местными и приехавшими из Литвы и Эстонии русскими поэтами. И небольшая аудитория не была заполнена даже на половину, пишущие стихи читали их — пишущим стихи. Студенты сновали мимо, ни один не заглянул даже просто из любопытства.

Но, может быть, сами поэты не способны или не хотят быть услышаны публикой? Может быть, им нечего публике сказать? Правда, с русской поэзией в Латвии не происходит ничего такого, чего бы с ней не происходило во всем русском мире. Мне кажется, что пишущие стихи стали в основном типичной замкнутой на себе субкультурой.

Я думаю, такое положение долго продолжаться не должно. И, скорее всего, кончится тем, что самостийные и самоиздающиеся поэты, точно так же, как это происходит сейчас с сетевыми поэтами, будут переведены в какой-нибудь специальный статус самодеятельных сочинителей-любителей. Пусть поэзия осознает свое предназначение, тогда поэт снова станет больше, чем поэт. Потому что любой профессионал становится настоящим мастером, только почувствовав, что он больше, чем обычный профессионал.

Диалог между латышской и русской поэзией, на мой взгляд, если и существует сегодня, то исключительно частного характера, на уровне переводческого ремесла и личных контактов. В остальном же пути русской и латышской поэзии слишком разные.

Если говорить о поисках единого мирового смысла... Сейчас мы все оказались заложниками культурного кризиса. Постмодернизм, как мне кажется, приучал второстепенное и посредственное принимать за главное и настоящее. Иной раз создается впечатление, что на борту остались посред-

ственности, не способные создать хоть что-нибудь, что отвечало бы высшим смыслом человеческой деятельности. На поэзии это сказалось настолько сильно, что нам стало трудно отличить хорошее от плохого, поэтому и считается, что сегодня все приемлемо. И что главное — не думать ни о каких «мировых смыслах», довольствоваться малым, средним, усредненным. Это нам усиленно вдалбливают все средства массовой информации. Оглушенный рекламой человек глух к стихам.

В. Д.: Я говорил о влиянии продуктивного поэтического поколения латышских поэтов на русскую поэзию Латвии. Это такое чрезмерное влияние — верлибра, усугубленной внутренней поэтической речи, — что иногда не понимаешь, где перевод, а где стихи самого сделавшего этот перевод поэта...

Конец 80-х — начало 90-х годов прошлого века мне всегда казались таким маленьким Ренессансом латышской поэзии, более-менее связанным с социализацией поэтических представлений. Этот романтический период открытого высказывания времени Песенной революции и первых лет после нее прошел довольно быстро. Латышская поэзия вернулась к эстетической углубленности, к поискам новых форм.

Я бы мог показать, скажем, на примере Сергея Морейно (к которому отношусь с большим уважением), как влияют на его собственные поэтические тексты те, кого он переводит. Мне, честно говоря, трудно отличить. Сам я пытаюсь этому явлению противостоять, поскольку для меня верлибр — лишь материал для дальнейшей поэтической работы. Эта традиция, которая давно усвоена литературами Прибалтики, а частично и русской литературой, всегда была характерна для нашей территории и до сих пор продуктивна. И еще: по-моему, часть сегодняшней латышской поэзии начинает поиск современных реалий. Я вижу в этом возврат к чаковской традиции, очень живой, для меня во всяком случае.

Б. Р.: По поводу переводов и Морейно. Мне кажется, напротив: поэты, которых переводит М.(Н.), каким-то опорным крапом схожи с переводчиком. Хорошо ли это? Возьмем фотоаппарат, вырежем нашим глазом кусок пространства, нажмем затвор. Что отразится на эмульсионном слое? В первую очередь, наше, собственное, представление о пространстве, наша оптика, а уж затем, если случится чудо, — и пространство как объективная реальность. И потом, известно, что поэт и переводчик долгое время «должны спать в одной постели»; хорошо, если повезло, но даже присутствие Эроса или Аполлона, как известно, не дает гарантий полноценного поэтического соития.

Переводы русской поэзии на латышский? Не замечал таких изданий, если говорить о поэзии российской, сегодняшней. В последние годы не редки поэтические сборники с параллельными текстами на русском и латышском языках. Такие переплеты для Латвии стали уже почти традицией. Авторы — рижане или поэтические насельники ближайших окрестностей. Но вот надолго ли эта традиция? Не превратится ли она в парадную, выставочную, грантовую? Или традицию для внутреннего круга? А пусть и так! Свободу дыханию слова! Вы скажете — дыхание Чейн-Стокса! Допустим, но не только же Чейн-Стокса!

Так называемые «хранители языка» утверждают, что русские поэты в Латвии глохнут, что то и дело под видом русского языка в русскую поэзию Латвии проникают обороты и кальки с латышского. По-моему, нет оснований опасаться тихой агрессии латышского языка на поле русского. А если и опасаться, то поэтические ворота тут не при чем. Ищите другие ворота, ищите другие мотивы для обвинений.

С. М.: Несколько слов о «новых течениях». Представим развитие изящной словесности в виде лестницы с широкими, но невысокими ступенями. Нормальный хороший шаг, затем небольшой прыжок, снова шаг, прыжок... По всей видимости, так называемый «постмодернизм» на самом деле является классическим способом продвижения по плоскости, приподнятой над предыдущей ступенью скачком «авангарда». По крайней мере, лесенка эры книгопечатания рисуется в три приема: щемящий авангард Ренессанса сменяется устойчивым постмодерном барокко, романтизм разрешается в

«постэллинизм», импрессионизм — в двадцатый век. Как сказал бы Паперный в своей знаменитой «Культуре два», это такая бинарная оппозиция. . .

В силу определенных особенностей русского пространства-времени, отрицающего преемственность, Россия — вечный авангард. И «золотой век» русской литературы тоже не сумел расположиться на надежной ступени. Постоянный зуд хождения «пред людьми», вызванный в большей степени отсутствием социального воспитания, нежели внутренним подвигом, оказался горой, родившей много мышей, но не сподобившейся явления Магомета. Лучшие образцы «золотого века» — Пушкин, Достоевский — настояны на теченьях и веяньях Запада. . .

Мне кажется, что у нас термин *постмодерн* означает просто некоторую группу людей, которые, не вполне владея ремеслом, прятались за -измами: концептуализмом, постмодернизмом. . . Некоторые все же расписались в почти классиков, Д. А. Пригов, например, тем самым выведя себя самое из рамок постмодерна.

И. Т.: В поэзии, на этой сакральной территории нет места флагам, границам и прочим рукотворным меткам. И для латышской, и для русской и мировой поэзии характерен процесс неуевдания и волшебной выживаемости. На зримом и грубом уровне вообще, возможно, ничего не происходит и не произрастает. Но как известно, поэзия — в великих мелочах. Поэты — проводники, и кто там сверху им диктует свою великую песню, неведомо. А вот без поиска смысла нет искусства. В серых и мутных буднях, похмельных праздниках смысла нет никакого. Только Поэзия придает всему происходящему смысл и подлинный праздник. Духовная механика человека дает ему возможность радовать себя и других постоянными открытиями. И тут уже неважны никакие «-измы», течения и направления.

С. П.: С верлибром тоже не все так просто. Он присущ не только поэтам Прибалтики, Западной Европы. По моим наблюдениям, и на некоторых поэтических сайтах, и на литературных вечерах, скажем, в Москве поэты сегодня тоже «говорят верлибром». Не берусь утверждать, что верлибр — это недоделанная просодия. Это вообще другая форма, сложная, со своими законами, которым нужно следовать, чтобы верлибр не превращался в *прозу в столбик*.

Вообще, хороших русских поэтов в Латвии не стало меньше, и поэтические традиции здесь не прерывались. Они были и до Мировой войны, и продолжились после нее, с приходом таких поэтов, как Илья Дроздов, Людмила Азарова, Леонид Черевичник, Лариса Романенко, Вера Панченко, Ольга Николаева, Владлен Дозорцев. Чуть позже пришли Николай Гуданец, Савва Варяжцев, Олег Золотов, Алексей Ивлев и другие. Качественный перелом наступил в конце 80-х, когда были сняты идеологические запреты, стали возможны публикации и публичные выступления поэтов, до того печатавшихся и выступавших как бы нелегально.

Если говорить о последних годах, то русских поэтов Латвии можно условно разнести на два основных «полюса». Постмодернизм, авангардное, иронично-игровое направление, по сути, продолжающее традицию обэриутов. Эти поэты преимущественно используют верлибры или работают на грани поэзии и прозы, дополняют слово видеорядом, музыкой, сценическим действием, как это делает объединение «Орбита» — Сергей Тимофеев, Семен Ханин, Жорж Уаллик, Артур Пунте и другие. Другой полюс — традиция. Это авторы, которые работают в основном с традиционной просодией и образным строем традиционной русской лирики — Людмила Азарова (которая пишет в основном верлибрами, но традиционными), Николай Гуданец, Владлен Дозорцев, Юрий Касянич, Милена Макарова, Вера Панченко и др. Разумеется, такое разделение достаточно условно, и между этими полюсами лежит обширный пласт, — стихи таких авторов, как например, Олег Золотов, Алексей Ивлев, Сергей Морейно, Инара Озерская и других, которые прекрасно сочетают как традиционную просодию, так и свободные формы.

Для диалога латышских и русских поэтов должен быть взаимный интерес, регулярное системное общение, которых уже нет на протяжении более 20 лет. Есть отдельные перевод-

ческие проекты. Латышские поэты знают о русской поэзии Латвии по выступлениям и публикациям «Орбиты» — авангардного проекта, авторы стилистически удивительно похожи на них, — и практически ничего о стихах тех поэтов, которые тяготеют к традиции.

Все-таки «поколению 2000» гораздо легче наладить диалог, оно свободно от груза воспоминаний и идеологических клише. Новое вино не наливает в старые меха. Однако и латышской, и русской творческой интеллигенцией, мне кажется, утрачены иллюзии относительно того, насколько демократия западного образца кровно заинтересована в развитии национальных культур и сохранении национальной идентичности. Есть еще и память о том, что 20 лет назад существовала сильная переводческая школа, с выходом на широкую восточную аудиторию. Поэтому перспективы диалога есть.

В. Д.: Думаю, в латышской поэзии происходят те же процессы, что и в любой национальной поэзии в эти годы. А то, что надо находить доброжелателей, которые дадут деньги, когда надо выпустить книжку за свой счет, — это нормально для поэзии как элитного, «не обязательного в жизни, занятия увлеченных людей». Другое дело, что меня смущает внутренний монотон, который существует, как мне кажется, в части латышской поэзии. Но он сейчас и в русской такой же. Социализация, приметы времени вообще очень тяжело даются настоящей поэзии.

С. М.: Разница между латышами и русскими в данной ситуации та, что русские живут в «эпицентре» латышского языка, а латыши — теперь, по прекращении обусловленного социализмом информационного метаболизма — на окраине русской речи. Но дело не в этом. Русский язык принадлежит народу неупорядоченному и анархическому, абсолютно «без царя в голове», и чем дальше, тем хуже. А вот поди ж ты — остается при этом точнейшим инструментом литературного созидания. Что означает, по видимому, следующее: лабильная составляющая русского языка, складывающаяся из быстроменяющихся уличных интонаций, профессионального сленга, лексики сетевого общения, ведущегося, сказал бы Мандельштам, «на языке трамвайных перебранок, / В котором нет ни смысла, ни аза: 'такой-сякой'», играет в современном русском едва ли определяющую роль — противу той, что отведена составляющей стабильной.

Тем самым все языковое здание лежит на двух равноправных осях — стало быть, надежно и устойчиво, однако — вот незадача — вращается вокруг одной из них с довольно хорошей скоростью, и, стоит даже носителю языка на время выпасть из его орбиты, как наступает необратимая рассинхронизация: спустя всего лишь несколько лет его собственный русский приходит в служебное несоответствие с «великим и могучим» — коммуницировать с его помощью легко, а вот создавать тонкие и сложные вещи — все сложнее (сравнить, например, «Компромисс» и «Заповедник» Сергея Довлатова с его же «Чемоданом»). Потому-то многие из тех, кто активно пишет здесь по-русски, стараются форсировать свои контакты с Россией, с языковой метрополией.

Чего же ждать от пускай и неординарного западного — в нашем случае — латышского переводчика (в большинстве случаев даже не слависта)? В изданной «Орбитой» замечательной по дизайну антологии «Sovremennaja russkaja poezija Latvii» значительная часть переводов имеет весьма опосредованное отношение к оригиналу. Это как бы специально подчеркивает непереводаемость местной русской поэзии. Я говорю не о переводческих ошибках — «ляпах», их полным-полно было и будет у любого переводчика, но о тотальном непонимании, о нетренированности слуха, о неумении правильно определить интонацию и, как следствие, о невозможности оценить текст целиком.

Из переводчиков с безусловным чутьем русского стиха я мог бы назвать Мариса Салейса и Майру Асаре...

Н. М.: Что касается диалога между русской и латышской поэзией в новейшие времена. Не кажется ли вам, что латыши забывают или уже забыли русский язык и, когда пытаются анализировать русскую поэзию, часто даже не понимают, о чем пишут?

К. В.: Я еще изучал русский в школе и перевожу русских поэтов на латышский, но более молодые

действительно русского зачастую уже не знают. Хотя в 1990-е у нас с русского на латышский переводили мало просто потому, что все могли читать русских поэтов в оригинале. Я люблю русскую поэзию. И вместе с другими поэтами перевел Иосифа Бродского, хочу перевести Льва Рубинштейна и, наверное, других авторов тоже. Хотел сделать книжку Олега Золотова, но его стала переводить Майра Асаре... Помнится, участники группы «Орбита» говорили, что их публика, в основном, — латыши, а не русские Латвии. Это странно. Такое ощущение, что местные русские не представляют, чтобы что-то новое и хорошее могло бы создаваться и здесь.

Но вообще я не понимаю, о чем у нас тут сегодня спор, и чувствую себя в каком-то другом мире, где люди спорят о верлибре. Мое поколение никогда не спорит о верлибре — сто лет уже многие пишут верлибром. По-моему, просто у русских инерция классической традиции более сильна. Правда, мне кажется, что латышские поэты тоже консервативны и если что-то меняют, то совсем чуть-чуть. В 90-е мы все думали о постмодернизме, о тексте, говорили, что писать надо исключительно в стиле постмодерна, иначе нельзя. Теперь никто так не думает. Интересно пишут Инга Гайле, Анна Аузиня, Эдвин Раупс, Артис Оступс, Арвис Вигулс... Что касается новых течений, то одна из тенденций состоит в том, что во времена Интернета каждый пишет в своем блоге, сколько хочет, и к сожалению, происходит девальвация поэтического слова. Больше никто не хочет писать коротких стихов, все создают бесконечные полотна, где наполненность отдельного слова минимальна. И в стихах, и в газетах, и в блогах один и тот же язык, человек больше не осознает ценности слова, ни в поэзии, ни в жизни. Останутся в поэзии лишь те, кто выплывает из этого словесного потопа. И те молодые поэты, которые оглядываются в прошлое, находя в модернизме либо в других эпохах то, что им ближе, и используют по собственному усмотрению. Думается, это гораздо более жизнеспособная тенденция, нежели отрицание всего и вся и убежденность в том, что ты первый, и пишешь так, как еще никто до тебя не писал.

С. П.: Если предположим такую модель, что один полюс есть традиция, другой — авангард, или модерн, то в Латвии представлен весь спектр. Вообще говоря, ни одно направление не устаревает со временем, оно продолжает каким-то образом развиваться. А Прибалтика — это такой интересный регион, где Запад встречается с Востоком, и эти две традиции хорошо друг друга дополняют. Собственно говоря, эта разность потенциалов и образует некое культурное напряжение, в котором развиваются и поэзия, и интерес читателей к ней.

Что касается литературного процесса как такового, в русской поэзии Латвии он практически отсутствует. Поскольку нет полного круга: поэт — издание стихов — критика — читатель — взаимовлияние. Поэзия и сто лет назад была явлением, к которому прикасались только те, кого это интересовало. Широкий же массам поэзия обычно была неинтересна.

Меня как поэта отсутствие массового интереса не волнует вообще. У каждого поэта есть свой читатель, причем путь друг к другу они должны проходить обоюдно. А именно — читатель должен быть, в определенной мере, искушен, подготовлен к восприятию образной системы поэта. Есть поэты, простые для восприятия, есть очень сложные. Стихи подобны камертону, на который отзывается «созвучный» им читатель.

И вообще, простота понимания поэзии — это кажимость. Даже Пушкина, при всей его «простоте», все понимают по-разному. Мало кто сознает, что, собственно, такое — поэзия, путают ее с красотами и банальностями.

Вот сейчас только на сайте *stihi.ru* более 300 тысяч поэтов, 11 миллионов произведений. Плюс другие сайты, хотя и не такие многочисленные. Но где ставить планку качества? Если высоко (а низко — просто не имеет смысла) — то 99,9 процента к поэзии вообще не имеет никакого отношения. Одна десятая процента, может быть, отвечает некоему среднему уровню версификации и пригодна к

публикации. Возможно, 100 имен могут претендовать на то, чтобы их имя осталось в литературе. И, может быть, несколько имен в ней останутся.

Литературный процесс — одна тема, происходящее в поэзии — несколько другая. В Латвии не стало меньше хороших поэтов. Но то, что современная русская поэзия не тиражируется или печатается маленькими тиражами — не ее вина. Можно опубликоваться в интернете, можно сохранить стихи другим образом. Вот исполнилось 120 лет со дня рождения Осипа Мандельштама. И сейчас нам безразлично, какими тиражами издавались его книги при его жизни. Важно, что стихи поэта для нас сохранились, и их можно прочесть.

Б. Р.: И все же это время трудновато для пера. Например, вечера поэзии (живая поэзия?) постепенно превращающиеся в поэтические утренники. Кончился утренник, читатель/слушатель вышел на улицу, а там солнце всюду светит, никаких примет ночного пути к откровению. И даже надежд на откровение не было ни на фартинг. Это в русской аудитории. В латышской, чудится, чуть иначе — приходят с надеждой услышать, уходят — на лице сожаление — надежда не сбылась...

...Сегодня очевидный перебор хороших и разных поэтов. Искусство поэзии, и не только версификации, почти сравнялось с вершинами пирамид. Выбор крайне затруднен. Разве что жребий пускать.

К тому же читатель на исходе. Не считать же читателем родных и друзей кролика. Традиционный тип российского книгочех вымер или вот-вот отомрет. Но это еще не беда, хуже, что этот читатель — глохнет, слепнет и не способен строчку узнать ни спереди, ни сзади, ни на вкус, ни на цвет, ни на ошупь, но все еще держит себя за арбитра изящного и навязывает свои устойчивые просветительские вкусы окружающим.

Известно, что поэзия не дает ответов. Поэзия зевает, как может — репродуцирует эмоциональную стихию, задает вопросы. В чем очевидный разлад поэзии с сегодняшним читателем? Тот требует конкретного ответа — или вообще не задает никаких вопросов. А у поэзии другие интересы, ей нужны другие кавалеры. В ближайшее время брак поэзии с читателем не состоится, даже неравный.

А если так: ради спасения собственно поэзии большая часть поэтов, в особенности, с врожденным вывихом, должна дать обет молчания, призвать к поэтическому мораторию на пару поколений. И затаиться — как «кротам» в штатной номенклатуре разведки и контрразведки. Пока, для жаждущих, пустить на читателя клином или свиньей засадной полк правой руки в виде, скажем, А.С.П. или О.Э.М. И еще — на время моратория дать расцветить бессловесной поэзии молчания, мычания и рычания, не претендующей на пантеон, но дымящейся как слежавшаяся навозная куча, из которой бьет дым, вот-вот вспыхнет огонь — и протрубит эхо как предвестник слова. Тут «кротам» и сбросить забрало.

В последние годы за Флегатон из русской поэзии Латвии ушли Леонид Черевичник, Олег Золотов, Алексей Ивлев, Владимир Глушков... К чему бы это?

И. Ч.: Книжки как раз издаются, я назвала в начале дискуссии эти цифры. Литературный процесс невозможно уничтожить, — плохо, что нет тех, кто мог бы обобщать и анализировать этот процесс. Да и негде. Поэтому мы недостаточно знаем, что происходит.

В. Д.: Я бы сказал — и слава Богу, что и власть, и государство оставили тебя в покое.

И. Ц.: Если быть последовательными, то следует добавить, что было бы «слава Богу», если бы и власть, и государство оставили в покое и театры, в том числе и Оперу, и оркестры, и музеи... Как хорошо, что этого не случилось.

В. Д.: Не надо, чтобы нас издавали, мы сами должны себя издавать. Тем более, что есть Интернет и можно себя «издать», сидя в собственном кабинете. Это нормальная ситуация. Другое дело, что через 20-30 лет мы, возможно, констатируем, что не родились такие крупные имена, которые составят потом некую классику...

К. В.: Не понимаю, о чем мы сейчас говорим. Но это уже проблема поколений, наверное. Во-первых, я и в Интернете публикуюсь, и книги у меня выходят. Все молодые авторы сейчас в Интернете. Во-вторых, были у нас «тучные годы», когда вышло много книг и почти каждый мог что-то опубликовать. Если кто не публиковал, это проблема не аудитории, а поэта.

И. Ц.: Да, в так называемые «тучные» годы книги, пусть и не так уж много, но издавались. Напомню: по большей части благодаря поддержке Фонда капитала культуры, то есть, книгу могла издать та самая третья, а то и четвертая часть авторов, которой ФКК смог выделить долю необходимых средств. Исходя из своих невеликих возможностей. Да и те начали постепенно сокращаться еще до наступления кризиса. В последние годы Фонд располагает суммой, которая составляет примерно 30–40 процентов той, что была в «тучные» годы.

О проблеме поколений говорить не стоит: ведь в каждом поколении есть таланты разного масштаба, люди разных убеждений и т. д., и по-разному ими распоряжается фортуна.

И. Ч.: Сейчас кризис и тяжелые времена, но не стоит жаловаться на то, чего мы своими жалобами не можем изменить. Все-таки лучше концентрироваться на том, что каждый из нас может сделать. Конечно, надо принять во внимание и то, что латышская культура не настолько литературоцентричная, какой была раньше. Что есть очень много других отраслей искусства и псевдоискусства, и разных занятий, которым отводится большее место в жизни людей, чем раньше. Но поэзия не погибла. Я думаю, что в латышской новейшей поэзии есть действительно интересные явления и появляются новые талантливые имена. Так что поживем — увидим.

Н. М.: **А может ли поэт запрограммировать себя на определенную аудиторию (которая бы его все-таки услышала) без риска впасть в заданность, противопоказанную творцу?**

В. Д.: То, что автора не заботит аудитория — это, по-моему, неверно. Другое дело, каждый сам себе назначает какую-то аудиторию, большую или маленькую, кому он хочет быть понятен. Я для себя избрал вид поэзии, который называю содержательной поэзией. Я должен быть внятным, понятным, хотя бы интересным, как минимум. Должна быть и внутренняя строгость организации поэтической речи — я поставил себе такое условие. И думаю, любой поэт все-таки интересуется аудиторией.

К. В.: Каждый, кто публикуется, заботится об этом.

И. Ц.: Вот что пишет известный поэт, политик, в 90-е годы прошлого века — Полномочный посол Латвийской Республики в Российской Федерации Янис Петерс в интервью, данном «Диене» (15 января) в честь памяти о январских баррикадах 1991 года: «Теперь обсуждаем свою бедность, отъезд за рубеж, политические интриги. Но кто бы обсудил — как в то время — публицистику Иманта Зиедониса? Кто обсуждает то, о чем говорят сейчас наши прозаики, поэты, драматурги? они это сами обсуждают в своих кружках, но этого мало. К литературной интеллектуальной мысли следовало бы присоединить широкие общественные круги. [...] недостает литературной периодики».

Вот это и отражает наша сегодняшняя беседа. Из-за отсутствия литературной периодики мы недостаточно знаем, что происходит в современной поэзии, литературе. Мы даже друг друга знаем недостаточно...

Необходима государственная культурная политика, в том числе, и забота об искусстве Слова. Иначе грош цена всем разговорам о защите языка.



Amartya Sen



W. Paul

Владимир Ореховский

ДВА СУПЕРМЕНА

*Мне нужен труп. Я выбрал Вас.
До скорой встречи. Фантомас.*

Вечером 11 сентября 2001 года Усама бен Ладен отклеил бороду, стащил с головы парик и снял маску. Из зеркала на него смотрела синяя рожа с голым черепом и налитыми кровью глазами. Она пошевелила ушами, подмигнула и зловеще усмехнулась. Великий Фантомас снова заставил человечество пукнуть со страху.

Масса и касса

Кто они такие — главные кассовые герои массовой культуры? Сверхчеловеки, которые стали предметом интереса издателей и продюсеров, поскольку вызвали гигантский интерес читателей и зрителей? В обратном хронологическом порядке их список выглядит так: Бэтмен, Терминатор, Джеймс Бонд, Супермен. Ну, еще «капитан Америка», Спайдермен и женщина-кошка — по сравнению с главным списком коммерческая мелочь, клонированная по общей модели: заурядный человек в обычной жизни, переодевшись в свой фирменный костюм, становится фантастически могущественным борцом за справедливость и при этом из кожи вон лезет, чтобы общество не узнало, чем он занимается в нерабочее время. Юный Гарри Поттер уже хотя бы по малолетству выбивается из этой схемы, поэтому со временем мы найдем ему другую компанию.

Посмотрим еще раз на список главных суперменов: Бэтмен, Терминатор, Джеймс Бонд, собственно Супермен. Положительные кассовые герои с сумасшедшей популярностью. Всех ли мы назвали? Нет. В начале этого ряда стоит персонаж, обладающий всеми качествами супермена. Но... нас ждет нечто не совсем ожидаемое. Потому что этот персонаж — родоначальник компании самых массовых-кассовых героев-суперменов — на самом деле антигерой, который все свои выдающиеся способности употребляет во зло. Его зовут Фантомас.

Триумф антигероя

Неуловимый и непостижимый, беспощадный и бессмертный убийца. Почти сто лет загадка его всемирной популярности не дает покоя искусствоведам всех мастей. Величайшие интеллектуалы — литераторы и философы, на чьих глазах рождалась откровенно коммерческая эпопея, восхищались этим «народным явлением» мировой культуры. Десятки романов расходились на ура, а по тиражам они едва не превысили Библию. Чтобы попасть на Фантомаса в кино, люди, штурмовавшие билетные кассы, шли стенка на стенку...

В 2005-м году в Париже состоялась научная конференция, посвященная культовой фигуре. Изучив образ «проклятого ангела», ученые, критики и писатели объявили, что современным политикам его черная душа мерещится в сатанинской фигуре самого бен Ладена. А члены «Общества друзей Фантомаса» задали целью выяснить, кто же был прототипом их кумира.

И в самом деле — кто? Двое французских журналюг в погоне за наживой без особого труда родили на свет супермена-злодея, дикие выходы которого до сих пор удивляют народ, охочий до

приключений. С кого же предприимчивые дельцы от литературы списали свое чудовище?

Могучий Фантомас плевал на мир, как на догоревшую сигару. Отравить воду во всем городе? Раз плюнуть! Заразить чумой пассажиров океанского лайнера? Плюнуть еще раз! Содрать кожу с жертвы, чтобы оставить отпечатки ее пальцев? Ну, это вообще детская забава... Трюки в стиле Тарзана, артистические перевоплощения в лорда, бродягу и безобидную старушку. И вместе с тем – жажда восхищения. При случае Фантомас цитирует модного поэта и галантно кружит голову молодой графине (что не мешает ему чуть позже чиркнуть бритвой по ее нежной шейке). А свою страшную репутацию поддерживает садистскими приемчиками, например, аккуратно упаковывая в почтовый багаж мертвецов и еще живых людей.

Меняя маски как перчатки, парижский призрак без труда влезает в шкуру самого директора Скотланд-Ярда и руководит собственным арестом. Но «человек с тысячей лиц» гулял не только по страницам полных беспардонного вранья бульварных французских романов. В то самое время, когда бесстыжий Фантомас хулиганил в Западной Европе, его живой двойник, хотя и не садист, еще более нахально водил за нос полицию Российской империи.

Бессарабский агроном и английский сержант

– Василий Иванович, в лесу Фантомас объявился.

– Так, Петька, я еду его ловить. Если к вечеру не вернусь, выступайте всей дивизией.

Вечер. Выползает из кустов потрепанный Чапаев с подбитым глазом:

– Если ты, сволочь, еще раз Фантомаса с Котовским спутаешь – на первом суку повешу!

А перепутать было немудрено. Оба персонажа, реальный и вымышленный, удивительно похожи. Блестящая уголовная карьера – не единственное, что делает их сходство почти абсолютным – до мелочей.

Инженера-механика Ивана Котовского в Бессарабии уважали за наивную честность и отчаянное трудолюбие: сначала работа, потом – семья. Ну и недосмотрел: детская шалость превратила его маленького Гришу в этакого героя-любownika, вообразившего себя сверхчеловеком. Прыжок с крыши, тяжелое заикание, множественные конфузии в общении с девушками – и вот результат. Железная воля, выдающиеся физические данные и очень даже незаурядные мозги – неплохой набор для того, чтобы рассчитаться со всем светом.

Успешно окончив сельхозшколу, Григорий стал неплохим специалистом-агрономом. В должности управляющего крупным имением он уже видел перед собой розовые перспективы. Но их перечеркнул голубоватый хозяин. Молодой князь так и не смог поделить своего возлюбленного с княгиней, которой принципиальный натурал отдавал явное предпочтение. Управляющего выставили со скандалом (якобы присвоенные им деньги были формальным поводом), да еще на прощание его отколотили хозяйские мордовороты. Чтобы получить новую работу, Котовский, еще не заболевший платной романтикой, подделал свои рекомендации. И, конечно, попал в тюрьму.

Что делает человек, впервые оказавшись в каталажке? Кто послабее, старается поладить со старшим по камере. Но культурист-новичок, только что пришедший с воли, удивил и сидельцев со стажем, и выдавших виды надзирателей. Котовский быстро подчинил себе матерых авторитетов и сам завоевал авторитет у тюремщиков, присвоив себе должность защитника прав заключенных. Роль заступника и благодетеля в обмен на безусловное подчинение и признание общества (неважно какого) – это было у него в крови.

Целью жизни стал лозунг «грабь награбленное». Котовский грабил изобретательно. Его имя бросало в дрожь каждого обладателя хотя бы небольшого банковского счета. Новоявленный рыцарь большой дороги великолепно играл на публику. Идя на дело, он всегда обставлял его так

эффектно, что читающий народ бросался на очередное сообщение в газетах, как на продолжение захватывающего романа.

Кстати, о птичках. То есть, о романах. Собрав разбросанные по отдельным страницам осколки биографии Фантомаса, мы видим, что ее основные этапы те же, что и у Григория Котовского.

Прежде всего, у Фантомаса тоже светлая голова, вооруженная приличными знаниями. Как-никак, бывший участник англо-бурской войны в Южной Африке в чине артиллерийского сержанта. А артиллеристы — это же интеллектуальная элита армии!

Светские повадки Фантомаса — явно из частного колледжа или офицерского училища. То есть, образование у него на уровне — не хуже сельхозакадемии. Фантомас не бог весть какой аристократ, но и не пролетарий — скорее он из небогатых интеллигентов или разорившихся дворян. То есть, стоит примерно на той же социальной ступеньке, что и Котовский.

С чего бы вдруг честный сержант оказался по ту сторону закона? Правильно, из-за дамы. Но это не просто дама, а дочь высокопоставленной персоны — лорда Бельтама, который, собственно, и поломал ему военную карьеру. А что у нас там произошло между Котовским, князем и княгиней? Да в принципе то же самое.

Фантомас знает толк во многих профессиях и ловко прикидывается то врачом, то инженером, то финансистом. А вот что пишет о Котовском в своем секретном циркуляре кишиневский полицмейстер:

«Котовский производит впечатление вполне интеллигентного человека, умного и энергичного, в обращении старается быть со всеми изящным, чем легко привлекает на свою сторону всех имеющих с ним общение. Выдавать себя он может за управляющего имениями, а то и помещика, машиниста или помощника машиниста, садовника, представителя какой-либо фирмы или предприятия, представителя по заготовке продуктов для армии и т.д., стараясь заводить знакомства и сношения в соответствующем кругу... Одевается прилично и может разыгрывать настоящего джентльмена, любит хорошо и изысканно питаться и наблюдать за своим здоровьем, прибегая к изданным по этому вопросу книгам и брошюрам».

В жизни — как в романе

Однако вернемся к газетным сводкам о похождениях российского Фантомаса. Всего лишь три случая из более чем тысячи уголовных дел, заведенных на Котовского, дают о нем достаточно полное представление.

Некий помещик провел из своего кабинета звонок в соседний полицейский участок, а кнопка находилась на полу. Предупрежденный своим агентом об этой хитрости, Котовский явился за деньгами среди бела дня. Фраза «Ноги вверх!» мгновенно разлетелась по всей России.

Нагрянув на квартиру директора банка, Котовский требует драгоценности. Жена хозяйки нервно снимает ожерелье, оно рвется, жемчужины рассыпаются. Ползая на коленях по полу? Заставить сделать это дрожащих супругов? То и другое ниже достоинства грабителя-джентльмена. Сообразив, что дама нарочно рассыпала жемчуг, он выражает восхищение ее находчивостью и великодушно оставляет ей любимое украшение.

К известному ростовщику приезжает статный брюнет в богатой шубе с бобровым воротником. Поджидая хозяина, он так очаровывает его дочь, что она не может насмотреться на веселого молодого барина. А тот, увидев в комнате почтенного папашу, этак запросто просит тысячу рублей для погорельцев из соседней деревни. Отказать такому любезному господину, к тому же сбежавшему за стаканом воды, чтобы успокоить хозяев, конечно же не решаются. А в альбоме юной барышни остается памятная запись: «И дочь и отец произвели очень милое впечатление. Котовский». Вот и еще одно покоренное женское сердце.

Да, увидев Котовского, многие дамы возбуждались, не сходя с места. А тот умело пользовался своим необычным талантом. Жены, дочери, внучки, сестры и племянницы потерпевших мечтали еще раз посмотреть на него — этого странного, опасного обладателя всех мыслимых и немыслимых мужских достоинств. Женские вздохи, слухи и рассказы о непонятном благородстве короля налетчиков сплетались в легенду, в которой уже невозможно было отделить правду от вымысла.

Котовский был тщеславен. Он знал, что стал любимцем газетчиков, и продолжал играть с полицией в такие отчаянные кошки-мышки, что, казалось, забывал о всякой осторожности... Но нет, жандармы снова посрамлены, а почтеннейшая публика в оргазме стонет от восторга.

Как и Фантомас, Котовский (кстати, владеющий пятью языками — русским, французским, украинским, молдавским и идиш), стоит на две, а то и три головы выше прочей уголовной братии. Оба они не уличные громилы, а прекрасно натренированные атлеты, для которых на полном ходу прыгнуть с поезда (или запрыгнуть на поезд) — пара пустяков. Аналитический ум помогает тому и другому так спланировать преступление, что ускользнуть от полиции не составляет труда. Прикинуться своим — один из безотказных приемов практической психологии.

Котовский обложен в лесу. Деться некуда. Он выходит из-за дерева и заявляет леснику, участвовавшему в облаве:

— В той стороне я все осмотрел. Никого.

— Да разве его найдешь!

— Ну, я еще во-он там поищу... (и Котовский спокойно проходит через оцепление).

Фантомас применяет тот же прием. Ограбив княгиню Сою в гостинице, он на вопрос: «Как вы сюда вошли?» — отвечает: для меня важнее, как я отсюда выйду. Конечно, сигнализация перерезана. Заперев дверь, Фантомас на ходу превращается из чернородого джентльмена в рыжего коридорного лакея. Дежурному по этажу он говорит, что в один из номеров, кажется, забрался вор и идет вызвать полицию... обратно, конечно, он не возвращается.

Паразитическое владение своим телом — важнейшее сходство между фантастическим Фантомасом и живым Котовским. Заподозрив глухого джентльмена, инспектор Жюв у него за спиной грохает стулом об пол: никакой реакции. Значит, и впрямь глухой. Значит — не Фантомас... и в который раз Жюв остается в дураках.

Котовского могло выдать заикание. Но, во-первых, мало ли заик на свете. А во-вторых, благодаря постоянным упражнениям, ему удалось почти избавиться от этой особой приметы. В-третьих, в особых случаях Котовский пользовался целыми словесными заготовками. Каждую из таких речей он заранее репетировал очень тщательно и произносил без единой запинки.

Ищите женщину

Сегодня никому и в голову не придет назвать Котовского террористом. Однако он держал в страхе весь юг России. Помещики бросали свои усадьбы и перебирались в города. Банкиры и промышленники теряли доверие к неспособной защитить их власти. Проблема под названием «Котовский» из уголовной сферы перешла в область высокой политики.

В поисках знаменитого «атамана Адского» сыщики, высунув язык — кто от усердия, а кто от усталости, — рыскали по самым темным малинам. А Котовский, приклеив бородку, нацепив золотые очки или маленький паричок, наслаждался жизнью в людных местах Киева, Одессы, Кишинева.

Любитель искусства и артист по натуре, он занимал правительственные ложи в театрах и не раз нос к носу сталкивался там с напыщенными генералами и важными полицмейстерами. Если у кого и возникали подозрения, Котовскому обычно удавалось усыпить их на некоторое время — достаточное для того, чтобы скрыться.

Как-то раз, уже будучи в розыске, он увидел в еврейском театре директора той самой сельхозшколы, где когда-то учился:

— Иосиф Григорьевич, вы меня не узнаете?

— Не имею чести...

— Я — ваш любимый ученик. Гриша...

После этого случая подойти в светском обществе к какой-нибудь известной персоне и раскрыть свое инкогнито стало для Котовского одной из любимых шуток.

Провинциальные жандармы не знали покоя. Никогда они не сталкивались с таким опасным противником. Предсказать его действия было невозможно. Дело приняло серьезнейший оборот. По следу пошла одна из лучших ищеек империи — пристав Хаджи-Коли. За Котовским охотились секретные агенты, жандармы и регулярные войска. Его дерзость доходила до прямо-таки безрассудной наглости. Как-то по Кишиневу прошел слух, что налет на психбольницу с двумя убийствами — дело рук Котовского. Стерпеть такую клевету он не мог. Утром в дом Хаджи-Коли позвонили. Заспанный пристав открыл дверь и услышал:

— Хаджи-Коли, я Котовский, не трудитесь уходить и выслушайте меня. В городе распространяется подлая ложь... Какая наглость!.. Обыск у помощника пристава вам откроет все дело.

И Котовский тут же исчез. А расследование действительно показало, что в больнице орудовала банда, связанная с полицией.

В другой раз Котовский и Хаджи-Коли случайно встретились на воскресной службе в церкви. Пристав, конечно, узнал своего врага, но предпочел убраться подобру-поздорову. И даже не принял никаких мер к задержанию.

И все-таки удача иногда улыбалась жандармам. Котовскому случалось ночевать в тюрьме. Но побег следовал за побегом — один фантастичнее другого.

Считалось, что из старинного Кишиневского замка сбежать невозможно. Но — ищите женщину! Влюбленная дама, жена видного чиновника, явившись на свидание, передала своему герою папиросы с опиумом, женский браунинг, пилку и шелковый шнур. Весь этот набор был запечен в хлебе. Угостившись хитрым табачком, надзиратели отключились. Котовский освободился от мощных «браслетов», перепилил решетку и спустился с высоты 10-этажного дома по тонкой веревке. Конечно, она оказалась короткой, и оставшийся путь беглец проделал по отвесной стене, словно человек-паук из голливудского боевика.

А ведь и Фантомасу исчезнуть из камеры смертников помогла некая леди. Правда, не жена видного чиновника, а его вдова (поскольку мужа любовничек давно уже запихал в зеленый чемодан). Сам побег, правда, достаточно банален — обыкновенный подкуп охраны.

Жизнь бывает удивительнее всяких романов. Успешный побег Котовского с каторги в 1913 году — в одиночку, через снежную пустыню, без теплой одежды и запаса продуктов — и сейчас уникальный случай в истории сибирских «курортов». Сделали свое дело многолетние тренировки: с Дедом Морозом наш герой подружился еще в детстве.

Но и наш приятель Фантомас не восприимчив к холоду! В больнице, окруженной полицией, он прячется в морозилке между голыми трупами и, чтобы не очень от них отличаться, сбрасывает с себя одежду. Понятно, его принимают за покойника. Обыск не дает результатов, оцепление снимают, а Фантомас спокойно удаляется.

Два супермена

Не лишены романтического налета приключения Котовского-налетчика продолжались больше 10 лет. От вынесенного в 1916 году смертного приговора его спасла опять-таки женщина.

Решение суда должен был утвердить командующий Юго-Западным фронтом генерал Брусилов. И Котовский пишет письмо с просьбой о помиловании... его жене. Чувствительная генеральша убедила мужа заменить казнь столь незаурядной личности (к тому же очень популярной в народе) отправкой на фронт. Военная карьера Котовского сначала в дореволюционной русской армии, а затем в должности красного комбрига была исключительно удачной. Загадка его безвременной смерти не раскрыта до сих пор.

Первые легенды о Котовском российские газеты разнесли по огромной территории тогдашней империи еще за несколько лет до того, как над Европой взошла зловеющая тень Фантомаса. Надо сказать, что его создатели собирали статьи о разных загадочных и невероятных явлениях и складывали их в особую папку — «Коробку трюков». И если допустить, что авторы Фантомаса хоть краем уха слышали о русском супермене (а он был фигурой известной), то главную тайну их героя можно считать раскрытой. Одним из его реальных прототипов был, по всей вероятности, Джек Потрошитель. Ну, а другим... догадаться нетрудно.

Сенсация? Не совсем. На рубеже XIX–XX вв. французы задавали тон «криминальному чтиву» (вспомним хотя бы «Призрака оперы» Гастона Леру). В юности Котовский увлекался авантюрными романами и позже артистически подражал своим любимым героям. Вопрос о корнях Фантомаса не так прост. Как видно, по большому счету они выросли из богатых традиций французской приключенческой литературы. Но слишком уж много совпадений, чтобы начисто отбросить обратную связь с российским суперменом.

Историческая справка

Опытный журналист Пьер Сувестр и начинающий репортер Марсель Аллен познакомились в 1909 году. Оба по образованию были юристами. В 1910 году издатель Артем Файар предложил Сувестру написать серию из 24 романов со сквозным героем с гарантированной публикацией первых пяти книг. Аллен придумал имя героя — Фантомус. Сувестр занес его в записную книжку и показал издателю. Тот воскликнул: «Фантомас, превосходно!», окрестив, таким образом, будущего «короля преступников». Первый том вышел 10 февраля 1911 года под шумную рекламную кампанию: изображения Фантомаса были расклеены по всему Парижу и напечатаны в газетах. Тираж быстро разошелся, и в сентябре 1911 года пришлось выпустить дополнительные тома.

Новые тома публиковались 15 числа каждого месяца. Сувестр и Аллен наговаривали текст на некое подобие диктофона. Затем стенографистки переносили все это на бумагу. Три дня у соавторов уходило на разработку плана книги, еще три — на диктовку (кому какие главы — четные или нечетные — решал жребий). Еще день тратили на читку готового текста. Изготовление романа страниц на четыреста занимало неделю. С 1911 по 1913 год Сувестр и Аллен, не оставляя редакторскую и журналистскую работу, сумели выпустить 32 тома «Фантомаса», не считая еще 15 томов о шпионах и любовных приключенческих романов.

Читатели встретили Фантомаса восторженно. О нем писали стихи, слагали целые поэмы. Фантомас стал героем фильмов, песен, фольклора, его имя сделалось нарицательным. В 1914 году Сувестр умер от испанки. Но Аллен в 20-е годы воскресил Фантомаса и выпустил еще 12 томов. Последний, 44-й роман о суперзлодее вышел в 1963 году.

ПУТИ И ПЕРЕПУТЬЯ НЕОФИТА

КНИГИ. СРЕДА ОБИТАНИЯ

Книг у меня дома всегда было много. Книги – это моя стихия. Видеть их постоянно перед глазами, держать в руках, читать – дело для меня обычное. Там, где их нет, мне находиться странно и неудобно. Интерьер без книг кажется неестественным и убогим. Сколько помню, когда я был маленький, у нас в столовой комнате стояла длинная двухрядная полка с громадными, нарядными, толстыми фолиантами (размером с сиденье стула, поэтому мне их всегда подкладывали, чтобы удобней было сидеть за столом).

Эти фолианты я любил листать. Помню их тяжесть, глянец страниц; книги были немецкие, с замечательными иллюстрациями, переложенными папирсной бумагой.

Потом стали появляться какие-то детские книжки. Должно быть, мне их читали вслух, но о чем они были, уже не припоминаю. В день моего десятилетия мама мне подарила иллюстрированное издание «Детей капитана Гранта» Жюль Верна и сказала, пусть эта книга станет первой в твоей собственной библиотеке. На длинной черной полке мне выделили весь первый ряд. Я написал на титульном листе «Детей капитана Гранта» единичку и – стал собирать книги.

Первой книгой я очень дорожил. Удачный был подарок. Жюль Верна я перечитывал раза два или три, а некоторые сценки из «Детей капитана Гранта» даже стали для меня предметом игры с друзьями. В соседнем сквере росла огромная многотальная береза. Мы забирались на нее, изображая спасшихся от наводнения героев Жюль Верна. Эта книга сохранилась у меня до сих пор, недавно я ее с приятным трепетом перелистал еще раз.

Кстати, перечитывать я любил немногие книги. Таких у меня было всего три. Несколько раз я читал «Робинзона Крузо», пока с удивлением не прочитал не помню, как попавшее мне в руки очень старое издание полной версии этого романа. Нравилось читать «Трех мушкетеров», ну и, конечно, «Детей капитана Гранта». Каждый новый роман Жюль Верна был для меня событием. Читать его книги было интересней, чем кого-нибудь другого. Я и сейчас считаю его гениальным писателем. А когда вижу где-нибудь первое его собрание сочинений в двенадцати томах, в переплетах цвета темной стали, мне доставляет удовольствие взять в руки увесистый том, вдохнуть совершенно особенный запах типографской краски и перелистать страницы с характерным для того времени шрифтом. «Гулливером» я, почему-то, не увлекался. Сагиру не любил, за всю жизнь «Швейка» так и не прочел. С интересом читал «Графа Монте-Кристо» и романы Фенимора Купера. Но гораздо больше мне нравились книги Майн Рида – не «Всадник без головы», а редко издающиеся истории путешествий по экзотическим странам.

Я вырос на зарубежной литературе. Смутно помню, что в детстве мне еще читали Маршака, Михалкова и Барто, а вот сказки Пушкина мне попались

уже гораздо позже и никакого восторга не вызвали. Когда я стал читать самостоятельно и тем более собирать книги, меня всегда больше интересовали переводные авторы. Русские казались пресными и неинтересными. Из читанных тогда русских и тем более советских писателей я помню только «Двух капитанов» Каверина и «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова. Еще «Петра Первого» Толстого.

И все. Из школьной программы ничего в памяти не осталось. Почему-то совсем не читал стихов. Причин такого отношения к литературе можно придумать много. Но главная, пожалуй, одна. Меня интересовала не литература вообще, а книги (и чтение как процесс). Причем те, что сами шли мне в руки. Это было хаотичное, никем не организованное чтение. Хорошо это или плохо, теперь совершенно не важно. Любопытно другое: так тогда читали многие мои сверстники. Нас воспитывали не в любви к литературе, а как охотников за книгами. Характерно, что у моих одноклассников ни у кого дома не было собранных родителями личных библиотек. Их начинали собирать мы, тогда еще старшеклассники, студенты, словом, молодежь. Отсюда и покупательский ажиотаж на книги в конце 50-х и начале 60-х годов. «Самой читающей страной в мире» мы тогда, наверное, тоже стали потому, что домашние библиотеки (практически в послевоенные годы, когда книг ни у кого дома не оставалось) приходилось создавать с нуля.

Читающим наше поколение выросло потому, что каждый мог покупать книги, во-первых, исходя из своих собственных пристрастий (и они сразу прочитывались), а во-вторых, хорошо зная, какие книги надо иметь в своей домашней библиотеке (в то время мы все пользовались разными путеводителями в мире книг типа очень распространенных тогда брошюр «Что читать»).

•

Читал я всегда медленно, но запоем. Любил читать на уроках, из-под парты. В 50-х годах это, наверное, было модно. Мы приносили в школу книги, обменивались ими и читали исподтишка во время занятий. Учителя не знали, что с нами делать. С одной стороны, чтение тогда всячески поощрялось, а с другой, на уроках позволять читать посторонние книги, конечно, не дело.

Удивительно еще вот что – может, в этом тоже есть какая-то закономерность, не знаю, – но я обратил внимание, что многие из тех, кто вырос на отечественной литературе, развивался потом как-то односторонне и прямолинейно. Правда, легко овладевал грамотой и успешней учился в школе и в вузе. Тогда как западная юношеская литература, в том числе и приключенческая, мне кажется, прививала широту взглядов и любознательность.

Впрочем, не исключено, что это было характерно только для поколения, увлекавшегося книгами в 50-е годы. В то время как раз начался книжный бум. Как я понимаю, обновилась школа литературных переводчиков – заново начали издавать западную классику и близкую к ней литературу. Все тогда ходили в библиотеки, брали книги на дом. Это было своего рода новым поветрием.

Мы с сестрой и мамой тоже в библиотеке бывали регулярно. В то время, может, к счастью для моего поколения, в библиотеках ввели правило – художественную литературу на дом выдавать с непременно «довеском». Обязательно

надо было взять одну-две научно-популярных книги. Эту «моду» все очень не любили, ворчали, но делать было нечего. Каждый на свой вкус выбирал какую-нибудь научную брошюрку потоньше. И свою роль это сыграло. Многие прочитывались или просматривались, и таким образом по крупицам, незаметно приобретались различные знания. Свою пользу это смешное и даже нелепое правило принесло многим.

Гораздо чаще, чем в библиотеку, мне нравилось ходить в книжный магазин. У меня завязались с продавщицей дружеские отношения, хотя я тогда был еще школьником, а ей, наверное, уже лет тридцать. Я знал дни привоза товара, и помню, даже помогал распаковывать тяжеленные пачки новых книг. Так что все интересные новинки проходили через мои руки. Тогда это очень ценилось, потому что, несмотря на гигантские тиражи, в небольшие магазины, которых в городе было не мало, книги привозились обычно в одном-двух экземплярах. Все ходкое раскупалось в мгновение ока даже в крупных магазинах в центре города, куда книг завозилось гораздо больше.

Мне выдавались личные деньги и одну-две книжки я покупал чуть ли ни каждую неделю. Кстати, книги тогда раскупались быстро по двум причинам. Во-первых, они были дешевые. Книга стоила как две-три буханки хлеба или полкило конфет. Я помню, гораздо позже, в 65-ом, когда я уже учился на последнем курсе филфака, вышел доизданный последний том собрания сочинений Блока, редчайшее издание его записных книжек. Меня потрясла цена – он стоил один рубль. Ровно столько же, сколько четыре батона белого хлеба. Три копейки тогда стоил проезд на трамвае, четыре – на троллейбусе, двадцать две – пирожное, восемь копеек – чашка ординарного кофе и шестнадцать – крепкого двойного.

Книги тогда мог покупать каждый, не задумываясь, сколько у него в кармане денег. И второе – охотники за книгами заранее четко знали, что и когда выйдет и даже когда появится на прилавках магазинов. Для этого издавались специальные бюллетени, в любом магазине имелись издательские темпланы.

Тогда же огромным событием, сопоставимым разве что только с дившимися по месяцу летними гастроями каких-нибудь московских или питерских театров, считались подписные компании на собрания сочинений известных писателей. Сейчас такими многоотниками завалены все книжные магазины – бери не хочу. А тогда люди простаивали ночами у специализированных магазинов, – в городе их было три или четыре, – чтобы подписаться на того же Жюль Верна, Джека Лондона, Диккенса или Паустовского. Подписные тома выходили по одному в год, редко когда по два, и появление каждого тоже было событием. Но уже без ажиотажа – они выкупались по подписной квитанции.

Между прочим, ошибкой было бы думать, что вся эта прелесть, это изобилие купленных книг сразу же нами прочитывалось. Книги покупались впрок, как школьнику костюм на вырост. И потом, кроме прямого назначения, чтобы их читали, книги в доме тогда играли еще и другую, терапевтическую роль. Иначе, кстати, зачем бы их так изящно оформляли? Это только сейчас, когда делается все, чтобы отвратить человека от чтения, их издают абы как с полиграфической точки зрения и обложки используют исключительно в рекламных целях. А прежде книжный дизайн играл огромную роль, превращая каждую книгу из чтива еще и в вещь. В овеществленный источник знаний и интеллектуального наслаждения.

Вот эта разновидность наслаждений – уже однажды испытанного при чтении или еще только предвкушаемого – и создавала особую атмосферу в доме. Благоприятный микроклимат, сохранявшийся и аккумулируемый наличием рядом с тобой ценного интеллектуального багажа, который в любую минуту можно начать осваивать.

Интересная деталь: я собирал книги самого разного профиля. Кроме художественной литературы, словари, путешествия, по истории религии, археологии, искусству, философии и даже по астрономии. Но нуждался в их наличии у себя дома лишь до тех пор, пока не поступил в университет.

Став студентом, я книги начал потихоньку распродавать. Не только потому, что деньги теперь мне нужны были для чего-то другого. А они действительно понадобились. Студенческая пора – это что-то совершенно особенное. Не завидую тем, кто ее не пережил в полной мере, учась заочно, а не на стационаре. Для меня это было во всех смыслах золотое времечко. Очень интересное и насыщенное. Помимо занятий, много времени, и к тому же, разумеется, денег тоже, требовало общение, разные побочные увлечения, студенческие пирушки.

Просить на все это деньги у родителей было, как теперь говорится, не престижно. Хорош кавалер или гулена, если ты берешь деньги на карманные расходы у родителей. Уважения и интереса к тебе в таком случае – ноль. Поэтому мы жили на крохотные стипендии и еще каким-то образом подрабатывали, кто как мог. А если брали у домашних, то обычно в долг, и непременно долги возвращали.

Меня выручала инвалидная пенсия. А еще я понемногу носил в антиквариат книги. Да и не нужны мне были уже романы Дюма, Жюль Верна, Вальтер Скотта и многое другое. Хотя по-прежнему я тогда много читал, и больше, чем раньше.

Даже выработалась привычка читать несколько книг сразу. Перед сном что-нибудь художественное, днем – книги посерьезней. Но брал я их теперь в основном в университетской библиотеке и вообще проводил в ней немало времени (чудесная библиотека – богатая, уютная, там я познакомился со многими интересными людьми. Особенно, когда пришел туда работать после университета).

Покупать книги я стал реже. Мне было вполне достаточно Научки. Что осталось по-прежнему – как и раньше, меня в большей степени продолжала интересовать литература переводная. Но уже тогда я начал – наверное, потому, что приходилось готовиться к экзаменам – плотно почитать и русских досоветских писателей.

Главными авторами для меня тогда были Фрейд, Ницше, Ревалд (потому что все мы в первой половине 60-х бредили импрессионистами), Камю, Монтень. Очень нравились стихи в прозе Тагора, письма Гогена. Зачитывался Достоевским и Буниным. Помню, я долго мусолил большой том переписки Блока и Белого, хотя теперь их письма припоминаю очень смутно.

Книги этих авторов и все, с чем они были тогда связаны, можно сказать, и сформировали меня – мои взгляды, симпатии и антипатии, причем уже навсегда. Весь строй мыслей, мое отношение к чему бы то ни было, вкусы и предпочтения вытекают из тех книг. Тогда же в мое сознание начала стремительно входить современная литература. Огромное влияние на меня оказал Эренбург с его ме-

муарами «Люди, годы, жизнь», «Французскими тетрадами», путевыми заметками, Чуковский, Шкловский. И, конечно, плеяда молодых – Евтушенко, Аксенов, Рождественский и прочие. Но их мы читали в «толстых журналах». Мира книг они еще не касались. Уже тогда интерес к ним был очень велик и значителен.

Правда, я тут упустил еще две составляющих, оставивших на моем «я» сильный отпечаток. Это, во-первых, археология – все началось с замечательной книги Крамера о самых крупных раскопках и археологических открытиях «Люди, боги, гробницы». И огромный «шмат» литературы теософской, относящейся в первую очередь к культуре и философии индусов. Даже само слово люблю – индусы, почти никогда, впрочем, его не употребляя.

А связано это с серьезными вещами. До войны и позже в Риге действовало Теософское общество. В него был вхож и мой дед Станислав Лавжель – у него до самой смерти (он умер в 1962 году) хранилась хорошая библиотека по теософии. Это считалось запрещенной литературой, поэтому меня к ней не подпускали. Но у меня был близкий друг Юра Калнс. Сын художницы Ингриды Калнс. Его отец, как и мой дед, и две близкие подруги моей мамы и Калнса тоже, за принадлежность к Теософскому обществу много лет провели в концлагерях и на поселении. Так вот почти все те же книги, которые я краем глаза видел у деда (после его ареста они исчезли), были у Калнса тоже. Вообще он был весьма знающим индуистом-самоучкой. Я часто бывал у него дома, и там, совершенно свободно и с большим интересом, эту, якобы запрещенную тогда литературу, потихоньку почитывал. С меня взяли слово, что я о них – никому ни гу-гу. Домой мне их, естественно, не давали, но «на месте» мы ими занимались часто.

Благодаря Калнсу и его книгам, я узнал про Атлантиду, про Живую этику, карму, йогу и про многое другое. А «с собой» он мне давал щедро издававшиеся в те годы книги по индийской философии и археологии. Я этим был тогда увлечен настолько сильно, что даже мечтал поступить на археологический факультет МГУ, но быстро понял, что это не для меня с моими данными. Зато гораздо позже, когда в конце 70-х у нас началось повальное увлечение парапсихологией и в Ригу стали приезжать лекторы, которых мы с женой ходили слушать, для меня уже это все не было в новинку. Я многое знал и про гипноз, и про реинкарнацию, про телекинез, включая туда же и карму, и прану, и многое другое, о чем все слушали, раскрыв рот.

Я уже тогда понимал, что делать все эти знания «достоянием масс» совсем не обязательно, что они приобретаются как интимный опыт, который огласке обычно не предается. Об этом просто надо знать и не более того.

Наверное, поэтому в начале 60-х, когда через мои руки прошли многие книги по теософии, всю эту интереснейшую информацию я воспринял без всякого ажиотажа, не усматривая в ней никакой сенсационности. Наоборот, очень спокойно, с большим интересом, но несколько отстраненно. Как неопит, не «уверовавший» до конца, а лишь желающий узнать побольше.

Интересно просматривать свои записи тех лет – жалко, что я их делал редко, от случая к случаю. Сейчас читаю и удивляюсь. Такое впечатление, как будто их писал не я, а кто-то другой. О чем только тогда не думалось.

Например, о смысле жизни я записал: «Все одушевленное на земле – человек, зверье, вода, деревья – существуют всего лишь ради совершенствования

духа, верней, того, что мы применительно к себе привыкли называть душой человеческой. Но не столько в обыденном житейском смысле, сколько в качестве межпланетной космической энергии. Человек к этой энергии относится так же, как наш организм к воздуху, – наполняется ею, но о ее сути не задумывается. Между тем, почему говорят – потерял сознание? Это значит, душа, точнее эта таинственная энергия, наполняющая нас, на время ушла из тела. Прийти в сознание, значит опять ею наполниться. Ум, разум, совесть, наши способности и таланты – все это ее проявления, видоизменяющиеся состояния.

Затем эта энергия, усовершенствованная или просто видоизмененная человеческой деятельностью и получившая новое качество, покидает наше бренное тело, чтобы вернуться обратно в космическое пространство. Мы никогда не узнаем, для чего происходит такой кругооборот и каково дальнейшее предназначение этой энергии. Да и знать нам этого не надо, как печке, раскаленной горящими дровами совершенно незачем знать, что дрова в ней сгорают совершенно не для того, чтобы гореть, а для обогрева окружающего пространства. Человек скорей всего существует в природе вещей вовсе не затем, что он имеет в виду и как это понимает. О своем предназначении в планетарном масштабе мы не только не знаем, но даже представить себе не можем, как далеко оно от того, что мы делаем.

Ясно только одно, что человек точно так же, как эта печка, служит для «разогрева» некоей энергии. И еще, что покинув тело, «весь я не умру», но и помнить ничего не буду. Как новорожденный не помнит прежних мытарств своей души и того, что он испытывал, пребывая в чреве матери».

Вот такие мысли меня тогда посещали.

•

Тут, наверное, надо еще сказать, почему для меня были актуальны именно те писатели, которых я называл. Они были у всех на слуху, но, кроме того, я тогда больше увлекался т.н. философией жизни. Меня не столько интересовали разные философские концепты, сколько прикладная философия, ее практическая, нравственная сторона.

Схоластикой я к тому времени объелся довольно сильно. Так получилось, что почти два года, пропущенных между окончанием школы и университетом, я занимался тем, что по подготовительной программе штудировал разные работы Энгельса, Каутского, даже Ленина. Я ведь тогда готовился поступать вовсе не на филфак, планы у меня были куда более амбициозные. И совершенно невероятные.

Начну с того, что сразу после школы я увлекся ремеслом переводчика. Переводил на русский язык латышских прозаиков. Все это было для меня настолько серьезно, что я стал посещать секцию переводчиков в Союзе писателей. (Кстати, это была очень сильная секция и в смысле литературной учебы она дала мне очень много). В тот год в московском Литературном институте как раз были квоты на отделение переводчиков для Латвии. Тогдашний наш председатель секции Давид Глезер отослал в Литинститут мои документы. По направлению Союза писателей я должен был быть зачислен в Литинститут чуть

ли ни без вступительных экзаменов. Но что-то там не склеилось и эта затея, к счастью, сорвалась. К счастью, в том смысле, что труд переводчика не такое уж благодарное дело. Это я хорошо понял, продолжая заниматься переводами еще много лет.

А тогда я, не поступив в Литературный, решил, что мое место на фило-софском факультете МГУ. И стал готовиться к экзаменам, читая по программе для поступающих работы классиков марксизма-ленинизма. Летом поехал в Москву подавать документы, но... эта затея тоже провалилась. Документы мои не приняли, так как я приехал без направления соответствующих организаций и требовавшегося стажа работы. Я, помню, каким-то чудом дошел тогда до самого министра просвещения. Он посмотрел на меня, повертел в руках мою медицин-скую справку и так это спокойно, обстоятельно мне объяснил, что факультет этот не для меня...

В Москве я остановился у однокурсника моего приятеля из Физтеха. Он очень серьезно занимался недавно вошедшей тогда в моду кибернетикой. Пока я жил у него, он заставил меня прочесть только что вышедшую книгу Винера «Введение в кибернетику», еще что-то о вычислительных машинах и дру-гих чудесах искусственного разума, после чего домой я вернулся, окрыленный уже новой идеей. Магическими словами для меня стали «прикладная лингвисти-ка». Так я постепенно спустился с небес на землю и созрел для нашего местного филфака, имея довольно-таки пестрый багаж совсем не филологических знаний. И багаж этот мне потом очень пригодился. С тех пор как-то так всегда склады-валось, что во всем, чем бы я ни занимался, меня интересовала не ортодоксия, а прежде всего области соприкосновения разных наук, дисциплин и занятий.

Мое увлечение переводами послужило мне хорошим пропуском на филфак и, наконец, я стал студентом.

ОХ УЖ ЭТИ СТРАСТИ-МОРДАСТИ

В самом начале 60-х годов в вузы рвались все. Когда я поступал в наш университет, конкурс у филологов, конечно, был не двадцать пять человек на место, как, например, в московском ГИТИСе, но для Риги вполне приличный – три-четыре человека на место.

Письменный экзамен сдавали в главном здании на бульваре Райниса. Единственное, что я помню о вступительных экзаменах, как я, написав сочи-нение, потом сидел напротив главного здания ЛУ в сквере с портативной пишмашинкой «Колибри» на коленях и постепенно приходил в себя. Писал я что-то о «Поднятой целине» Шолохова, и это был еще не худший вариант, хотя роман тогда я еще не читал.

Старая пишмашинка, к слову говоря, до сих пор мне исправно служит, несмотря на то, что перелопачено на ней не мало тысяч страниц. Собственно, благодаря ей, я тогда и поступил, потому что разбирать мои каракули никто бы не стал. А так получилось даже эксцентрично. На вступительный экзамен человек пришел с машинкой. Доцент Николаев, наш горьковед, сперва очень изумился, но быстро сообразил, что к чему. Сказал только, чтобы я не очень громко стучал. Меня посадили в дальний угол, и дело было в шляпе.

Впрочем, поступить в университет мне удалось совсем по другой причине. Из сделанных мною к тому времени переводов несколько рассказов с легкой руки замечательной рижской переводчицы Нины Александровны Бать были напечатаны в каком-то сборнике. Это, как оказалось, все и решило. Надо сказать, Нина Бать была интереснейшей дамой. Литератор московской закваски с тонким художественным вкусом, она некоторое время возглавляла в нашем Союзе писателей секцию переводчиков и, как все талантливые люди, обожала возиться с литературной молодежью. От других литературных секций наша отличалась тем, что такие асы художественного перевода, как Нина Бать, Юрий Абызов и Давид Глезер на каждом обсуждении мочалили своих коллег так, что лучшей литературной школы и представить себе нельзя. Поэтому не поступить на филфак я просто не имел права.

Еще что запомнилось, как после одного из экзаменов ко мне, счастливому, что я нашел себя в списках, вдруг съехал по перилам с верхотуры весь курчавый, с неизменной своей улыбкой, часто переходящей от смущенья в смех, один из будущих моих однокурсников. «Ну как, сдал?» – бросил он на ходу и оседлав следующие перила, улетел дальше. Это был Лазарь Флейшман, теперь профессор Стэнфордского университета, известный литературовед и специалист по Пастернаку.

Спустя пять лет, после дипломной работы, его, как и меня, только чуть позже, направили работать в Университетскую библиотеку. Ждать у моря погоды – места в аспирантуре. Причем, попал он не к нам, в отдел библиографии, потому что не достаточно хорошо знал латышский язык, а рядовым библиотекарем на обработку книг.

Конечно, ему было обидно. Филолог от бога, с несколькими научными публикациями должен был сидеть на третьих ролях. Даже, когда я внезапно ушел из библиотеки, и в библиографическом отделе освободилось место как раз для него – весь блок карточек по истории русской и зарубежной литературы, – его туда не перевели. Наверное, это и стало последней каплей. Тогда как раз участились отъезды в Израиль, и Флейшман уехал. Но, как я понимаю, вовсе не из каких-то особых политических соображений. (Хотя таковые были, вероятно, тоже). Поступи он тогда у нас в аспирантуру, этого, наверное, не произошло бы. И Флейшман, как ученый, блистал бы сегодня не в Стэнфорде, а в нашем университете...

Сейчас, правда, он утверждает другое. Что дело было вовсе не в аспирантуре, и уехал он совершенно из других соображений. Но я хорошо помню наш разговор в Научной библиотеке. Мы с Лазарем стояли на верхней площадке лестницы, и он, опершись на шаткие перила, что вызывало у меня беспокойство – не дай бог не выдержат, – говорил мне с жаром, что уезжает только из-за аспирантуры.

Я думаю, сложись у него в Риге все иначе, никуда бы он не уехал от своего мэтра и учителя Льва Сергеевича Сидякова. Но, к сожалению, еще один специалист по русской литературе в университете, при наличии у нас таких крупных русистов как Лев Сидяков и Дмитрий Ивлев, был просто не нужен.

И, между прочим, переводчица Нина Бать тоже сперва была «англичанкой». Окончив Литературный институт, она переводила на русский язык

английскую литературу. На латышскую прозу ей пришлось «переквалифицироваться», потому что у нас в Риге ее переводы с английского на русском печатать было негде.

С другой стороны, например, русскому писателю, живущему в Латвии, издать свою книгу было всегда намного трудней, чем латышскому. И не только в Риге, но и в Москве тоже. Книги наших местных латышей печатались в Москве в русском переводе охотнее и гораздо большими (стотысячными, между прочим) тиражами, чем наших местных русских писателей и поэтов. К слову, – как ни странно, но это факт, – рижанину-латышу в союзный вуз поступить было тоже проще – как нацкадру.

В Союзе писателей Латвии долгое время на русских прозаиков и поэтов смотрели, как на что-то второразрядное и некачественное. Тиражи книг латышских авторов, даже в русском переводе, в десятки раз были выше, чем у русских.

В университетской библиотеке я работал в группе, которая занималась составлением регулярно издававшихся библиографических указателей научных публикаций университетских преподавателей. И хорошо знаю, что русские разделы этих указателей были в разы меньше латышских. Не говоря уже о том, что и количество латышских преподавателей во много раз превосходило количество русских.

Во всех местных библиотеках любого уровня было принято в картотеках и каталогах в начале каждого раздела ставить вначале латышские карточки, и только после них русские. Даже пишущие машинки в библиотеках были преимущественно с латинским шрифтом. Получить для работы русскую всегда было серьезной проблемой. Читательские билеты заполнялись обязательно на латышском языке. Общались между собой работники в Государственной и Фундаментальной библиотеках тоже чаще всего по-латышски. И только в Университетской библиотеке ситуация немножко отличалась. Там директором была Софья Малинковская, у нее работало русских, латышей и евреев как-то поровну, поэтому говорили на каком языке придется. И как обычно при смешении разных культур, здесь общий интеллектуальный уровень был тоже заметно выше.

Через отца-скульптора я знал, чем жил и как работал Союз художников Латвии – там тоже, в полном смысле слова, буквально все было на латышском. (Несмотря даже на то, что СХ, как и другие творческие Союзы, был в прямом московском подчинении). Больше всего поражало меня, когда приходилось бывать в СХ по делам отца, а позже и в Союзе писателей, – насколько и там, и там интерьер и живописные полотна на стенах были выдержаны в строго национальном стиле. В конце 80-х я занялся театром. Меня приняли в Союз театральных деятелей – и там картина была такая же. Скажу больше, создать в Риге новый русский театр в дополнении к Русской драме и двуязычному ТЮЗу в советское время было просто немыслимо, а вот латышский – всегда пожалуйста.

Русских газет в Риге в советское время выходило тоже меньше латышских. А литературно-художественный журнал был вообще один единственный. В 50-х годах – «Парус». Позже, с конца семидесятых – «Даугава». Латышский язык везде, где это касалось культуры, и в подавляющем количестве академических научных институтов и образовательных учреждениях, занимал доминирующее положение. Имелись, конечно, учреждения, где с латышским языком было

глухо, как в танке. Но это касалось исключительно идеологического фронта. Например, в редакции цеховской газеты «Советская Латвия» (печатный орган ЦК Компартии Латвии), куда я ушел работать переводчиком из университетской библиотеки. Я отсидел там два года и каждый день не переставал удивляться тому, что эта редакция существует как бы и не в Риге. Латышский язык там не знал почти никто. Меня взяли, чтобы я переводил для редактора и, если время позволяло, для остальных тоже, наиболее важные статьи из латышской периодики.

Это был совершенно уникальный коллектив. Меня всегда поражало – приходишь на работу, спрашиваешь – у журналистов! – что нового? Никто новостей не знает. Там никто ничего не читал, писали все плохо и почему-то обожали играть в... нарды. Это такая казахская национальная игра. По-моему что-то среднее между шашками и домино. Из «Советской Латвии» я бежал так, что пятки сверкали. И был безмерно счастлив, когда, в то время директор Госки, Айна Деглава взяла меня без всяких сложностей к себе в библиотеку. Это был случай, похожий на тот, когда Малинковская, вот так же безоговорочно, взяла к себе Флейшмана. Только его это тогда не спасло. Впрочем, как знать – иначе он может и уехать не сумел бы. И не приезжал бы теперь, как чуть ли ни мировая знаменитость, каждое лето в Ригу, и о нем не писали бы с придыханием все наши русские газеты.

У НАС БЫЛА СВОЯ БОГЕМА

Говорят, так много кафетериев, как сейчас, в Риге никогда не было. Правильно говорят. Например, сорок лет назад у нас их в количественном отношении было несравнимо меньше. Но зато какие!

Я вспоминаю время своей студенческой поры, начало 60-х, когда в Ригу завезли легенду о парижской богеме и знаменитой «Ротонде» – парижском кафе, где собиралась большая ее часть. У нас по рукам ходили уже издававшиеся тогда в Москве альбомы французских импрессионистов. Художественная молодежь бредила Монмартром. Под влиянием всего этого рижские студенты вместе с начинающими литераторами и молодыми художниками тоже стали тусоваться в центровых кафетериях.

Трудно сказать, где я проводил больше времени – на лекциях в университете или в кафе с необычным названием «Дубль». Оно находилось на теперешней ул. Калькю, в доме № 5, рядом с бывшим художественным комбинатом «Максла».

Удивительное было заведение. Всего четыре или даже три круглых столика с мраморным верхом, а народу набивалось – туча! Кому-то даже случалось стоять с чашечкой кофе, подпирая стенку. Зимой, в морозные дни, окна в «Дубле» запотевали и по стенам скатывались капли конденсирующейся влаги – это пышнотелая хозяйка Роза, лучше всех в Риге готовившая кофе, непрерывно колдовала над стареньким импортным автоматом-кофеваркой. Пар от него стелился по потолку, облаком вырываясь на улицу, когда в «Дубль» входил новый посетитель. Называлось так кафе, потому что здесь, кроме кофе средней крепости, всегда можно было заказать особо крепкий – двойной.

Рижская богемная публика кучковалась в те годы по нескольким питейным заведениям разного калибра. На углу Горького (теперешняя ул. Валдемара) и Меркеля находилась «Сигулда», где подавали довольно жидкий кофе, но почему-то в стаканах с подстаканниками. Здесь нашли приятю тогда еще совсем молодые и начинающие поэт Сергей Христовский, прозаики Алберт Бел и Айвар Калве.

Кто был постарше, вместе с «молодежкинской» гвардией ходили во «Флору», на ул. Ленина (теперь ул. Бривибас) – редакция газеты «Советская молодежь» находилась рядом, за углом, в старом двухэтажном деревянном доме.

В «Дубле» тогда царил особая атмосфера. С комбинатом «Максла» она ничего общего не имела. В основном здесь дислоцировались несколько человек из Дома радио со своим окружением. Выделялся среди них поэт Сева Лессиг, всю жизнь отдавший журналистике, а что касается стихов, издавший всего лишь один небольшой сборничек. Перед тем, как отправиться на службу, он забегал сюда выпить натошак чашку кофе. Пока никого из приятелей не было, Лессиг строчил на свежую голову прелестные, немного печальные лирические стихи и убежал, чтобы посреди дня вернуться сюда опять и присоединиться к шумному застолью. Лессиг уехал потом в Москву и там сгинул.

Каждый день бывал здесь еще один известный в Риге поэт – Иосиф Бейн, шумный грудастый человек с тонким еврейским юмором. Он способен был на ходу, экспромтом сразу сочинить целую поэму. Острил, балагурил. Почему-то все думали, что он заядлый холостяк. Но однажды Бейн нас поразил – пришел на какую-то поэтическую вечеринку с женой, и тут оказалось, что у него чуть ли ни семеро детей. Если Лессига изредка печатали в местных газетах, то Бейна не печатали вообще. Считалось, что он слишком «воздушно» пишет, чтобы публиковаться рядом с нашими рижскими официально признанными пиитами Куняевым и Алатырцевым. Ну, никак нельзя было представить себе его стихи на одной газетной полосе с ними. Или в литературном журнале «Парус», который редактировал Куняев. Потом Бейн уехал в Израиль и как поэт там, к сожалению, так и не состоялся.

Еще одной популярной личностью и завсегдаем «Дубля» был Влад Филатов, душа компании и любимец дам. Он тоже баловался экспромтами, но по большей части «альбомными», застольными – в одно ухо влетело, в другое вылетело. В литераторы он тогда еще не метил. По поводу Филатова и Лессига все немного прикалывались – дескать, оба они вовсе не из радиокомитета, как тогда назывался Дом радио, а из другого – госбезопасности. Это к тому, что Лессиг всегда появлялся с репортерским магнитофоном в небольшом кожаном чемоданчике. Редко кто тогда имел такой. Он ставил чемоданчик под стол или у окна, и все настороженно косились, не записывает ли он их разговоры. А Филатов – тот вообще ходил «с кольтом». Он в те годы служил в сыске. Уголовном, разумеется.

Господи, кто только в «Дубле» не бывал и чем мы только не интересовались. Мэтром заходил важный, похотывающий художник Артур Никитин, у которого уже тогда рядом была своя мастерская. И Виктор Цветков – тоже художник, но без имени и без мастерской. Иногда появлялся, правда, очень редко, Макс Высоцкий, оператор с местной телестудии и известный рижский меломан.

Много позже, уже окончив режиссерское отделение ГИТИСа, он с нуля создал Красноярский Оперный театр. Мелькали и другие художники, балерины, поэты, журналисты...

Случайная публика, забегавшая сюда перекусить по пути в Старый город, смотрела на них с любопытством и недоумением. Чужим здесь было не по себе. Тут всегда громко спорили, говорили о непонятных, высоких материях, декламировали свои и не свои стихи.

Все тогда читали одни и те же книги, пересказывая их тем, кто чего-то не мог достать. Дежурными именами были Фрейд, Евтушенко (он тогда как раз опубликовал свои откровенные записки о первой заграничной поездке в Лондон), Эренбург и очень модный тогда Ницше. А еще, разумеется, французские импрессионисты с их предшественниками и последователями.

Каждый день, между прочим, все соблюдали своеобразный ритуал – ходили, как немец в кирху, в книжный магазин напротив часов «Лайма». Он находился как раз там, где сейчас американская забегаловка, и считался вторым по величине после Центрального книжного. Хорошая новая книга моментально становилась событием, все спешили ее приобрести.

Хрущевская оттепель сформировала тогда среду, в которой «начинались» почти все, кто сегодня представляют собой какую-нибудь общественно значимую величину. Кого я никогда не видел в «Дубле», так это Владлена Дозорцева, но Лессиг, Бейн, Христовский и он, Дозорцев, были неизменными участниками всех поэтических «читок», регулярно устраивавшихся на филфаке, в самой большой аудитории над знаменитым магазином «Сакта» (теперь там главпочтамт). Сидели тесно, яблоку было негде упасть. Поэты читали свои стихи, казавшиеся нам всем прекрасными, после чего этих же авторов начинали громить преподаватели филфака.

Что интересно, в «читках» никогда не участвовали поэты уже состоявшиеся – у кого были свои сборники и публикации. Их тут, наверное, освистали бы. Официальная местная литература была у нас не в чести. Мы не только не читали ее, но и не признавали тех, кто уже приобрел хоть какой-нибудь публичный статус. И, собственно, вся наша богемная жизнь тоже для каждого из нас заканчивалась, как только его литературные опусы или картины выходили «в тираж».

Но так как издать книгу, продать картину или сделать выставку было тогда совсем не просто, то славный «Дубль» долго оставался нашей «альма-матер».

Мы, тогда еще студенты-филологи Христовский и я, вместе с джазовым музыкантом Александром Айрапетяном и художником Виктором Цветковым, сидели в «Дубле» особняком, за «своим» столиком. Отношения с «отцами русской демократии», как называл остальную публику Макс Высоцкий, у нас были шапочные. Даже сам «Дубль» между собой мы предпочитали называть иначе – «Момом», по имени античного бога-пересмешника, изгнанного с Олимпа за злословие.

Что-то общее с этим Момом, отличавшее нас от прочих обитателей «Дубля», действительно было. Мы не воспринимали их, в постоянном окружении каких-то манерных дам, всерьез, и общего языка найти тоже не старались. Мы были чуть младше и, наверное, поэтому тогда еще свои «заседания» в «Дубле» считали своеобразной работой над собой. А через пару лет, когда я уже учился

на одном из последних курсов, а Христовского забрили в армию, наша компания вообще передислоцировалась в кафе «Каза».

Тоже странное название. Не помню уже, в связи с чем так латышская молодежь из Академии художеств называла это кафе на ул. Вальню, напротив Дома работников искусств. С козой у него точно не было ничего общего. Скорей, это связано с новым венгерским кофеварочным аппаратом, который там установили – он назывался Cassio.

Кстати, некоторые филфаковцы-шестидесятники и пара будущих актеров ТЮЗа и Русской драмы гораздо раньше, чем мы ушли в «Казу», оккупировали кафе напротив «Казы», в самом РАБИСе (Дом работников искусств). Его, – на манер Эренбурга парижского периода, – они называли «Ротондой». Но здесь царил совсем другой дух, чем в «Дубле». Тон задавали актеры ТЮЗа и публика собиралась в основном еврейская. В ходу были иные книги и иные имена, например, Дубнов с его «Историей еврейского народа», и совсем другой юмор. Стихи тут тоже читали другие поэты.

Да уж, посиделки в кафетериях тех лет было модным занятием. Причем не вечерние, а послеобеденные. Очень популярным у студентов и молодых художников тогда было только-только открывшееся на углу Стрелниеку и нынешней ул. Элизабетес кафе «Юность». Известным оно сразу стало благодаря украшавшим его стены гравюрам замечательного, одного из популярнейших тогда в Латвии, художника Семена Шегельмана, вскоре уехавшего на Запад. Первое время после открытия «Юности» русские поэты там часто читали свои стихи. Но то ли кофе в «Юности» подавали невкусный, то ли еще из-за чего-то, только своим оно для нас так и не стало.

В те годы, в середине 60-х и позже, намного усилилось влияние студентов-латышей из Академии художеств и молодых латышских поэтов. Они все отличались от нас какой-то особой раскованностью и повышенным чувством вседозволенности. В «Казе» мы все вместе, латышские и русские студенты и не только студенты, кучковались вокруг Сандриса Рига, известного сегодня экумениста, а тогда человека совершенно уникального. Балагура и анекдотчика, грешившего стихами, парадоксами и вообще всякого рода неожиданными выходками. Позднее он уехал в Москву и там за христианское диссидентство «отсидел на нарах». Теперь опять, вот уже несколько лет, обитает в Риге. А тогда, в конце 60-х, вместе с Айрапетяном, они стали душой огромной компании награждавшихся у нас битников.

Правда, эта атмосфера уже сильно отличалась от той, что царила в «Дубле», в «Сигулде» или в местной «Ротонде». С «Казой» связан период, когда традиции парижской «Ротонды» стали резко сходиться на нет. Интеллектуальный дух иссяк. Такие фигуры, как Бел, Калве, Марис Чаклайс перешли в статус признанных – они вступили в Союз писателей и уже молодежного мейнстрима не определяли. Русские поэты тоже ушли в «официальную литературу» тех лет.

Инициативу переняли латышские художники Майя Табака, Бруно Василевский и их окружение. Публика очень талантливая, но патологически раскованная. В этой среде царил культ чувственности с пошловатыми выходками типа «свадьных свадеб» и агрессивных ню. В подворотнях возле модных тогда кафе стали тусоваться фарцовщики или, как их теперь почему-то называют, тюльпанщики,

промышлявшие кроме всего прочего наркотой. Вскоре эта публика стала запросто подсаживаться за столики завсегдатаев «Казы» и соседнего «Птичника», большого летнего кафе под открытым небом, на месте которого теперь стоит отель Де Рома. Колеса, портвейн и сухач резко изменили климат рижской богемы. В кафе начались шмоны, гэбэшники держали его под своим прицелом (из-за тех же фарцовщиков, кстати, а вовсе не по идеологическим соображениям, как тогда казалось), и сидеть там становилось небезопасно...

Как говорится, недолго музыка играла. Студенты-шестидесятники с филфака, из Академии художеств и Консерватории защитили выпускные дипломы и занялись делом. Те, кого по инерции еще тянуло в кафетерии, к коллективным посиделкам, предпочитали ходить в «Птичник», а то и вовсе в новомодный тогда бар ресторана «Рига».

Примерно в то же время или чуть позже студенты Академии художеств освоили новый плацдарм – кафе «У Христа за пазухой» в Планетарии. Я как раз в это время уже работал в здании напротив – в университетской Научной библиотеке. Поэтому все свои обеденные перерывы проводил тоже «У Христа». Почему кафе так называлось, ясно – до Планетария это был православный Христо-Рождественский собор. Затем его надолго превратили в научный школьный центр с очень хорошим кафе. Школьников сюда водили «на небо поглазеть» – в виде модели, конечно. А мы, покупая билеты как бы в кинозал, шли в кафе. Между прочим по одной простой причине. Сюда дирекция Планетария переманила из «Дубля» Розу. Она по-прежнему готовила лучший в Риге кофе. А за ней потянулась и вся богемная тусовка.

Правда, публика здесь, «У Христа за пазухой» собиралась в основном уже латышская. Так постепенно русская традиция кофепития себя исчерпала. А спустя несколько лет был восстановлен в своем прежнем статусе и православный Христо-Рождественский собор. Кафе «У Христа за пазухой» стало такой же легендой, как и все остальные кафетерии, где собиралась русская художественная молодежь. Все эти питейные заведения – «Дубль», «Сигулда», «Флора», «Каза», «Птичник», «У Христа» – в разное время исчезли с карты современной Риги.

Анна Аузиня. ТОЛЬКО ВО СНЕ БЫЛО ГРУСТНО, стихи.
Перевела Ирина Цыгальская

84

А. Аузиня (1975) – поэт, живописец. Публикуется с 1990 года. Вышло три сборника стихов, новейший – «Es izskatījos laimīga» («Я казалась счастливой»). Лауреат литературных премий, стихи переведены на русский, украинский, литовский, эстонский, финский, английский и немецкий языки. Училась в Латвийской академии художеств, работала в рекламе. «...Это поэзия, которая кажется одновременно детски наивной и потрясающе вещей, и чей читатель оказывается захвачен пьяняще живым, прекрасным и эмоциональным миром» (К. Вердиньш). «...В поэзии А. Аузини у эротики нет [...] привкуса цинизма. Эротичность там вписывается в более широкое, насыщенное нежностью чувство жизни...» (М. Салейс).

И. Цыгальская – писатель, переводчик латышской литературы. Среди книг: сборник рассказов «Рижский бродвей» (2003), книга эссе и зарисовок былого «Все судьбы трагические» (2009); перевод трилогии В. Белшевицы «Билле» (1-я и 2-я книга – 2000), «Эта дивная молодость Билле» (2002).

ТЕКСТЕКСТЕКСТЕКСТЕКСТЕКСТЕ проза, поэзия

Игорь Трохачевский. ЛЕВЫЙ БАРМЕН, рассказы

93

«Родился в 69-м году прошлого века, – сообщает о себе автор. – В столице Латвийской республики. В 2000-м году закончил Литературный институт. Работал кочегаром, сторожем, монтером на железной дороге, оператором компрессорной станции на заводе, учеником наборщика в типографии. В последнее время статьи о культуре появлялись в местной газете ‘Ракурс’. Считаю, что известность в наше время – не показатель выдающихся качеств. Скорее – наоборот. Отсюда – комплексов по поводу редких публикаций не испытываю».

Семен Ханин. НОВОЕ СЛОВО В НАУКЕ ЛЮБВИ, стихи

108

С. Ханин (1974) – поэт, переводчик. Учился в Латвийском университете. Публиковался в журналах «Даугава», «Волга»; альманахах «Вавилон», «Орбита»; антологиях «Освобожденный Улисс», «Девять измерений» и др. Книги: «Только что» (2003), «Опущенные подробности» (2008). Лауреат премии «Серебряная

Рассказ занял I место на Прозаических чтениях 2010 года; в переводе М. Асаре он опубликован в 3-м номере журнала «Latvju Teksti».

Инга Абеле. ПАМЯТЬ ПТИЦЫ. Из книги «Шмели и муравьи». Перевел Роальд Добровенский

И. Абеле (1972) – латышская поэтесса, прозаик, драматург. Публикуется с 1996 года. Пьесы Абеле «Темные олени», «Осока острая», «Жасмин», стихи, романы, рассказы переведены на многие языки, отмечены международными премиями. «Надоевшая реальность, которая прямо тут перед глазами, под носом, преобразуется в сказание. История укладывается на плоском листе бумаги и становится невообразимо живой и объемной...» (Г. Берелис).

Р. Добровенский (1936) – русский прозаик, переводчик, с 1975 года живет в Латвии. Наиболее известны написанные в Риге романы-биографии о Бородине и Мусоргском, «Райнис и его братья» (1999), историческая хроника «Арцъмагнус». Переводил Райниса, А. Чака, М. Чаклайса, И. Аузиня, И. Зиедониса, К. Элсберга и др.

ТЕКСТЕКСТЕКСТЕКСТЕКСТЕКСТЕ
проза, поэзия

Владлен Дозорцев. ЧАСЫ ИДУТ, НО ВРЕМЕНА СТОЯТ, стихи

В. Дозорцев (1939) – живет и работает в Риге и Юрмале. Поэт, прозаик, публицист, драматург. Автор нескольких поэтических книг (новейшие – «Двухтысячный год» и «В ожидании Суда», 2007), повестей и романа, а также пьес «Последний посетитель» и «Завтрак с неизвестными», поставленных во множестве русских и зарубежных театров. В годы перестройки возглавлял русский литературный журнал «Даугава». 90-е годы отдал политике. В 2009 году вышла первая книга мемуаров «Настоящее прошедшее время».

Сергей Тимофеев. КОМНАТА, стихи

С. Тимофеев (1970) – знаковый рижский поэт, переводчик, лауреат «Русской премии». Один из организаторов проекта «Орбита». Переведен на латышский, английский, немецкий, итальянский и др. языки. Председатель Общественного совета по культуре Латвии. Автор слов к ряду хитов (в т.ч., для группы «Brainstorm»). Работает в области поэтического видео. Новейший сборник вышел в прошлом году в Москве («Маленькие синие гоночные автомобили»).

Анна Аузиня

ТОЛЬКО ВО СНЕ БЫЛО ГРУСТНО

Перевела Ирина Цыгальская

•

Ночью мы ехали к озеру в Сауку.
Брат твой, глаза его темные, взгляд тяжелый,
может статься, мы заслужили, что
эти кувшины кручины полные глаза огромных собак заплывшие
вечно с нами?

Ах, милые, разве поэзия – то, что вам кажется? Это волна,
кинолента, миллионы мельчайших творений, спирает дыхание, пульсирует
веще слово. Как она вдруг выползает из дымки тумана, и тут мозаики
нежные, розовосерые лапки кошачьи, солнце тихонько плывет из-за облака,
теплая пыль и в лужах колени теплые.

Но вот она с криком пронзительным
рвется на части в своем движении,
с дикой скоростью ехали мы на Сауку,
ритмы жестокие, грозы, воздух располосован, пропеллеры, шепот
жаркий, и матери сколько им лет забыли, счастлива их земля, где на
сотни верст вокруг озер тропиночки в рощах и песни.

Но знаете, я однажды поэта любила,
после чего уже никогда не могла отбросить свое *я есмь*
или отдать его, позабыть.

Мы ехали к Сауке,
каждый с болью своей отдавался дороге, сову синебелую встретили,
у Сусеи речки на повороте останьтесь с миром вы, ополченцы,
и ночь над пустыми полями, в которых
нет никакой заброшенности, как никогда они полны,
и в красоте отчаянной поэзии ясной потоки
или сияние глаз твоих
самых светлейших.
И я в них останусь быть может.

•

что делаешь ты
когда ты микенянка
очаг твой без крыши

дождь заливает
и вот он становится как бассейн?
ты там волосы моешь
детей купаешь
и ноги их вязнут в пещле как в иле?
дожди-то наверно теплые
но что же едите вы
или в очаг забредши
ты и твой милый лишь небо что падает пьете?

скажи – когда ты микенянка
что делаешь ты когда твой очаг заливает дождем?

Наши матери

наши матери обе разбойницы старые
сядут у самой обочины колени пошире раздвинув
трубку закурят

бабы еще они деревенские
съевши яблоко сочное косят корове траву

наши матери ведьмы бывают
в темной кухне топят плиту
в адском котле что-то варят

гетеры при том они сущие
черным глаза обведены
блеск на винных губах

наши матери и безумицы
в белой рубахе длинной
блюдца их глаз огромны

рот без зубов
пальцем костлявым грозятся

а еще наши матери дети
влажные кудри на мокрой щеке
после плача когда наконец засыпают

Дожливый день

Буйствуют сходят с ума водосточные трубы а на обочине эта ужасная
женщина
слабоумный старик промолвил: «Лизбет, Лизбет, спустись по Мельничной

чего только там ни увидишь»
время так древне и Лизбет идет под дождем ищет дом
сумрачный и просторный куда прибежать
и кричит на маленьких девочек грудок горошки
глаза стариков текущие и на сердца их добрые
льются которые над ее головой
громко кричит и раскованно Лизбет:
«дрянь ты такая из-за тебя я забыла зонтик
из-за тебя всю осень хмельная
ах меня ж доконает мое опьянение
из-за тебя тебя»
и нет никого кто бы высушил волосы
Лизбет когда она спать ложится
во тьме земляничной рядом с маленькой девочкой чистой
щупая сладкие полуоткрытые губы не узнавая ребенка
слыша как тот говорит во сне: «Опять ты милая Лизбет
влюбилась»

Витебский мотив

дом петух колодец козы
песней славы проводили
ликовали придорожья слезы
от души пролили

*но не плачь дружок не надо
лучше консульшу на танец
пригласи смотри пылает*

все они живые были
луг и речка козы у дороги
ликовали песни пели
но уж нет и синагоги

а ты лучше с консульшей танцуй

грусть теченье воспеваает
бросила она и тает
дом и луг петух и речка
тихо и мерцающая уплывают

а ты лучше консульшу воспламени

утром чашечки цветы откроют
и возница с молоком проедет

ты забудешь дом и луг козу колодец
песня славы им в утеху

*а я приглашу одного из шоферов
в них столько огня: горят*

•

испытывай сердце севера
любуйся природой не думай о доме
а только про горы и облака
но не о родине не об отверженных

думай про облако озеро скалы
про день и про ночь времена года
можешь думать про путь корявый
потопы и мох и про миропорядок

думай шершаво и думай древне
про тающий снег сугробы
шестого июня плюс шесть на солнце
цветы брусники в день годовщины

наполни бутылку горной речкой
пей и ржавчину если можешь
руки помой совсем ледяные
не можешь иначе думай о саамах

но не о жизни и не о грядущем
лежи и дыши в тишине как камень
как снег на солнце после полудня
блистай как вода вся в серебре

втяни глубоко и любуйся природой
пусть качает в скалистых объятьях
главное пусть леденеет сердце
оно отойдет ко дню может быть Ивана Купалы

СЕВЕРНЫЙ СВЕТ

1

Северный свет как я по тебе тосковала.

Первые зори неясно шемащие,
кубики небоскребов в дали прозрачной,

как горные гребни граненые лица мужские,
северный свет ты низкий, в тебе отлиты, мерцают.

Зачем глубоко так врезаешься в сердце и ранишь краями,
зачем не дашь мне покоя,
северный низкий свет,
ну зачем ты так жгуче прекрасен?

Можно к тебе лететь самолетом по ночи полярной,
пить кофе отвратный и падать в воздушные ямы,
падать на отмель во сне бредовом,
все спутники здесь твои люди,
их дутые куртки подбиты снегом.

Вовеки не будет у нас больше утра такого,
тогда мы впервые открыли глаза на горы,
тобой осиянные, северный свет ты низкий.

2

Можно приехать сюда и в июне, лучше всего на авто,
от парома все выше и выше,
увидите скалы и лебедей, большие мосты красивые,
укрытых коней на пастбищах, главное, что ни на миг не темнеет.
Потом цветущие яблони будут, сирень,

а дальше – черемуха,
и, наконец, рябина, и это все.

Фиг тебе северный цвет весенний.

Привет, синеокая северянка.

Как тебе удастся всверлить свою песню в скалу,
ничуть не тревожа озер перевернутых глади?
Запустить свои трели так звонко, что вся Лапландия вздрогнет,
но зеркало не шелохнется,
лишь на зеленом лугу раскроются тысячи цветиков мелких?
Мы не знаем, что истинно есть, а что отраженье,
и спать не ложимся: песня твоя пронзает.

И вот что еще: обгорает лицо на свету полуночном.
И северный свет глаза обжигает.
Северный свет стоит того, чего стоит.
Каждый по-своему платит за северный свет.
Если не хочешь, можешь не брать.

Самый северный свет у каждого свой.
И он, освещай, что хочешь, собой остается.

3

Во сне было грустно, а на заре миловались.

Грусть выткалась белым вином сквозь веки, как день
полярный, прохладный, навязчиво ясный.

Взрослые мы и одиноки
в спальнях районах, спальнях мешках,
ластится грусть, к бокам приникая, как рыхлая пена;
ты со мною еще, хорошо. Светлые ночи и чайки.

Приморская улица и двухколесники снулые,
молодая блондинка в отражающей свет жилетке высypает контейнеры,
такое милок лето на севере. Тихо вообще-то,
шведские забуддыги в трейлерах двигают ноги, сладко уснули.

Грусть как бывшее нам сны озаряет,
да святится секс что ни утро,
да святится и месяц каждый когда получаем зарплату.

Озера рудничных копей оттаявши дремлют,
ты со мною еще, жилисты руки,
и на бетонной стене отражается северный свет.

Только во сне было грустно.

•

когда невзгоды столы захлестывают
беды в лодке плывут по конторе и песню поют:
приветствуем вас
мы прибыли, мы –
новые звуки старой беды
ваши новые беды, встречайте

вечер добрый мы волчьи пляски
шуба курчавой невзгоды ряженой
беды-снежинки с воланами пышными
предменструальный грузон среды

оп-ля мы жалобы крепкие
детские травмы залечены

принимайте и
слушайте нас

про нашей команды большую ответственность
инициативности блеск ножевой не хуже
мы генерировать будем чем мельницы колесо

сердца завоюем глазами горящими
шествием с флагами
и кислоты синильной октавами небывалыми

мы выпивохи поры безнадеги
прекраснейшие погромы
наши обеды – грибы прошлогодние
воспоминаний компот

будем мы есть и плыть в свою землю
обетованную
в нашу юдоль печали

•

ешьте детишки ешьте
мамочки платят

ешь анюточка ешь
чтоб ножки не подкосились
не выкомуривай
каша вкусная
ешь ты тоже виктория
надеюсь кто-нибудь за тобою придет

кушайте зайчики быстро
нямму в ротик пихайте
за дизентерию и за потопы
и за семью китайскую
может быть даже и африка
встала за дверью в очередь
только нужного кода не знает

так что ешьте поторопитесь
не вздумайте в столик спрятать
запах пойдет узнаем
ешьте ням-ням детишки
мамочки платят

ЧТО Я ХОЧУ СКАЗАТЬ

*А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.
(1 Кор. 13:13)*

что же хочу я сказать людям
тетушке Велте, к примеру,
свет в окне среди тьмы ноября чернейшей
ноги ветлы стволами
книга детская только одна у крошки девчурки осталась в Сибири
про то, как льва одолел братец кролик

стану ли говорить я ей что
нравятся мне красные листья клена

•

я дитя и заботой меня окружают
папа в обед говорит про пожары
суп не глотается
за голод войну по ложечке

•

люблю в городах я площадки детские
там я своя
хорошая
так мне кажется
нравятся мне красные листья клена
нравится уток кормить
и еще смотреть на фонтаны

•

знать я хочу о здоровых и сытых детях
знать я хочу, как люди смерть достойно встречают
знать хочу о смерти простой как хлеб к завтраку
знать я хочу
про косые лучи, свет по домам скользящий, по
горам, чертам угловатым
мужественным и милым

•

я хотела бы парнем и девушкой быть одновременно,
в контору похмельным придти

и пусть неуклюже, да дерзко
болтать обо всём, что придет на ум, с мужиками
курить прочими
и в то же время носить платье
покроя послевоенного
пахнуть приятно и восторгаться
бэби, цветами

•

а будь я жестянщиком или знахаркой
будь палачом, кардиналом, речь моя стала б иной?
какими слова б мои стали,
если бы дни проходили в копях, конюшне, келье?

•

что скажу я мальчишкам в общаге той школы, которую нынче закроют
мама на год кодировалась, а теперь опять
что скажу мужичонке в троллейбусе
узловатые пальцы еле за штангу держатся
тридцать три года меня как лялю
нежат и дома,
из школы когда прихожу,
суп на плите постоянно,
и кажется мне, я как прежде снова
и снова сказать хочу, что осень красива и есть
сии три; но любовь из них больше

ЛЕВЫЙ БАРМЕН

Левый бармен

Называйте меня – как хотите... *Токо* в космос не запускайте – без про-
вианта и туалетной бумаги... Да чего там... Я сам обзовусь... Преступник я
натурально, натурал-преступник... Подтолкнул человечка одного к самому
краю зловонной ямы... Довел до взрывной ручки... А всего-навсего то протя-
нул кассету музыкальную – поставьте, *пожалста*... И довел...

Вот он – за барной стойкой... Тут не бледный закос под художествен-
ную работу... Феерия! Огонь! Артист он, артист разливного жанра... Любо, ой,
любо, братья и сестры, наблюдать, как жонглирует он бутылками, управляется с
шейкером и *айсбакетами* – ведерками со льдом...

Заведение считается – бистро... Вывеска завлекает объемными, с не-
оновой подсветкой, буквами. Выложены они алеющей, кровоточащей подковой.
Составляют название – «Самый быстрый самолет»... Объявление пришпандори-
ли о комплексных обедах – *С двух до трех*... За два с половиной лата... Правда,
не канают это особливо... Обеденные перерывы накрылись сразу – как пошли
рассыпаться окрестные заводы и фирмы... Так что заведение проще окрестить
рюмочной или баром... Пей, короче, и гуляй... А закусить приспичило... Всегда
в наличии – салатики легкие, пирожные наполеонистые, печенюшки там – грец-
кие орехи с виду...

Он тогда смотрелся волшебником. Взалтывал, смешивал, разливал – на
фоне серьезной, по габаритам, стеклянной стенки с переливчатыми полками...
Переливчатыми – от обилия знойных, из-за зубастых по ценам и громких назва-
ний, бутылок... *Martini, Marie Brizard, Bakardi*...

Я захожу в питейно-закусочные места – погреться, просто отдохнуть ду-
шой и телом... Все лучше, чем одному, дома, пялиться в телик... С постоянным
желанием *погонять лысого* от нечего делать... Захожу – и всегда беру-заказываю
стакан томатного сока... Заказываю – и сразу куда-нибудь в уютный уголок...
На два часа хватает сока. Через каждые пятнадцать минут – по глотку... И посто-
янно с собой, в кармане натовской куртки, музыкальная кассета. С альбомом
In Utero – малыша Курта из Сиэтла... Спецвещь, проверка на вшивость... Если
бармен – незнакомый, я всегда с наскока ему: – Поставьте, будьте добры-ласко-
вы, настоящее. А то достал этот веселушный попа-рок...

Срабатывает всегда... Если поставят, хотя бы два-три трэка прокрутят,
то сиди – хоть до закрытия... А если в ответ – Да отвали со своим упадочным
грохотом – тогда, нет проблемы, сваливаю. Ищу более радушное место...

Он оказался новичком в «Самолете», который я облюбовал давным-дав-
но... Увидел за стойкой незнакомца – и машинально полез в карман за кассетой...
Но что-то остановило... Что именно? Выглядел то он – как все... Черная рубаш-
ка, выкрашенная под седину *прича*, молодежное лицо – стандарт... Во взгляде

его... Вот взгляд – отдельная тема... Во взгляде все и дело... Там с легкостью прочитывались личный надлом и вселенская гибель... Так что поначалу я не стал доставать его – врубить *альтернатив*... Я не успел и рта раскрыть, а он уже пустился в словесный чes – Приветствую вас! Не желаете ли настоящей мужской коктейль... *Лонг Айленд*... Чудесные, право слово, составляющие... Ром, текила, водка, джин и ликер... Заливаются эти прелести, для смягчения вкуса, колой и лимонным фрешем... – Спасибо. Мне бы томатного сока. Без ничего...

Спорить и высмеивать меня, беспробудного трезвенника, он не стал... Так что я спокойно расположился в излюбленном углу со стаканом томатного... Поглядывал – то на суетливое, с машинами-пешеходами, окно, стилизованное под большой иллюминатор... То на глухонемой... Звука никогда не было... С бесконечно пустыми лицами – телеящик... То на него, волшебника... Волшебника изумрудного маленького, но взрослого городка... Дети же не поддают... Как иногда по сердцу впадать в заблуждение, не выпадая из дешевого и обманчивого, но приятного состояния...

Подмигивает мне со словами – Я и сам не пью. На работе – разве что. По долгу службы. Вкус коктейля – что я там наболтал, намешал – надо же испробовать... Совсем чуть-чуть – правда... Макаешь соломинку, сверху зажимая слегка пальцем, и втягиваешь в себя несколько капель... А правила питья вообще простые... Всего два правила... *Шотовый* – залпом. *Лонг-дринк* – по чуть-чуть... Я из вежливости машу гривой – мол, да, да...

Всегда завидовал тем, кто владеет наукой при помощи спиртного сказочно взбодрить себя, вернуться в детство изумрудное... И безо всяких там взрослых *косяков*... Вроде стрельбы из *травматической* волины в разные стороны – по белым, откуда-ни-возьмись, гоблинам... Вот и за стаканом томатного, взрослый и перегруженный впечатлениями, я принимаю барменский закуток за изумрудный город... А в детстве за изумрудный город и вовсе сходила районная свалка... Рядом с ламповым заводом... Некоторые отходы... Зеленеющие остро стекляшки, к примеру... Ну вылитые изумруды...

Пока я мысленно растекался, в рюмочной объявился Белый Поэт... Белый Поэт, белые стихи... Темные волосы только спадают на плечи, делая лицо похожим на оконный просвет, не задернутый шторами... Просвет этот эпатажный – с бородой, усами... Блестящая, по кумполу, плешь смотрится... Как плешь и смотрится... Я шапочно его знаю, сталкивался пару раз... Сочиняются у него белые – как звездные *карлы-марлы* стихи... А вслух, сам с собою, он частенько тихо ведет рифмованные беседы... К волшебнику-бармену он возвышенно обращается: – Плесните-ка мне, милейший, граммов сто *писят* в хрустальный мрак бокала...

Вполне к месту вспомнилось – как я впервые встретил Белого Поэта... Жаркое и влажное *прибалтийское* лето... Кировский, не помню нынешнего названия, парк... На скамейках полно любителей – колдовать над шахматными полями. Я пытаюсь заглушить вечную ангедонию... По-дурацки болтаюсь по *Кировскому, Киричку*... В поисках родственной души, одетой в женское и привлекательное тело... Смешно так ходить, не защитив себя крупно деньгами... Любая выдра заценит – как маньяка ненормального... – Обождите! Давайте поговорим о Пастернаке, – окликнул впереди идущую прелестницу с дохлым

рюкзаком, украшающим спину... – Вы ничего интересней не смогли придумать, – спрашивает, – я и так с огорода... И, не дожидаясь – пока я введу в сказанное, ушла неслышными кедами по асфальту...

– Она о растении подумала, – услышал я и обернулся на голос. Бородач в художественном берете, у многих живописцев на автопортретах такие, кивал головой... Кивал не мне, а над шахматной доской... Поглощенно прикидывал, куда двинуть фигуру... Чтобы мало не показалось противнику... Лысому – как масленок – старожилу в белой безрукавке навыпуск... Голос принадлежал бородачу... Как потом оказалось – главному поэту из русской секции писательского Союза... Сделав ход, бородач оторвался от игры и, глядя мне куда-то в ухо, спросил почему-то в лоб: – А что вам нравится из Пастернака?.. Я не стал говорить – ничего... Зачем виноватиться перед неизвестным... Разъяснить, что девушкам про Пастернака – это так... Интригующего тумана ради... – Мне нравится, – не кривляясь признался, – как он встречал дни рождения... Одевался во все черное... Как и надо в траурные дни... – Вы пишете?.. – Да, письма себе самому... Перед сном... Чтобы наутро получить весточку из прошлого, от себя вчерашнего... – Так приходите к нам в литературную студию...

Я так и не пришел... С претензиями, амбициями... И правильно... Поэтому и сижу сейчас умиротворенно в «Самолете»... Никому... Главное себе – не мешая... На подвиги, опасные для душевного здоровья – не тянет... Вроде... А не взять ли и сочинить нечто... Нечто позабойнее всех приключений Гулливера... И вот, спустя сколько там лет... Я, без гонора-амбиций, наслаждаюсь... Насколько позволяет наслаждаться врожденная ангедония... Собственным пофигизмом...

Белому Поэту, судя по всему, тоже все до *лампазы*... С дешевой *мартинелой* он уселся поближе к настенному телику... Вьедливо разглядывает глухонемую черную поверхность экрана... Неужто она его так *торкнула*... Телик или выключен... Или передача идет про Казимира Малевича... Обращаясь к телевизору, он пускается в рифмованные рассуждения... – Если бы я был телевизором, – печально так мечтает, – то на показе конкурса «Колечко-кольцо» – взорвался бы точно... – Кому – колечко с бриллиантом?... Налетайте и пальцы подставляйте!.. Кому впору придется – тот с кольцом и уберется!.. А женщина наша обычная... Ногами от ушей – не отличная... Плита, стирка, дети – не порвать сети... Услышала звон... Знает – где он... Бежит на него... В голове – ничего... Лишь бы на палец навести глянец... Нацепить колечко, чтоб у дружка сердечко запрыгало звонче... А у подруг – корчи... От зависти вредной из-за жизни бедной... Добежала таки до телевизионщиков, баловников и прикольщиков... Подставила перст... Вот тебе, Джохар, и крест... Подошло кольцо – хоть святых под крыльцо... Но проза жизни – тут как тут... И как шархнет голосом ТВ-затейника – Верните, любезная, украшение... Щупальцы у вас не той длины и системы...

Белый Поэт затих... Во время течения монолога я вспомнил ту поп-передачу и казус из нее... Случайная женщина, прямой эфир, заслонила заранее выбранную на роль победителя знакомую *фифу*... Поэт затих... А я бы продолжил... Примерно так... – Короче, мы не воздушные шарик... Нас надувают, а

мы не лопаемся... Подумал про шарики... Сходил за хлебушком... Мигом обиды накатила и накрыла тридевятой волной...

Вот здесь я и согрелся – не выдержал... Всучил таки изумрудному бармену взрывную кассету... Он поставил ее – без *ломки*, не домаясь... Понеслось... Четвертая уже по счету песня рванулась из колонок... *Rare me*... Из второго соседнего зала нарисовался бритый *папик*... Гроза окраин, больших и малых дорог... В соседнем зале... Такие вот – близнецы, *папики*... Все без разбора – настоящие *музины*... *Рубились* в бильярд... – Долго еще это громыхалово скулежное терпеть? Нормальное есть что? Малера врубите там. Занавесьте тишину приличной музыкой...

Чем там занавесили тишину – я не услышал. Взял – и улетел, глядя в окошко-иллюминатор... Да, тишину упорно, часто-часто, занавешивают... Забьют, затрахают, загрызут до ошметков – приличной музыкой, разговорами на жизненные, кислородно значимые темы... *Зимние шины – для вашей машины, четвертый размер знакомой кисули*... Скорее всего, Бетховен добровольно провалился в глухую, комфортно ватную тишину... Ничто уже не мешало слушать единственно важное – музыку, только ее...

Иногда получается – покидать, на время, грешную нашу... В барно-кафэшном «Самолете» – исключительное и происходит... Захватит волнительная тема... Отдаешься ей с потрохами-ливером... Ни на что больше не отвлекаешься серьезно... Сплошная тишина... Что такого, подскажите, существует важнее...

Оглушенный гипнотической тишиной, я, судя по всему, покинул таки рюмочную... Чем-то занимался... Меня даже успели *сократить*, то есть, вышвырнуть с работы... По причине мирового *криза* и развала родимого завода... Что там еще... Успел встать на биржу, выбить шуточное пособие... Производил никчемные, для житья-битья необходимые действия... Одного не понимал... Как я в самолете, не в ракете «Восток-69», одет наглухо в скафандр... Ладно скроенный, невидимый и непробиваемый скафандр – из тишины...

Месяца через четыре очнулся... Сбросил скафандр... Прямо на пороге «Самого быстрого самолета»... Интересно – как там... Как изумрудный бармен... Все смешивает-взбалтывает... Как там Белый Поэт... Возможно – он и сейчас тут, потягивает заторможенно нечто веселящее... За стойкой – радушный волшебник горячительно улыбается мне... Как однополчанину... Будто в прошлой жизни мы вместе дошли до Берлина огневыми дорогами... Делились коркой хлеба и сырой, от холода войны, папиросой... Все – как и в прошлый раз... Все так, но немножко по-другому... Никакой музыки... Райская тишина... Вот она и звучала в голове Бетховена... Ее-то он и записал с помощью нотных знаков... И музыканты заученно играют внешнее, а не внутреннюю тишину, спрятанную за скрипичными ключами и прочими знаками...

Стоило мне приблизиться, как волшебник-бармен радостно вскричал: – А, вот и вы! Принесли кассету? Я все под впечатлением. Вставило круто. Дадите переписать?.. – Конечно... Держите... – Отдав кассету и прихватив неизменный томатный, я убрался за личный, можно сказать, столик...

Вместо Белого Поэта перед глухонемой видео-доской *гуляла*, взбадривалась в одиночестве – женщина... Из породы – *Оторви и брось*... Оторвал?.. Бросил?.. А теперь...Подними – и сделай как было... А не то... До последнего

стакана воды... Проживать тебе в городе Крантыграде, перечитывая единственно доступный роман – «Обломов»...

Гуляла она, видимо, давно... Не единожды, точно, заказывая воду, да, но огненную... Привет индейцам... – Я щас тебе вставлю! Вставило его! – заорала она в сторону бармена, не покидая места, – педофил ты гадостный! В школе он работал! Разумное и вечно доброе сеял-вспахивал... Дочку мою, это – да, всю перепахал-перешупал... Угрожал двойкой в четверти – и шупал... Скажи спасибо... На мутные колени встань – и скажи... За то, что заяву в ментовку не подали... И налей чего вкусенького...

Волшебник-бармен полоумно безостановочно затряс *шейкером*... – Женщина дорогая, я потому и ушел из школы... Дети развиты, не по годам... Девочкам по четырнадцать, а выглядят на все двадцать пять... Мне и самому неудобно... Я замечания устал делать за макияж яркий, за животы открытые... С пи-пи-пирсингом этим – на пупе... За ноги оголенные начисто... После уроков проводил работу разъяснительную... – Работу он проводил! Извращенец недоделанный, – довольно спокойно произнесла женщина, – так и быть, проехали... Наливай, наливалка чертова...

Из соседнего зала, откуда раздавался костяной стук шаров и мужичий деловой гогот, появился бритый и серьезный забиватель шаров... – Что, мать молодая, пристаёт к тебе мурзилка этот? – Все – полный нормал... Ничего-ничего... Да ну его, убогого, – махнула рукой несчастная мать... Забрала приготовленную *Маргариту*... И – шашь, обратно за столик...

Я ничему не удивляюсь... Сломалась *удивлялка*... Нормальный по виду – парень, бармен... Можно сказать, волшебник... Песни малыша Курта из *Нирваны* – нравятся, цепанули... Оказалось – извращенец... Педофилы просто и политики-педофилы, банкиры и менты-полицейские, бандиты и метеориты и эстрадные... Все стало звучать обыденно и нейтрально... Мир давно перевернулся с непрочных ног на дырявую голову... Есть в этом – своя большая прелесть... Чтобы оценить ее... Достаточно спокойно сидеть вот так, в углу, на удобном стуле... Слушать, не вникая сильно, словесный психодел, что наворачивают под боком – и улетать... Как там – мужичонка, в исполнении поэта Глазкова... На опасном воздушном шаре... Кричал победоносно – *Летю! Летю!*..

Образы-миражи-видения... Все вокруг – наркотная дурь... И не надо всаживать в себя две порции *Лонг-Айленда* и особо напрягать воображение, чтобы улететь... Без полета – никак... Без полета – не выжить... Так просто, со стаканом томатного, глядя в огромный иллюминатор, пролетать над земной беспредельностью... Все равно, и в состоянии эйфории, приходится пролетать над бесовскими плясками... Затонувшие *курски*... Захваченные и погибшие – как овцы – театралы, фанаты книги Каверина «Два капитана»... После развала Державы... После самолетов, влетающих в небоскребы – как в облако... Все, все можно... Любые делишки чернушные проходят... Не принято о подобных материях, темных и высотных, вслух проходиться... Дурной тон... Тс-с-с, это – политика... И там – виднее... Да, им виднее – как дела кровососные обтяпывать... Им виднее – как народ превращать в пугливое быдло...

Запутался я с полетами-самолетами... Ну их – нафиг-пофиг... *Боинги* воображаемые... Навернуться на них – как средний палец показать... Зеркальному

отражению... Тема, чернуха-политика, выбрана неудачно... Сначала – бросаю курить, потом – смотреть, слушать, читать новости... Нет, сперва новости бросаю принимать...

Представляю себя на месте водителя личного авто... *Хайвей* столичный, пробки... Пользовался бы метро, если бы там вагоны не напоминали спичечные коробки, облитые бензином... А это что – *глюки*?.. Не принимал же ничего на грудь, не втыкал ничего в голодную вену... Против курительных смесей двинули войной, клоуны... Когда героина под носом – снега в январе меньше... Еще раз – что за *глюкоза*?.. По шиту рекламному... Чуть ли не во все вечеряющее небушко... Растекается знатное кино... То ли – «Глубокая глотка», то ли – нечто по мотивам Баркова... Или – все вместе перемешанное... Забачали компиляцию... Удивленные небесным порно... Похотливые *тачки* таранились бы друг о дружку... Если бы не пробки...

Голимые и печальные до невротного смеха – земные вещи... Если уж уноситься поближе к звездам, то уноситься... А не держать в сознании лабуду грешную... Так или иначе... Я – как и многие... Уставший пропадать под обстрелом... Со стороны газет, Тэ-Вэ и прочей муйни... В который раз я забылся... В состоянии *все на автомате*, убитый матерной поэзией бытия, покинул я «Самый быстрый самолет», быстро несчастное... Ходил, устраивался... Нашел работу, успел жениться... Супруга – материально озабоченная ровесница... Хуже, если бы она оказалась озабоченной духовно... Два психа под одной крышей – это финиш и перебор...

Через полгода примерно – я завернул таки, механически завернул в «Самый быстрый самолет»... Заметил Белого Поэта... Взгляд его – феерично плоского образца двустволка... Привычно направлен в сторону глухонемого, с мелькающими картинками *Philipsa*... Непонятный бармен – и тот на месте... Изменился – *плачь, мама, и горюй*... Стиль – *гаражный*, туды-его-растуды... Брошенные на произвол, забывшие про стрижку липкие волосы... Без эпитетов – патлы... Щетина... Потрогать – порежешься... Одет – *луковица нараспашку*... Битая молю и старостью кофта... С дряблого плечика неизвестной бабули... Рубашка – цвет хаки... Майка с надписью... Черным по-белому – *Hate*, ненависть – по-нашенски... Из колонок вовсю – надрывные вопли Курта из Сиэтла... Я, без интереса, спросил, забирая томатный: – Как дела?... Он задорно так: – Я презираю себя и мечтаю сдохнуть...

Я насторожился, почувствовал... Что-то случится вот-вот... Скандальное... Казалось – воздух наполнился электричеством... Протяни руку – и шибанет током... Как понеслась композиция *Rare me*... Бармен пошел подпрыгивать-танцевать, размахивая руками... Подобно весело ошалевшему Робинзону... Не из *Путешествия на край ночи*... При виде корабля над горизонтом... Одну из полок с драгоценным пойлом – перекосило... Бутылки со старпером Хоттабычем внутри – поехали вниз... Как сбитые кегли – давай они валиться, превращаясь в брызги-осколки... Добра вылилось столько, что впору удивляться – как потом на пьяный запах не сбегались окрестные алконавты... Плюхнулись бы довольными носами в крепкоградусную лужу...

Из соседнего зала выскочило тридцать три богатыря... Модельные прически, пиджаки от *Ямамото*... Крепкосколотченные... *Бодибилдинг – Forever* и

навсегда!.. С палками игральными наперевес... Хором спрашивают: – Это – что еще за дела?.. Достал их вой живодерный из *мафона*... И вдобавок, чертом из каменной церкви, выскакивает и оказывается у парня стародавняя мамаша... За сдобную руку держит полновесную девицу... Двадцати пяти лет примерно на вид... – Все не успокоился, бес, – мамаша бармену, и дальше, – расскажи, доча, что вытворял он с тобой на днях... В школе извращался в полное удовольствие... И сейчас – туда же... Девушка – низким, ниже похоронного плитуса голосом: – Он в подъезде караулил... Как набросится – что ты одета, как проститутка?.. Чуть ли не матом... И по попе стал шлепать лапой своей... Не так, чтобы больно... Все равно – изнасилование почти... Бармен неожиданно убежденно в ответ: – Да я ж тебя – как ребенка... Тебе же четырнадцать всего... А взрослеешь не в лучшую сторону... Ты мне в дочки годишься...

Мамаша вертелась ужихой на сковородке... – Вы, парни, не трожьте его пока... Пускай нам с дочкой по две *Маргариты* сделает сначала... А там – отделайте его... Как хотите... Но осторожно... Чтобы менты не цеплялись... – Так мы, мать молодая, растолкуем, что сам подскользнулся-упал, – хором успокоили ее богатыри...

– Пойдите-ка, мужики... Выдвинулся десятый или тридцатый, неважно, герой былин и других стремных историй... – Так это же сын Ивана... Тут он произнес фамилию... В политических и уголовных кругах вызывающую священный, перемазанный страхом трепет... – Я ж тебя, дурака, мелким, вот таким, помню, – богатырь бармену, – а отец как? Знаю – переживает он за тебя... Ерундой занимаешься... То в режиссеры подался, фильмы завернутые снимал... То в учителя – подросткам жидкие извилины полоскать... Теперь – бармен... Зря от помощи отказываешься... – А, дядя Николай, – бармен богатырю, – так я сам по себе, отец сам по себе... Я все кино снимаю... В свободное от мелочевки время... Что вижу, то и снимаю... А отец – деньги делает... На корню мы с ним разные... – Ясно... Держи *пять*, творческий ты человек...

Значимый, ого-го – насколько значимый для бармена, разговор прошел мимо Белого Поэта... Он, вылитый медиум, навораживал: – Он, бармен этот, вообще с группой... Инвалидность по мозговой и душевной части... Он, правда-правда, никакого криминала не вытворял с девочками... Считает, по простоте, что невинными шлепками и заумными наставлениями – по верному пути их направит... Менты сбегутся вот-вот... Повяжут его вот-вот... И дадут ему, по строгому, годков шесть... Для посадки довольно мамино бухтенья... А виноват во всем этом – ты... Ты же его сам придумал-создал, когда послушать дал кассету... Барменский этот закуток, из-за четвертой песни с альбома, ребята спортивные разворотили бы давно... Если бы просекали в *аглицком*... Да и он, бармен, этот *аглицкий*, могучий во времена Шекспира, вряд ли знает... Иначе – не крутил бы песенку, где расписано его возможное будущее... Как там... *Рэйт ми – трахни меня*... Парнишка попадает в тюрьму... Там его проигрывают в карты... *Опускают*, пуская по кругу... *Опущенным* он становится... *Левый*, левее некуда... И вот, начинает он подыхать всерьез... И бросают его в камеру – к более-менее нормальному... И не понимает он уже – а почему этот мужик не бросается на него... От непонимания – крыша напрочь, *ту-ту*... Он перед мужиком – как пощады выпрашивая... – Трахни! Ну трахни меня!..

Так что и нашего бармена ожидает нечто подобное... Но раз ты его создал... тебе и козыри в руки... Возьми – и перепиши сценарий... Хватит на чернушные цвета западать... За каждым кустом – по педофилу, политическому проституту... Расслабься... Представь окружающий замес в нормальных и спокойных, светлых цветах и красках... Распахни окошко иллюминатора, потрогай доверчивой рукой бесстрастное честное облако... Пойми, как отнесешься, как настроишься...

– А, вот ты где! – женский голос оборвал течение жестокого монолога... Резвая мамаша загородила профиль поэта... Затем, плюхнувшись за мой столик, ко мне, продолжила: – Помню, как ты по *Кирчику* шлялся, к девушкам пытался приклеиться... Ко мне пристал... На цветочную тему разливался, запудрить хотел девичьи мои мозги...

Поставил я ей и дочурке – по стакану томатного каждой... Себе тоже взял... – Ну, за волшебное спасение бармена, – говорю... В ответ – бурчание недовольное от мамыши...

•

Все, поставил точку. Хотя правильнее – многоточие. У автора – одни многоточия. Пальцы устали стучать по *Клаве*, набирая чужой текст. Попросил парень рассказ на *комте* набрать, распечатать, распечатать, размножить. Экземпляров пять. Деньги предложил. Я не взял. Не совсем очерствел, хотя и работаю лет десять барменом. Этот парень, как зайдет в «Самолет» наш, возьмет стакан сока – и за столик. Все пишет и пишет в тетрадку. Жаль его, дурака. Никто все равно не поведется на писанину его, не раскрутит, не издаст. Хотя кое-что поблескивает в тексте, но муть – в основном. К примеру, тридцать три богатыря – что за бред. Женщина психического склада – бред. Не из наших клиентов точно. Потом, кассета со всем известной *Нирваной* – это же вчерашний день. На *СиДи* вся музыка давно... А левый бармен получился. Вылитый сменик мой, такой же чудик. Он по нечетным дням *рулит*, управляет «Самым быстрым самолетом».

Родная

Пьянка, всем известно, до добра не доводит. Тут уж спорь не спорь, приводи пословицы поговорки... «Пьяный проспится – дурак никогда», «пьяному море по колено»... Толку то... Наутро – башка от знания фольклора не станет раскальваться меньше.

Вот я напился в один загадочный и непонятный день до того, что по сию пору до звона в ушах ломаю голову... А что было? Что было? До «кровавых пацанов в глазах» интересно – как я изловчился и удержался тогда на ошметках карниза и не разбился в *яичницу*... Но вышитое в тот день не дает возможности вспомнить и разрешить загадку. Так бы разбился – и все ясно. Из-за водки же вышитой приходится без толку ломать извилины. Ладно, поломаю еще. Значит так...

Выпили мы с другом основательно по случаю дня независимости братской прибалтийской республики. То ли Эстонии, то ли Литвы. Решили проявить лояльность и отметить спущенную сверху знаменательную дату. Бухали прямо

на квартире у друга... Последний шестой этаж довоенного дома... До потолка, если разве Сабонис или Ульяна Семенова дотянется, на цыпочках и стоя на табурете... Так что с шестого этажа такого домика лучше не выпадать – на спор, что не разобьешь себе ничего такого...

Мы с дружком – не то, чтобы забуддыги-алкоголики... Так – любители... Просто необходимо поддержать уверенность, что ты – художник, творческая натура, если действительно в душе ты такой и есть...

Только вот, непруха замучила – не сочиняется, не придумывается ничего путного... Так, бредовые мысли иногда посещают... Вроде – а не устроить ли выставку со всякими приколами... Огрызок *тыблока*, в виде экспоната – на блюдо... Рядом – табличку с призывом «Доешь меня!»

Вот и остается пить по-крупному, чем и занимаются настоящие художники-писатели – в свободное, а также забитое творчеством время.

По первости комплексовали мы с Костиком... Дружка так зовут... Пьем – как лошади, как неистовые жрецы искусства, а в послужном списке – ни стишка, ни картинки... Как подумаешь, какие титаны духа до тебя малевали-творили, так и опускаются все руки...

Но не долго мы пили без радости... Как-то нарисовался дружок на пороге... Улыбается – как ТВ-ведущий с новостью об очередной катастрофе... Вместо обычного *щета*, пластмассовой башки чертенка, на груди у него – медный пацифик... Значок такой, за мир во всем мире, птичья лапка в круге... *Пацифик* – значит, в завязке приятель и на мели, без *капусты*... Как фарфоровый заяц... Улыбается – и журналом, свернутым в трубку, мне – в рыло: – Слушай сюда, Гоша, – заявляет, – зря мы с тобой грустим и думаем, что мы одни такие. Вот здесь, в этом журнале, знатная статейка пропечатана о забавных ребятах из прошлого века. Поэты такие – «Ничевоки». Ни фига не писали, но без напряга. Потому что понимали... Все высказанное вслух – испражнение мозга, не более... Еще они просекли, что само по себе чувство, которое ярко пережил – уже произведение, шедевр. И переносят его на бумагу, подгонять под рифму – еще то преступление...

– Да, «ничевоки» – это вещь, – согласился я... И с тех пор продолжали мы крепко дружить с Бахусом, уже не комплексуя насчет художественной несостоятельности... Пили мы так, пили. Раз в неделю – железно, по черному, чувствуя себя шекспирами и, понятное дело, петровыми-водкиными... Приятно так травились, пока не наступил загадочный день, про который я заикнулся в начале...

На этот раз я сам заявился в гости к приятелю... Шестой этаж, уже упомянутая комната с высотным потолком... Войдя, опешил и чуть было не прослезился... Две бутылки *Спрайта* обреченно зеленеют перед шестью прозрачными снарядами *Московской*, построенными в шеренгу. – Как тебе экспозиция? – поинтересовался Костик. – Я бы добавил два яблока, парочку шпротных консервов и половинку черного кирпичика, – с этими словами я выложил все перечисленное из холщовой сумы на стол. – Так лучше, – согласился корешок.

Я заметил – на груди у Костика болтается плоская голова сувенирного чертенка. Верный признак – приятель настроен ударно и готов засадить в себя, сколько влезет огненной воды... – Слушай, Гоша, – у Костика поэтично затума-

нился взор, – ты обращал внимание, как вкусно и заразительно выпивают в наших любимых фильмах... Как Верещагин с Петрухой... Как в «Закате до рассвета»...

– Э, да тебя трясет всего, – обратил я внимание на друга. Костян смахивал на дрожастий отбойный молоток в детских руках. – Это я от предвкушения, – Костик дернул подбородком в сторону водки. – Чуть не забыл, конечно, – обрадовался я, – давай хряпнем. Только не просто так... – Как так – не просто так? – насторожился собутыльник. – Мы же с тобой «ничевоки», – напомнил ему, – то есть из «ничаво», из любой байды способны сделать марципан в шоколаде. А обычную нажираловку превратить в нечто оригинальное... Что, если нам попробовать поиграть в трезвенников? Пить – и не пьянеть... То есть пить конечно, пить, но – не показывая вида... Будто мы не водку вкушаем, а мангальскую там воду минеральную. Интересно – кто из нас первым сорвется и покажет себя бухим...

– По идее, тут третий лишний нужен, трезвый натурально, – резонно заметил Костя, разливая горячее по стаканам, – ведь мы от такого количества *кривоты* не пойдем, когда проколемся.... – Где ты такого лишнего возьмешь, чтобы не пил и следил бы за нами бескорыстно, – еще более здраво заметил я.... В итоге решили обойтись без третьего лишнего. – Поехали... – Поехали, Гагарин, – улыбнулся...

Беспорядочно болтая о фильмах Балабанова, местных педофилах и проблемах с гражданством, без которого не приобрести легальную *тушку*, мы быстро доехали до третьей бутылки.

– Надо нам совершить провокацию, – сказал Костя, – добро, вот, пропадает, а мы трезвые сидим – как слепые котят.... Ты, вот, от какой песни заводишься, когда пьяный? Я, к примеру, от Игги Попа. Его «Пассажир» мощно пробивает, до кончиков щекотных... – А мне «Калинов мост» очень нравится. Особенно «Родная», такая песня, – признался я и выпил примерную, на глаз, «сотку». Закусил тусклой шпротиной.

Костик долго рылся в беспорядочном избытии кассет, разбросанных по дивану. На пол летели пустые подкассетники и разные кислотно-щелочные земфиры с мумий троллями... Когда зазвучала «Родная», Костян запрыгнул на упругий диван – и давай исполнять на нем танец «Пьяный янки на луне». При этом он дирижировал дымящейся сигаретой.

Не помню, в каком месте комнаты находился и чем размахивал я на тот момент... Ощутил себя, когда хлынули мощные ритмы от Игги Попа. Сiju на еще вздрагивающей от Костиной пляски кровати... Диваны, кровати – какая разница... А Костя, смотрю, ко мне – передом, а к небу – задом. Расселся на подоконнике... – Ты в женщинах что больше любишь? – спрашивает. – Мозги, наверное. – А я печенку, – подмигнул мне Костик, – на вкус настоящая печенка. – Вот ты и прокололся, пьяная твоя физия, – по-доброму так говорю, – сразу видно, что ты под градусом. Какой же еще ей быть, как ни настоящей...

– А, ты про игру в трезвость эту, – сообразил Костик, – да ну ее. Зацени лучше свободу, которая плещется, ощущение космического разлива – «все могу». Состояние какое – «горы сверну и любую крышу уголовную на уши поставлю».

Кажется – в замогильном молчании добрались мы до шестой. Последняя *Московская*... Костик продолжал сидеть на подоконнике, но уже ко мне – боком,

с поджатыми коленями... Указывая пустой бутылкой вниз, он причитал: – Гошка, Гошка... Кто бы мог подумать... Как же тебя, дурака, жалко...

– Ты чего, совсем что ль, – удивился я, мигом оказался у окна. Внизу расплывчато серели кособокие сараи. Немного поодаль маячило большое зеленое пятно мусорного контейнера. В нем копошилась мутная фигура, чуть ли не с башкой нырнувшая в разные там отбросы.

– Эх, Гоша, – не унимался приятель, – как тебя угораздило... До ручки такой скатиться... Чтоб мой, можно сказать, брат – вот так... Кто бы мог подумать... – Ты с кем это? Здесь я, здесь. Эй, – окликнул я этого артиста. – Ты и там, – он повторно указал бутылкой в глубину двора... И здесь...

Я не сомневался – дружок разыгрывает белую горячку. Как поддаст, вечно откальвает номера. А я – чем хуже... Размякшее, от выпитого, братское тело стащил с подоконника, поместил в кресло. – Смотри, – говорю, – сейчас пойдет настоящий смертельный номер. Не то, что твои дурачества. Называется – «Разбиваться, так с музыкой».

С помощью седьмого или шестого, какая разница, чувства отыскал касету с песенкой «Родная». Нажал клавишу...

«Вместе мы с тобой, родная,

– Вместе помирать...

– Кто поставит крест – на могилы нам?

Инок да шаман...»

Слова и точная, родная музыка к ним – толкали на подвиги... Я мог, конечно, поспорить с Костиком – сорвусь-не-сорвусь... Поспорить – на нечто сильнее *Фауста*... Наверде ящика с пивом *Ригас пилзенис*. Выкурить сигарету, пару раз плюнуть на головы озабоченных рижан... И все это, стоя на ржавом и узком карнизе... Это вам не в *чапаева*, шелкая по шашкам, валять дурака...

Какой там спор? О чем я? Внезапно озарило предчувствие победы. Причем, победы в любом случае... Сорвусь – и фиг с ним. Главное, чтобы наверняка – к праотцам, на вечное поселение... Если не сорвусь... Нет, так нет. Судьба, значит, незавидная... Пропадать, от пьянки до пьянки... На исходе третьего десятка оставаясь полным «ничевоком»...

Напоследок, перед решительным шагом наружу, я основательно тяпнул. Как полагается – на посошок. Чем и вызвал очередной провал в памяти...

Очнулся в положении – *дистрофик на турнике*. Пальцы стальными *кошками*, впиваются в жестяной козырек. Прямо под окном, сомнительное подобие перекладки... Наверху нервничает, перемещается туда-сюда рубаха товарища – в красно-черную клетку. – Что делать, Гошка?! Что делать?! Скорую? Пожарных? – баламутит он атмосферу вопросами.

Чувствую – пальцы потихоньку сползают с козырька... Тут я замечаю горшок с геранью, за нераспахнутой оконной половиной. Листья герани уступают по величине, но все равно напоминают листья озерных кувшинок... Раздается плеск от весла, квакают невидимые и оттого милые лягушки... Как здорово на лодке – по озеру, окруженному лесом...

А вдруг, не окажется ничего равноценного – там, на невидимых дорожках бестелесного бытия. Ничего не окажется... Пробил-таки меня животный испуг... – Вливай, – кричу, – Костян, в меня водяру, пока не началось. Пока я от

страха живой еще... Задираю подбородок, распахиваю глотку... По усам текло намного больше, но и в рот попало достаточно. Так что от страха или привычной порции *отравы* – я вырубился по-новой...

Проснулся в целости и сохранности, но от похмелья никакой... Валяюсь на дохлом матрасе. Под носом, на полу, пузатая бутылка из-под реального виски – с чужеродной бесцветной жидкостью на доньшке... Не надо приножиться – *крутка*... По всему видно – нахожусь на кухне. На бельевой тумбочке, заменяющей стол... Электроплитка, поварешка и блюдечко – с горбушкой белого хлеба... Огородный рукомойник над раковиной. Под ней – пластиковое ведро с шапкой картофельных очистков...

Лишний раз остановиться на мелочах и деталях – полезно. Успокаивает, вселяет уверенность, что мозги еще не засохли окончательно.... Значит так, продолжим... Никаких окон, но две двери. Сквозь одну из них слышу детский смех, реплику – «эх ты, мудила», топанье по лестнице, хлопает дверь подъезда... Другая дверь – в комнату. Оттуда раздается профессионально озабоченный голос. Зачитывают новости...

Звук телевизора становится громче... Открывается дверь – и появляется женщина... Как поется в ресторанной песне – «Некрасивых женщин не бывает...» Не бывает, так не бывает. Так что описание внешности пропушу.

Махом прикончив мнимое виски и заглотив от горбушки, она пошла тараторить: «Ну ты, Игорешка, совсем... Нинка из пятой рассказала, как тебя видела вчера. Смотрю, говорит, с башкой в *мусорку* залез, копается там... Не стыдно тебе... Мы же с тобой не синегалы конченные... Нормальные мужики, вот, металл цветной на сдачу несут – себе и жене на радость. А ты все – по мусоркам да по свалкам. Как больной прямо... Теперь скажи, Игорь батькович, с каких таких *бабок* ты вчера набрался? Не поделился почему?.. Пачку с баксами нашел в мусорке?.. Кстати, вчера, Нинка говорит, в том дворе, где ты шарился, парень какой-то выбросился с верхнего этажа. Псих, наверно, самодушник...»

Долго я привыкал к новому существованию... Женщина эта на поверку оказалась доброй и не особо драчливой... Вместе с ней, бывает, ходим по электричкам, толкаем газеты... Правда, достает, случается, инородная тяга – бродить по свалкам в поисках чего-либо путного. Срываюсь частенько...

Как-то на улице встретил Костика, «ничевока» своего. Не узнал – отшатнулся, а я с объятьями к нему... Изменился я капитально... С бородой, под старовеера, которая и не росла никогда толком. Зубов нет...

Но ерунда все – по сравнению с тем, что живой остался...

Вопрос единственный и проклятый – покоя не дает...

Хоронили-то кого?

Залет

Я от остальных не отличаюсь особо. Когда пью, пьянею. Причем, вырубаясь быстро. Двести, триста граммuleчек – и опускается занавес... В подобном состоянии надо бы лечь в «люлю» – и «давить массу» до мудрого, но муторного

утра. Я же нет. Остаюсь на ногах... Автоматом передвигаюсь, разговариваю... Безо всякого шатания и попыток обняться со встречным столбом... Мало кто и замечает из собеседников, что я в «умат», если не принохивается сильно... Загадка природы – в бухом виде я не засыпаю, впадаю в несознательный транс... Таким зомби и брожу – неизвестно где, до самого похмелья...

Девственность, в плане выпивона, я потерял на заре озабоченной и прыщавой юности... Подвернулся учитель – одноклассник... Во время «физ-ры», урока физкультуры, зарулили в подъезд девятиэтажки, под боком у школы... Первый «Агдам» пошел жидким ежиком. Я закашлялся – точь в точь постовой фриц с «тубиком», туберкулезом, из «Мгновений весны»... Говорю – Невкусно... Дружок смеется: – Ты до конца вмажь. Вкусно, не вкусно... Зато потом – небеса в орденах и алмазах...

Потом – я отключился... И вместо того, чтобы оказаться на «русском» или химии, очнулся в «Сороконожке»... Подвал так прозвали – «Саркандаугава», где крутили кино...

Сознание вернулось на «двочку». Не фильм смотрю, а мутные картинки под названием «Блондинка за углом»... Почему – не брюнетка? Не рыжая? Не лысая наконец?

Года просвистели мимо виска – что твое мгновение, а пить я так и не научился культурно, соблюдая технику безопасности... Мне и книжку подарили. – Читай, – говорят, – наматывай, чем кончается дружанство с Бахусом...

Я думал – о вреде пьянства читалово. Накрутил волю на кулак, распахнул обложку, шуршу страницами... Любимой и настольной оказалась книжка – «Москва-Петушки»... С похмелья вспомнишь про нее, сравнишь неважнецкое состояние с гениальными терзаннями – и улыбнешься...

Я оттого и рассердился на сменщика, когда он принес «Москву-Петушки» на растопку... Другое, что он приволок... «Новое назначение», «Дети Арбата», «Белые одежды»... Не вызывало возражений... Гори она синим, «лабудень» гласности... – Так хоть пользу принесет, – сказал сменщик и поддал подобие вигвама. Полешки, книжки, мало-мало угля – для затравки...

Сдал я смену. С помощью душа из кочегара обратно превратился в белого человека... Выхожу на свет божий... А там... И без диктора понятно – собачий колотун... Я, конечно, в местную стекляшку – согреться и притушить обиду за сожженного Ерофеева...

Накатил «сто»... От обиды – мокрое место. Но потянуло на общение, на дефицит... Базары-вокзалы вокруг... – Видели вчера Пестика по «Крим-информу»? Звезда экрана! И фас, и профиль – на всю Ригу крупным планом... – Ну и что? Пестика... наших «мангальских» уже всех засветили почти... Самый молчаливый колдует у игральной тумбы. Кормит ее монетой и ожесточенно дергает за ручку... Под победный, обвальнй звон меди – покидаю заведение...

Надо сказать, я больше схожусь с людьми примерно вдвое старше... Доживу до шести десятков – не с кем станет болтануть по душам...

Моя «Камчатка» встречает лязгом шуровки, липким теплом и чумазыми дедами... И сменщик моего сменщика – тут... Помогая, успел перемазаться. – А, вернулся. Ну и правильно. Бог троицу завсегда приветствует, – улыбается работающий сегодня дядя Миша... Второй дедуля, Николай батькович, не

помню отчества, протягивает левую руку... Я про себя отмечаю, что пожимаю левую впервые.

Стены каптерки украшены глянцевыми девицами. Дядя Миша трогает батарею. – «Нормально». На пыльном стакане – зримые отпечатки пальцев... Деды прочной советской закуска. Три бутылки «кривоты» на столе... – Для разгона, – объясняет Николай батькович, – и сует непокорный пустой рукав обратно в карман...

Припоминаю начало... Деды засадили в себя несколько стаканов – и понесло их о главном. – Зря я после армии не вернулся домой, – сокрушается дядя Миша, – на Алтай-землю. Там – природа. Там – люди... – Если бы не отяпало мне руку, – подхватывает эстафету Николай батькович, – я бы зольники не чистил по двум котельным. Я бы... И он – замолкает... И в самом деле – уникам. Пахать за двоих – с пустым рукавом в кармане...

– Я вам стихи почитаю, – вступаю я, – короткие... Какие стихи я толкнул тогда – все не досуг спросить у дедов...

Редкий случай – в полную сознанку пришел дома, с удобствами... Минералкой заливаю кипящее нутро. Культурно отхожу – благо по телику растекаются об искусстве... Гений и злодейство, оказывается, еще как совместимы. Рукописи – еще как горят... Короче, никакой житухи на Марсе...

Шторы задернуты, но раз вещают мимо рейтинга, то ясно... За окном – тьма тараканья... Такой мозголомкой – разве что ночью занимать эфир...

Где же я был?.. Уверен на всю «тыщу» – с коچهгарами я расстался быстро.... Соображалки никакой, а тянет на приключения. Обычно так... Пальто еще сырое от снега. Вернулся недавно... Часов десять носило неизвестно где... А это что? Выгаскиваю из нагрудного...

Визитка – «Модрис Озолс. Ведущий программы «Стань богатым». Частное ТВ».

Звоню наутро. Мало ли. Возможно – за кружкой пива растаял человек и предложил работу по культурной части, не знаю... Успеваю представиться... – А, это вы. Деньги получите по почте, – пулеметная очередь, не голос, – еще раз поздравляю с победой. Следите за эфиром... Отключился – кончились патроны...

Какие деньги? Какой эфир? Неужто потерял башню – и занесло на Игру? ... Терпеть ее не могу, но смотрю... Жаль игроков с мозгами. Они завсегда волнуются и, была не была, выдают на шару, наугад, ответ. Чаще всего – мимо кассы... Оно и понятно... Их со всех сторон буравят камеры, освещение отовсюду – резко резвое, ведущий сбивает с панталыку... А пофигисты... С извилиной – ниже попенции... Везучие... Ничего не зная, по реакции ведущего, просекают что к чему... – Я, наверно, скажу вариант «Б»... Ведущий – «Валяйте». – Нет, все же вариант «А»... ТэВэшник начинает ерзать, предлагает выпить живой воды. Его послушать... Все бы загнулись от жажды, если бы не спонсоры... Игрок смачивает губы. – Так и быть. Вариант «А», – срабатывает неуловимая извилина.

Наконец – настал вечер ответа на вопрос – «Как я провел время, себя не помня»... По ту сторону экрана понеслась игра по кочкам... Первое задание вызвало короткое замешательство. – «Как звали героиню сказки Шарля Перро? А. Красная Шапочка. Б. Белая Шапочка. В. Серая Шапочка. Г. Вязаная

Шапочка». – «Ярываюсь между красной и вязаной. Вязаные же бывают красного цвета», – резонно замечаю. И добавляю – «Прошу помощи у зала».

Я смотрю по «Самсунгу», как зрительские пальцы нажимают на кнопки... Залом вспоминаю... На самом деле... Какие там кнопки... Зрители в зале, все хором, как заорут – «Красная! Красная!» – «Полностью согласен. Цвета знамени шапка», – говорю. – «Если бы цвета знамени, называлась бы красно-белая», – объяснил ведущий Модрис. – «Ладно. Красная – и точка».

– «Правильно. Следующий вопрос. Как среди заключенных называют сексуально обиженных? А. Козлами. Б. Петухами. В. Баранами. Г. Морскими котиками». – «Вопросики у вас... Морские котики – точно нет. Не знаю что и выбрать, – вслух рассуждаю, – а звонок можно?» – «Кому звоним?» – «Звонить, так звонить. Президенту. Ему все про граждан и неграждан известно».

С президентом не соединяют. Мужской голос представляется секретарем, выдает: – Сам ты петух еще тот. Нашел, кому звонить. – «Думаю, подсказка прозвучала», – смеется этот Модрис. – «В смысле – петух, – догадываюсь, – пускай, петух». – «Абсолютно верно. Следуем дальше. Как называется известный советский фильм? А. «Убийца за углом». Б. «Маньяк за углом». В. «Блондинка за углом». Г. «Блондинка в черном ботинке за углом».

– «Блондинка! Блондинка за углом! – кричу, – десятый класс – как сейчас помню. Впервые напился с дружкой в подъезде. Стакана три «Агдама» пропустил – и вырубон. Очнулся в «киношке», на фильме – Блондинка эта... – «Я тоже, когда впервые пробовал спиртное – выключился. На фильме «Терминатор-1» пришло сознание», – признался Модрис.

Под конец – вечер воспоминаний получился. Ничего не вырезали. – «Ты помнишь, – спрашиваю, – рыбные пирожки, три копейки за штуку?» – «Протамс... А ты, драгоценный мой игрок, мороженое лимонное за восемь – помнишь?»

Двести латвев я выиграл. А получил десятку на руки. Налоги – плюс еще штраф за то, что потревожил контору президента.... Вот вам и петухи, козлы, бараны, морские ежи да котики...

Семен Ханин

НОВОЕ СЛОВО В НАУКЕ ЛЮБВИ

•

он не раскаялся, так он просил передать
тебе и всей честной компании
и черным гениям, и ей
той, что, и той, которой
и той с которой – тоже
его слова: еще не время
вычеркивать меня из черных списков
я не раскаялся, шлейф тянется за мной
я не прошу прощения и буду только хуже
я буду портиться
как пища
и даже хуже – как литература
так он сказал

•

говорю вам, едва вы успеете прошептать
новое слово в науке любви
как попадете под машину времени
подвозящую прошлогодний снег

влачите же сюда, пока не поздно
свое жалкое существование
спешите завещать свои искусственные сердца
центрам современного искусства

•

бронзоволицая статуя
рабыня с зубами слоновой кости
за два дня до аукциона
оказалась больна

изогнулась
так ломит суставы
ноют трещины в слишком тонких запястьях
от боли до крови прокусила коралловую губу

парализована страхом глядит
от напряжения затекла, онемела шея

отнялась и безвольно упала рука
смятую в кулаке уронила записку

опытный реставратор
прильнул к ней вправляя
смещенный мраморный позвонок
шепчет «не бойтесь, немного хрустнет»
стынут закипевшие было в груди слезы

обрабатывает то место
где расплылась и подсохла клякса
на побелевших костяшках пальцев
из своих усов он делает щетку
чистит сколы, швы, подмышки, в шагу и клеймо

потом она только вздрогнет
на стук молотка
и будет невольно дичиться
когда новый хозяин поцокает языком

•

нащупывая губами горлышко
пить записки из брошенных в море бутылок
проборматывая темноватые местами каракули
гортанно-кудрявое бульканье пузырьков

артикулируя тщательно в формулах вежливости скомканные начала

захлебываясь диким смехом
вникать в подробности катастрофы

корабль утонул
и солнце сморщилось
и море опрокинувшись разлилось
и мы тут
мы тут
тут

мы, ваши суррогатные братья и сестры
по разуму, конечно, по чему же еще
хоть бы заемному, хоть бы и вземному

есть ли разница в этой стадии амнезии
вкусившим от неземного блаженства

мы, те самые, желеобразные небожители
затерянные в железобетонных необитаемых джунглях
стоим в три погибели как неоткрытые лжеорангутанги
на невозделанном побережье вождельного шампанзеэ
ждем сигнала и умираем от жажды

тут поплыли чернила
и сквозь розовые, синеватые линзы медуз
мелькнули обмылки плоских невыразительных лиц

•

кто это тут у нас стоит с протянутой рукой такой?
и какие мы все ой-ой-ой и изблёванные и несчастные,
с квартальной щетиной и подсохшей пованиваем мочой.
может, мы какие-то социально малоактивные?
никто в таком виде нас не тащит на блядки,
реки текили текут далеко ото рта, в бычках не растет трава,
и никто не несет тебе колу с цикуттой?
и похлебка всех армий спасения, и ночи в бомбоубежищах не спасают тебя,
и признаки латентного самоубийства у нас налицо?
слышь, э, не мы ли были первыми на курсах вожделения в мусорках,
что это мы теперь мычим всё, мычим, мычим да мычим?
ну не попали слегка в штанину, быка дергали не за тот рукав
не тушуйся, старик, у нас еще хватит энергии и предприимчивости стянуть
одноразовое бессмертие у девок, торгующих им из-под полы

•

постояльцы нашли ее уже в постели – но она не спала

худыми пальцами перебирала край пододеяльника

при этом взгляд, ангельское спокойствие или угловатые плечи

что из этого принадлежало воровке, а что – ее подельнику?

спала с лица, видишь ли, видите. и отойдите, ведь не она больна

не за ней будет ходить нянечка. когда нанимали сиделку

вряд ли имели в виду пропажу, тем более непостижимую

что и преступная сделка, и поимка, и выздоровление

всё было раньше, не в понедельник, а намного, намного, намного раньше

•

не подумай, что это бездомный
просто он потерял ключи
и четвертый месяц ночует на ступеньках
мебельного магазина

кажется ему не очень удобно
в такой скрюченной позе
а на самом деле он акробат
и так ему намного сподручней дремать

с чего ты взяла, что он умер
подумаешь, не дышит
чего еще ждать от продвинутых йогов
способных задерживать дыхание на многие годы
ну, точнее, почти навсегда

•

спекулировать любовью и смертью
смертью в розницу, в зеленой серийной упаковке
любовью большими партиями (это ничего что подмокло)

образец товара:

ты умрешь не как клоун поскользнувшийся на банановой коже
под смех друзей

а от обострения собственного занудства
среди малоприветных знакомых

и им, и тебе будет только тоскливовато не по себе
в этой истории

узнаешь кого-нибудь
среди немногих без видимого воодушевления идущих за гробом?

Зато в могиле тебе будет в самый раз

придуманную в юности эпитафию съест по ошибке
компьютерный червь

(Он умер, чтобы я
Могла прочесть на камне:
«Жить, милые друзья,
Не хочется пока мне»?)

•

вы будете из тех, из бывших?
а нет – из выходцев, из только прибывающих?
а кто здесь из печали неизбывших?
из пришлых вы? в печали пребывающих?

ну, мы-то здешние, давно из этих мест
и только в пункты назначения отбывали,
населники земель и вод окрест,
носители обычаев печали

•

какие-то девы, скрывавшие девство свое – стюардессы? медсестры?
склонившись над ним, над раненым ветераном
шептали: ты ранен, мы кровь твою утираем
и они так бы и продолжали его вытирать
если бы он не воспротивился этому самым противоестественным образом
он умер – у них под руками
и они вытирали уже не его
а только лишь его плоть
своими пестрыми никому не нужными больше платьями, бесполезными отныне
шелковыми платками

(тайком они любовались его противоестественным образом)

(не удивлюсь, кстати, если окажется, что он был болгарин
вроде рудина или накануне)

КОВЧЕГ

Спасибо корпорациям, – подумал Алекс. – Спасибо корпорациям за то, что в своей первобытной жажде пометить как можно большую территорию, они всюду понатыкали тотемных столбов с собственными значками. И вот уже лого Shell, эта не то створка жемчужницы, не то пепельница, сделанная из раковины грандиозного моллюска – в детстве одной из немногих необычных вещей в доме была как раз такая пепельница – становится символом моей любви. Необычных, и потому запомнившихся – как бы это сказать – предметней и одновременно бестелесней, нежели телевизор детства, газовая колонка детства или его же, детства, стиральная машина. Наряду с комплектом глиняных тарелок, по ребристым краям которых бежали выпуклые олени, голубой скатертью с удивительной темно-синей бахромой (на нее ставили только старинный фарфоровый бело-золоченый сервиз, который всё же не удивлял) и, скажем, радиолой.

Огибая островок безопасности, сопровождающий, по прихоти аборигенов, ветвление к очередной бензоколонке, Алекс почувствовал привычный укол в сердце: желто-красный Shell зацепил его мучительно-пряной смесью воспоминаний о тех заправках на нем, когда в машине была она. С ним, на нем, она – утром, днем, вечером, ночью – они любили маленькие голландские мирки, раскиданные по разным пределам большого мира ради их огней, ради их закусочных, запаха мясных тефтелек и порошковых кофе и какао из кофейного автомата. Дис-пен-сер – видимо, так принято называть коричневый сладкий ящик – распределитель, действительно распределявший по стаканам из приятно шуршащего пластика черные и белые порошки: болеутоляющее, отрезвляющее, усталость снимающее... Чудное, многообещающее название.

Радиола, по сути дела, являлась ком-бай-ном. Тоже вкусное слово, если судить с него налет огромных сельскохозяйственных агрегатов, их незадачливого прошлого и смутного настоящего. Тот, домашний комбайн, хотя и цвета спелой пшеницы, соединял в себе иное – не только вертушку и радио, но страны и города, поскольку на лицевой панели, предназначенной для перемещения по длинным и коротким волнам тончайшего усика настройки, кроме длин волн были нанесены мировые столицы: Прага, Вена, Берлин (Лондон, Париж) и, кажется, не только они – Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро (хотя вряд ли). Где-то на этой панели прятался незаметный в обессточенном состоянии глаз, что при включении загорался зеленым огоньком в форме буквы «алеф», показывая точность поиска приближающихся станций. Над панелью же, под выступом крышки, стояло: ALDA.

– И кто бы там что бы ни... – сказал Алекс самому себе, как бы сквозь зубы, включая круизную передачу, и повторил – кто бы чего ни говорил о безнадёжности мира, покрытого сетевым маркетингом, где правит стандарт, об отсутствии выбора в ожиданности сотен решений, я люблю узнаваемость этих островков дорожного счастья даже теперь, когда я еду и буду ехать один. Крючки сети, наброшенной на мои пути удачливым Shell'ом, так или иначе связывают

нас; крючки, поплавки... Они удерживают меня на плаву, не дают захлебнуться волнами отчаяния, накатывающего отовсюду. Даже со стороны моря, параллельно которому – параллельно берегу которого – я перемещаюсь и от кого, казалось бы, не стоит ждать предательства...

...ведь, стоит мне увидеть кусочек моря в просвете между сплетениями сосен и дюн, я неизбежно представлю себе следы на песке, как бы оторванные от пяток и выложенные здесь в качестве указателя, береговой разметки. Для меня? Цепочка следов. Очень плотное сцепление звуков – недаром цепочка – на ней я повис, большой, но тем не менее легкий, раскачиваюсь из стороны в сторону, но упрямо скольжу туда, куда ведут меня сети и провода, бары, где мы пили с тобой, отели, где мы спали с тобой, храня и оберегая меня, как я понимаю теперь, перед тотальным безумием, внушая, как ни странно, чудовищную надежду.

Туман плавал в придорожном воздухе, то растворяясь в нем, то собираясь в космы густой взвеси, буквально в хлопья. Руки, тянувшиеся к осевой линии из черноты леса, одеты в мглистую чешую; прежде чем таять в свете фар, они успевали смахнуть с лобового стекла невидимую паутину сопротивления, какое пространство ночи, скорее из прихоти, нежели принципиально, оказывало их маленькому экипажу.

– Спи! – сказала она.

– Спи! – сказала Наири, но ее странное, пусть и звучное имя, не захотело лечь в ячейку сознания, отвечавшую за вояж в Заборье, и он мысленно протянул: он-а-а, вплоть до медового «а-а», спа-ать, спи-и: слегка горячее «и»... На-и-и.

Лампочки, во множестве разбросанные по приборной доске, освещали руку, лежащую на руле. Запястье, контрастируя с очень короткой перчаткой, казалось таким же бесплотным, как ладони тумана, таким же полу-дружественным, полу-тревожным. «Как лезвие бритвы, – вспомнилось Алексу, когда очередная туманная лапа практически хлестнула их лица и отраженный ею луч на мгновение осыпал искрами кожу перчатки. – Как лезвие бритвы, дорога узка и остра. Я нищий, мне нечего есть, и чума мне сестра».

– Ты боишься спать, пока я за рулем? Восхищаешься моим способом вождения, а сам не доверяешь мне? И – (с неподдельной обидой) – обыкновенно мне говорят, что я вожу омерзительно, но сразу же засыпают, оказавшись на этом месте.

– Я не могу спать, я думаю. Хочешь, подумаем вместе?

– Не хочу. Я не стану думать ни о чем, кроме дороги. Моя мысль сейчас – дорога. Остаток дороги.

– Тогда моя – пространство. Ты знаешь, что доказана гипотеза Пуанкаре?

– Представь, нет.

– Представь себе смятый футбольный мяч. Если накачать в него воздуха, он распрямится и станет шаром, а его поверхность – двухмерной сферой.

– Почему двухмерной, ведь пространство – трехмерное?

– Пространство и шар – трехмерны, а сфера – лишь часть его, и на ней только две координаты, как на простой плоскости. Ну, а вот бублик, сколько в него ни дуй, мячом не делается. Говорят, что они гомотопически не эквивалентны.

- Ты знаешь, я не люблю иностранных слов.
- Оригинальная идиосинкразия у переводчика.
- Ты же знаешь, что я не люблю иностранных слов.

– ОК. В сфере нет дырок, а в бублике есть одна. Пуанкаре утверждал, что если у поверхностей одинаковое количество дырок, их можно нечувствительным образом трансформировать одну в другую. Говорят, что они, уж прости, гомеоморфны. И вот, утверждается, что

.....
 все трехмерные поверхности в четырехмерном пространстве, гомотопически эквивалентные сфере, гомеоморфны ей

.....
 – А-и?

.....
 – Между прочим, Винструцьль...

– Макс. Его зовут Макс.

– Макс Винструцьль в детстве – в нашем далеком детстве – переболел этой проблемой.

– И лечится от последствий в Зазаборье?

– В Заборье.

– В Задверье.

– Последствия, кстати, присутствуют. Как минимум, в формулировках. Ты не обидишься, если я скажу, что однажды по пьяни он сказал мне, что ты, при всей восхитительной неповторимости, продолжаешь гомологический ряд известных ему моих женщин?

Рука исчезла с руля. Как-то внезапно протрезвев до опустошающей ясности, Алекс ждал пощечины. Она вообще не была скупа на пощечины, раздавая их с тем выражением веселого бешенства в глазах, которое Алекс угадывал и в темноте. Рука вернулась на свет, сжалась в кулак и разжалась, растопырив пальцы, проверяя, всё ли тут туго натянуто. Уйдя обратно, неуловимым движением поправила волосы, затем легко коснулась его лица косточками ладони, где перчатки не было из-за так называемой перфорации, и пошла вниз по его груди к животу, повозилась с рубашкой и легла на ремень, который Алекс, уже окончательно поверив, расстегнул сам.

– Ты видишь фуру?

– Замолчи. Расслабься. Я вижу столько всего...

– А я слышу...

– Молчи, пожалуйста.

– Молчу.

– И не двигайся.

– Дай мне руку. Пожалуйста, дай мне руку.

Она положила руку ему на рот, тыльной стороной, проведя теми самыми косточками в вырезанных на перчатке дырочках по губам. Брутальный жест, но, будучи абсолютно лишена садистских наклонностей в их чистом виде, сделала это настолько нежно и бережно, что он дернулся и застонал, не удержавшись.

– Не понимаю, как можно кончать от руки.

– Я кончаю от любого квадратного сантиметра любой твоей части.

- Я что, сфера?
- Ты гомотопична ей.
- Во мне есть дыры.
- И правда.
- Приехали, между прочим. Где твой Винструэль?
- Макс. Вон стоит, под фонарем. Подожди...

Она вдумчиво припарковалась – ей нравилась процедура парковки, и она признавала лишь этот термин – парковаться, никогда не говоря просто «встать», заглушила мотор, выключила все лампочки и, просторно потянувшись, вышла, не закрывая двери. Почти, как оказалось, голая, в неуловимого цвета платянце то ли школьницы, то ли проститутки, в босоножках из одной тесемки и одной полоски кожи, она стояла, опершись на дверь, и ждала, скосолапив ноги, пока Винструэль выйдет из светового круга, пересечет тень и окажется в зоне действия бликов на стеклах и капоте автомобиля. Тогда, захлопнув дверь, она сделала шаг навстречу, и, присев в пародийном книксене, протянула руку – низко, как для пожатия, но так безвольно свесив кисть, что Макс уже склонялся над ней.

– Ну, здравствуй!

– ...

– Перчатка! – мягко напомнила она, прекрасно зная, что Макс поцелует перчатку.

Почувствовав его губы, поняв, как он целует, она, не отнимая руки, задрала ему подбородок, затем все-таки высвободилась, поерошила остатки волос на темени и той же стороной перчатки, что только что лежала на руле, а до этого вовсе не на руле, медленно прошлась по его щеке.

– Веди нас в дом!

Она убивает меня, – подумал Алекс. – Она убьет нас всех.

В доме горел огонь. Старая печь, сложенная при той, проклятой власти, надежно, как клали для фаворитов-однодневок, была центром дома и вселенной. Запущенность дома еще не перешагнула той грани, за которой делается неприятно в нем находится, а здесь было интересно. Дальний и ближний планы, смещаясь при колебаниях центра горения в устье печи, предлагали: то лестницу на второй этаж или чердак, кто его знает; то книжные полки, казалось, заставленные драгоценными фолиантами, а может, совершенным фуфлом; то вешалку, полную длинных кожаных (брезентовых) плащей и шляп из соломы и фетра с меховой опушкой, с приникшими к плащам лаковыми офицерскими и резиновыми сапогами грибников и охотников. Туман проник в дом, и в тумане было окно, и в нем он видел нечто, имевшее отношение к ним троим, сидевшим, как он полагал, вокруг печи, сосредоточенно глядя на пламя. Что-то определенно важное и очень болезненное, возможно, впрочем, мирное и безвредное, просто необычайно острое...

– ...не верю в неудавшиеся самоубийства...

– ?.. Алекс вынырнул из своего заоконья.

– Алех умер, ты что, не слышал? Мы говорим об этом битый час, думая, что ты в трансе. Мы даже не привлекли тебя, видишь, к созданию стола, а можем не привлекать и к самому столу.

- Я не знал. И не слышал. Был в трансе. Это окно...
- Да, он выпал из окна. Откуда ты, если...
- Я о твоём окне.
- Я пока что ниоткуда не выпадал.

Стол оказался почти накрыт, можно даже сказать, сервирован. Хозяин внес в общий котел сам стол, хрустящую скатерть (в Заборье крахмалят скатерти?) и посуду – остальное привезли они. Будучи охоч до закупок съестного, Алекс, однако, был отправлен за спиртным, в то время как она, вытребовав себе ровно полчаса, выбирала закуски; поэтому смотрел на стол не без любопытства. Там уже стояли – бутылка полусухого игристого белого «Swann», полулитровая бутылка «Black Lable» и три четвертых литра очень хорошей водки «Евразия» – его выбор. Шампанское и водка – в какой-то шайке, засыпаны колотым льдом, она западала на всякие одноразовые штуки. Ее выбор: на огромных покоцанных, отдраенных до предреволюционного глянца тарелках гигантские копченые мидии, блестящая бастурма в мохнатой, словно пыльца ночной бабочки, коже, ярко-желтые водоросли, фиолетовый базилик, белесая сырная лапша «Джил», курица в серых орехах, очевидно, сациви...

Она ходила вокруг стола, что-то еще докладывая и доставляя, и ногти ее на запредельной белизне скатерти, передвигая нож или вилку, казались виноградадинами, насыщенными соками лета. Вдруг остановившись, резко – взметнулись волосы – повернулась к Макс и Алексу, волокущим по полу кресло стиля всех эпох и им, выпрямившимся и едва не защемившим от неожиданности пальцы ног, повторила: «Я не верю в неудавшиеся самоубийства. Все эти недорезанные вены, а затем звонки родным и близким, эти таблетки с последующими промываниями желудка...»

(...странный выбор. Как всё, что она делает, странный и естественный одновременно. Она же русская, несмотря на имя, к чему закос подо все восточи сразу? Сала бы, грибов, и без шампанского. А водки надо бы литр. Безнадежен, безнадежен...)

- Почему неудавшиеся? Алексу ведь удалось?
- Мы о другом, Алекс (Винструць). Мы о...
- Черт, наливай! Наливай давай!
- Помянем. Наливай.
- Вкусно! Заворачиваем вот так, здесь мажем, сюда веточку, здесь обрезать.
- Ладно, сделай мне.
- Как говорят гимны...
- А как говорят твои гимны?
- По-гимнийски.

(Алех лежит на тротуаре какой-то из улиц моего далекого города. Нет, я путаю, его, наверное, похоронили, и не на тротуаре он лежал, а вроде на газоне. Не спрашивать родственников-то теперь. То было не самоубийство, я знаю, просто сердечный приступ; на подоконнике. Однако от жизни ждать было нечего – никакого чуда, ничего.

И, хотя смерть не рассматривалась среди возможных вариантов продолжения жизни, но внутренне уже востребовалась.

Так что...

Нет, мне не жаль Алеха, не смерть печалит меня, а прошедшие пять лет, пустые, иные, нежели он заслужил. Слишком мало было в них чего-то подобного последней поездке к неизвестным мне друзьям в сомнительную мусульманскую столицу – с прогулками там по великодушным базарам да где-то еще, после которой он, собственно, и откинулся вчистую, чего тянуть.

Так что, глядя на печь в доме, будто сотканном из дымного воздуха желтеющих садов, я думаю, как сладко поступал Петроний, вскрывая вены в объятиях гречанки в своих термах, тоже из вечерней такой римской дымки, когда сырость и чернота подступают к сердцу, вот-вот уколуют, но нет, оно взяло да и уплыло...)

Макс почти пьян, но глаза смотрят умно и печально, невозможно уйти наверх, где постелено еще до первой рюмки, не обидев и не задев.

Она лежит в эпохальном кресле, сбросив босоножки, а ее ногти в отблесках догорающих языков напоминают монеты, политые кровью. Не мигая, уставилась на Макса, словно спрашивая о чем-то, вот только в глазах ответ, а не вопрос. Макс сопит, оборачивается к Алексу, но тот предельно серьезен, ковыряется вилкой в блюде с финиками.

– У тебя голубые глаза. Каждый раз я забываю об этом, потому что вижу тебя черной. Черной и гибкой, знаешь, как хлыст, которым бьют лошадей.

– Знаю. Но я не бью лошадей хлыстом. Это интеллигентные девочки бьют их хлыстом, а я бью раскрытой голой ладонью, и они это ценят.

– Добрым словом и пистолетом...

– Это и я знаю: сделаешь больше, нежели одним пистолетом, или одним добрым словом.

– А отчего у нас нет музыки?

– У нас есть. Дрова трещат. Полы скрипят.

– И всё же?

– Но Алех! Мы говорили о нем, не до музыки было, право?

– Алех спит. Иди сюда, я поцелую тебя, и ты поставишь музыку, вон та конструкция – музыка, правда?

Она, не меняя позы, поднимает губы, чуть разлепляет их и касается бритой щеки согнувшегося Макса.

– Когда я слушаю это...

– Что – это?

– Ветер. Ветер II. Ну, это модно сейчас, не хотел говорить... но когда я это слушаю, у меня болит сердце.

– И у меня болит, – признается Алекс. – Не от ветра, от всего.

– Может быть, вам обоим пора вызвать скорую?

– Пожалуй, вызови.

– Хорошо, я вызову две скорых. А кому вызвать медленную?

– Слушай, – сказал Алекс, – там в огне окно...

– Слушай, – сказал Алекс, – Макс.

– Слушай, – сказал Алекс...

– ...за что ты меня любишь?

– Я не люблю тебя, – сказала она, – как не люблю никого. Но непонятным мне образом ты – лучшее в моей жизни, и я не могу ни отдать, ни обменять тебя на что-либо другое в надежде, что я это полюблю.

Ветер, вызванный саксофоном внизу, стих, и слава Богу, он не любил музыки ни до, ни во время, ни после этого, слишком мало места внутри, чтобы принять еще и музыку. Лед, абсолютный нуль ее спины по Фаренгейту, прожигающий простыни, ее больше не оставалось, только глаза и соски, причем глаза увеличивались и занимали, черные, пол-лица, а груди, наоборот, уменьшались и смотрели, как бы она ни садилась и ни ложилась, в небо, она выворачивала его наизнанку, уводя в под- или надпространство, и там делала с его не самым, в общем, ловким телом нечто такое, отчего он заглядывал в мертвые воды и плыл в них, от родника к роднику, огненным фарватером, а она плакала, оттого, что он умирал, и смеялась, оттого, что он умирал в ней, воскресая от смерти к смерти...

...без сожаления.

Никогда, никогда.

Инга Абеле

ПАМЯТЬ ПТИЦЫ

Перевел Рюальд Добровенский

пригрозил мне!

*жизнью своей Скажи: мол, тебе мое сердце
носить!*

Раунс. Птах

С тобой тоже так, что каждое утро приходишь в себя, внутрь – снаружи, как будто ты зеркало для сгущения света? Иногда даже чудится, что я – светоносная оболочка вокруг своего же тела, тот легко развевающийся флаг теплоты, в тени которого прячутся мои мысли, мой запах и ощущения. Взгляд твой схватывает окружающий пейзаж, и тут же, повернув, поменяв все левое с правым, отсылает обратно в меня и становится мною.

С тобой тоже так – если нет настроения, каждый новый день остается вовне, он смотрит на тебя сквозь стекло, и если ум у него мелочный, завистливый и серый, ты становишься пасмурной, совсем как тарелка покойника на поминках, зато утром радостного дня ты сияешь, как золотая монетка, сотню лет пролежавшая на дне морском и вдруг вынесенная к береговой гальке? С тобой тоже так, что ты держишься на крыле единственно ради этого мира? Что ты дышишь только потому, что кто-то вздымает твою грудь, заставляя дышать? И перелетная птица принадлежит вовсе не себе, а высиженному в ней пути. День заволокло тучами, а тебе надо остаться ясным, крылья-то не твои. Не выдержать нельзя – и ты выдержишь.

Держись за воздух.

А новый день уже совершенно другой – как новая жизнь. Пока не грянет мгновенье, когда мир ухватится за оболочку твоего мира и свалится к своим же ногам, как только что отгремевшая гроза, открыв голые небеса, где уже ничто не происходит. С таких-то небес летится сила – способность держать свои дни не разрознив.

Ночи – дело другое, ночи не наши. Ночами нас топчут сны.

Посмотри в глаза себе, там – всё.

Вспоминаю детство, летние дни – пугающе огромных золотых птиц, планирующих в небесной сини и готовых клонуть. Эти безоблачные дни, все как один, с головы до пят золотые, утомляли меня, я игралась со своими ступнями и читала книжки. В комнате все замерло, занавески бездушно падают к полу вдоль окон. Кровли придавлены колеблющимся грузом солнца. Я хочу жить и бегу от книг в те самые двери, через которые зимою сбежал мой дедушка – немой и бездвижный сверток в узком дощатом ящике. Потом я видела его во сне, он хотел мне что-то сказать, но не мог вымолвить ни слова, муки его были нечеловеческими, и я проснулась от страха, мокрая, как загнанная лошадь. То было зимой, а летом от дома на дворовый песок падает непроглядно черная тень. Черная рама. Через босые ступни холод течет прямо в сердце – на теневой стороне земля как

лед, в ней тает всё, что не сказано. На солнце же всё вдруг становится белым. Белая, острая трава, белые, нежные листья вяза. Иду искать бабушку и нахожу в конце бесконечного картофельного поля. Близко-близко черно-красные борозды в глине, бабушкина тяпка вздымает в них крохотные пыльные вихри. В бороздках бабушкиной кожи – пот и песок. Пейзаж заключен, точно в раму, в ослепительный свет, я наклоняюсь к земле, поднимаю кусок глины, твердый как кость. Хочу разломить его, но не могу и вгрызаюсь в него зубами. Кус земли вбирает слабый отпечаток моего рта, глина пахнет материнским поцелуем.

Покуда ем землю, бабушка легла вздремнуть под яблоней. Она длинная, красивая и тяжелая, она спит в тени как белый слон с инкрустацией из драгоценных камней на попоне. Я вижу, пока она спит: части ее тела взламывают сухую глиняную корку, протягиваются глубоко в чернозем и сосут из земных глубин силу, точно корни – влагу. Потом она встанет, хмельная от силы, перебросив всю прожитую до того жизнь в новую, так белый платок набрасывают на черные волосы. Но это будет потом. День видит меня на минуту покинутой и клюет: на покрывале рядом с бабушкой я обнаруживаю птенца – некрасивое прозрачное существо с красной кожей, пронизанной синими жилками, с острыми зачатками крыльев, рудиментами глаз и широко разверстым клювом.

Птица, птах июня 1979 года, ты меня слышишь? Очень даже возможно, что никто другой, никто кроме меня не знает, что ты был. Только мы, два неудачника, выдающихся в своем роде. Я пыталась тебя накормить и согреть, но на другой день нашла мертвым. Ты спал на спинке, сжимая в кривых, желтых коготках пустоту. И точка. Нет, в тот день все лишь начиналось – я обломала ногти, кромсая земную кору, чтоб назло неуступчивой глине вырыть тебе могилу. Глина поддалась и разломилась, обнажив влажную сердцевину земли. Обнажив мой характер. Обнажив смерть. Твоя смерть была моим первым бунтом, птенец. Я бродила в лугах, ненавидя траву под ногами, плача и проклиная поседевшие одуванчиковые поля, я была точно злобный гном с красным, жутким лицом – малая, мычащая точка в зеленом равнодушии природы, впервые осознавшая свое бессилие.

Осознавшая миг, когда телесный жар жизни, как птенец, ударился о кристаллически ясную поверхность духа и свалился наземь с беспомощно распятыми крыльями.

На следующий день, когда я сидела на холме под шелестящими шелковыми березами, быстрая дрожь пробежала по всей широкой округе. Солнце, казалось, упало, как звезда. Я знала – когда падает звезда, нужно загадать желание. Я пожелала надежду, иначе не было для меня никакой возможности жить дальше, не потеряв гордость, – с душающим презрением к Тому, Кто Нас Так Мучительно Оставил. Это был всего лишь всплеск света, может быть, тень бегущего облака, может быть, просто обласкавший ресницы ветер, но я почувствовала себя иначе, вскочила на ноги, отряхнула с голени муравьев. Может быть, как раз тогда я решила: природа не дает ответов потому, что она – зеленый травяной ворс внутри нас. Потому что мы каждое утро приходим к себе снаружи. Быстрая судорога пробежала по округе, земля дрогнула – вся, со всем тем, что годами терпеливо несла на себе, со своими пригорками, деревьями и покосившимися деревенскими крышами, с полуразрушенными погребями и выющимися гортензиями, с

углублениями для мочки льна, подобными рысьим глазам, с сараями, хлевами, клетями, с развалинами баронских усадеб и пыльными станциями, с живым, жизнерадостным ветром и крохотной могилкой птенца за собачьей будкой, словно бы родинкой на щеке двора, с беспокойным движением переполненного соками Виеталвского бора на севере, с синей Даугавой в теплой подмышке востока и черной тенью Драудавской горки у горизонта, там словно через край кастрюли сбегало молоко белого света с юга, – это все дрогнуло, точно свалившись с небес, и я почувствовала себя иначе.

Потом-то все много раз сваливалось наземь. Человек – это бесконечное выныривание новым и другим во все новых мирах. Может быть, оттого эта странность – сперва смерть деда зимой, откуда память вынесла только холодное большое пространство и плач. И немного позднее – смерть птицы, о которой помню все до мелочей. Обе смерти разделяет тонкая полоска времени, но в дедовой смерти участвовали лишь мои слезы, сама я там словно бы пропала без вести. В смерти птицы я уже присутствовала. Откуда мы выныриваем и внезапно осознаем себя? И когда вынырнул, ты ясно видишь своих близких и все происходящее. Просто видишь, и тем самым наносишь первую боль. Дружба дружбой, но правда превыше всего? Что отдашь точке отсчета этой правды, а значит, и боли? Отношения с миром всегда более или менее торговля: они ему барахло, он им – искру. Она ему хлеб. Он ей меч. Только с Богом можно быть честным, Бог – фотообъектив души. Нет нужды притворяться, пускать в ход цветные фильтры, глядя на себя. Бог – не фильтр. Пусть все будет таким, как есть.

Но в тот вечер, когда схоронила тебя, я, не сказав ни слова, заперлась в своей комнате и взяла книгу. И погрузилась в другой мир с неясным чувством вины – в момент чтения я была *не здесь*, а не *плодилась и размножалась*, и это было моим очередным упрямством, Местью Тому, Кто Не Дал Тебе Прожить Жизнь, птенец.

Приступая к чтению текста, человек попадает в зону, где сам ответствен за себя. Случиться может всё, но случится ли? И если случится, что изменится? Книга всасывается в кровь медленно, как еда или яд, и, чтобы перемены не были болезненны, мозг выделяет анестезирующее вещество, что-то вроде морфия. Жизнь, та, что гонит тебя к смерти, безысходна. Если бы нашелся обходной путь, туда ринулись бы все. Книга – иллюзия запасного выхода. Мираж. Книга – маленькое такое спасение через отступ. Через подстрочное примечание. Когда на экране появляется странным образом знакомое слово КОНЕЦ, нам остается только милый мир, близкий, как собственное тело, разношенный и привычный, как своя рубаха, понятный, как собственная мысль. Это идет от Милды, маленькой, точно ребенок, иссохшей Милды, ведь это она сказала – может, *там* будет лучше? Мы все там будем. Все вместе. Как если бы мы все были членами ее тела, частями, которые надо собрать в одно тело. Как если бы мы были разорванные куски ее чувств и обрывки писем, которые надо наконец сложить в одну страницу одной книги – *мы все* – умершие и живые, предки и потомки. Может быть, величайший вызов Бога в этом грандиозном акте сотворения мира – не начало, а самый конец: сложить всё снова воедино? Мое уважение умножало то, что я видела в Милде – при полном сознании ожидая смерти, она об этом *думала*. И

вот к чему она пришла – доченька, когда буду умирать, ты меня потряси, пусть я проживу хоть одной минуточкой дольше!

Жаль, всё, о чем пишу, само по себе не существует. Выбор слов – настолько тонкое дело, что объяснить его почти невозможно. День отличается ото дня, как две разные жизни. Так же, как сумерки от залитого солнцем юга. Мы просто как-то договорились о словах, несущих примерно одну и ту же смысловую нагрузку. Воздух. Дерево. Ты, птенец. Перед тем, как быть названным, ТЫ был чем-то другим. А после того, как ты был назван по имени? Ум постигает сущее, и сущее становится видимым. *Cogito ergo sum*, думал Декарт, полагая этот тезис первым принципом философии и тем самым вплоть до кончиков волос погружая себя в жизнь и смерть. Разум – единственное обиталище времени. Ницше понял, что мир до его интерпретации не существует как *вещь в себе*. До называния по имени нет Декарта, Ницше, нет Канта, нет *вещи*, наступает молчание. Вчера, когда положила голову на подушку и закрыла глаза, мне вдруг почудилось, что нет ничего – и тебя нет, нет полей, лесов и дома. Нет лошадей и медлительных коров, нет небес и земли. Когда-то, в каком-то невообразимом начале я все это выдумала и лишь после этого родилась творить. И творила, начав думать об этом. Это время материализации такое же медленное, как время Вселенной. Сны мои зреют тысячелетьями и каждый раз снятся иначе. И в некий назначенный миг они сливаются с бесчисленными другими? И рождается мир.

Не боюсь сказать, что мира я не знаю, вернее, не знаю того мира, который возникает в разумных и неразумных отношениях и который мы зовем жизнью. У белого листа есть верх и низ, края и середина, я могу покрыть его буквами или рисунками, выстроить это всё по своему разумению. У белого дня нет ничего, кроме неизвестного будущего, которое наш ум жадно пожирает и перерабатывает в прошлое. Однако меня не на шутку беспокоит нескрываемая насильственность происходящего, когда интерпретация переваривает белый день, разум уминает, чавкая, незнаемую, молчаливую материю подобно тому, как белый человек, служа маммоне, истреблял неведомые расы с их неведомыми богами. Как я могу утверждать, что знаю мир? Ведь будущее вне разума. Невозможно назвать по имени то, чего еще не было. Невозможно изменить направленность падения, можно изменить лишь высоту, с какой падать.

Трепет перед лицом будущего – едва заметная, схожая с краткой музыкальной дрожь, сопровождающая тебя в танце, или когда ты говоришь с друзьями, смеешься. Или конвульсии, сгибающие тело в три дуги, как червя, когда понимаешь – ты тоже не исключение. Исключений не бывает и не было никогда. И это не утешение и не катастрофа, а факт: тебе надо уйти, чтобы дать место другим.

Может быть, самый настоящий ты – в крови, той, что изнутри освещает твою тьму, согревает твою ночь. В крови, пребывающей в движении, когда ты спишь, когда работаешь, отдыхаешь, в крови, которая была и тогда, когда тебя еще не было. Может быть, самый подлинный ты во сне, в том непостижимом, непонятном состоянии, когда у ребенка вздрагивают пальцы и под веками с бешеной скоростью вращаются глазные яблоки, когда он плачет, когда встрепенувшись просыпается, чтоб уставиться на тебя из космоса вернувшимся взглядом; когда ты видишь и осознаешь, что с тобой все так же – ночью подключенный к тонким антеннам, к мерцающим лунным проводам, убеждаешься, что ты не один, что

тебя видят. Вещие сны и пустые сны. Сны, которые находят тебя и говорят ясней ясного, но ты пробуждаешься и не можешь свести концы с концами; ты ищешь толкователей снов и пытаешься сам ухватить смысл увиденного – всё слишком лично, чтобы об этом возвещать во всеуслышание, это вне слов, ты рискуешь стать посмешищем, нельзя поделиться своими снами, так же, как своим телом – только временем, только лишь вместе проведенным временем, единственным богатством любых двоих, пришедших в мир.

В лоне матери человеческий эмбрион принимает все новые обличья – кто-то гасит историю человечества в его тельце и пишет заново. Медленно, но верно исчезает хвостовой придаток, полукружия бывших жабр. От крохотного малька до рыбы, до лягушки, до ящерицы, до обезьяны и через топкие воды, в светоносной рубашке – к дыханию, к свету. Только птицы нет в этой череде превращений, когда-то в седой, незапамятной и таинственной древности пути человека и птицы разошлись, ну не странно ли – бывшие жабры есть, но нет крыльев. Как это может быть? Но так оно и есть.

Птица остается в будущем, в бескрайних возможностях, преследующих тебя как людская судьба, а изредка – как милосердие Божье. У тебя были жабры, у тебя никогда не было крыльев, но в снах крылья есть – раскинутые. Ты видишь во сне крылатого коня и вдруг осознаешь, какими огромными им надо быть, ведь у птицы в костях воздух, птица и сама наполовину воздух, а у коня в костяке огонь, и какими громадными нужно быть крыльям, чтобы поднять к небу дышащего огнем коня – величиной в два пятиэтажных дома! У человека в костях вода. Вода – носитель мировой памяти, вода – носитель текучей речи. У человека в костяке вода: какими большими нужно быть крыльям, чтобы поднять его в небо?

Зачем миру нужна птица?

Зачем подниматься в небо? Там ничего нет. Над облаками пусто.

Чтобы менять высоту, отвечает птенец, ибо помнит – нельзя изменить направление падения, только высоту, с какой... Время и высота – вот два измерения расстояния ОТ НЕКОЕЙ ТОЧКИ.

Трепет перед будущим – если ты ягнец, обреченный на заклание, одна твоя часть войдет в состав человека, собаки, хищной чайки, когда выйдешь, тише воды, из красного глаза бойни; вторая твоя часть станет землей, травой, станет мухами или муравьями. У тебя отнимут глаза, и Бог себя больше не увидит. Каждому, кто присутствовал при чьей-то смерти, ясно, что душа выходит из тела – снизу вверх. Уход начинается от пяток и проходит через тело как дрожь, словно тень вытесняется через голову, и рот раскрыт, как пустые ворота, когда душа ушла. Душа горяча, она держится там, где жарко. Сердце и печень, и почки дышат жаром. Клубки кишок горячи до того, что можно обжечься. Как дымятся растерзанные косули с шеями, похожими на стебли кувшинок. Как дымятся кровь. Жар. Жар мысли рождает поэзию. Жар страсти порождает детей. Просто – быть.

Трепет перед будущим – сколь тонок тот слой, где мы способны выжить! Глубокая тьма океана и разреженный воздух вершин, а посередине человек, как бродячий костер, со своими тридцатью шестью и шестьюдесятью градусами по Цельсию. Человек теплится – теплая и бережная планета. Кислород – наше горючее. Индийские веды кислород именуют *праной* – жизненным духом. Каков твой словарный запас? Какова температура твоего мышления? Когда становится

чересчур жарко, у тебя всегда остается возможность вернуться, как эмбриону, обратно в животное – существо без слов. Тебе никого не надо спрашивать и никому отвечать. Без языка ты становишься теленком, птицей, рыбой. Ты ласкаешь, и это твоя ласка. Ты рожаешь, и это твоё дитя. Никому ничего не надо объяснять – это твоя жизнь. Но порой ты чувствуешь, что прожил свою жизнь, как умел, в отпущенное тебе время и в данных тебе обстоятельствах, и спасибо тебе за это, за твою смелость, жадность, за твою любовь, – но это, оказывается, не твоя жизнь, ты прожил нечто другое, ты попросту ратрачен, и так бывает. Будущее тебя освободит. Будучи заключенным в свое время, ты не имел никакой возможности сменить направление. Ты мог бы расправить крылья, если бы был птенцом, и взлететь выше. Но если ты человек, и твои пути когда-то в незапамятном прошлом разошлись с путями птицы, тогда у тебя нет крыльев, которые ты мог бы расправить. Единственная твоя возможность – раскрыть парашют своей мысли, расправить крылья своего языка и подняться выше. Топливо солнца – души умерших; это ложь, ибо смерти нет – это факт; есть только временной промежуток, когда ты резервист, когда твоя душа – чистый жар в самом центре солнца, а твой дух освобожден от тела и отлетел в ясность, во вневременье.

Весной вся комната полна застывшими мотыльками, ждущими солнца.

Я делаю мотылькам массаж. Самые маленькие из них почти прозрачны, каждая клетка сама по себе. Скелет – это родители мотылька. Прочее – уже они сами. Я делаю мотылькам массаж и чувствую каждое ступение на пути к будущему. Страх, сознание вины, сомнения – все оставляет свой след в твоём теле. Но не нужно думать, что это необратимо. Есть святые места, куда летишь с голыми крыльями и на скрещении дорог падаешь на колени, и там все можно сбросить. Тело – морской берег, который каждую осень меняет буря. Только не бойся быть ранимым, будь мотыльком, прошедшим сквозь зиму. Кожа – только кажимость, предохраняющая от боли. Да, и еще нервы, эти бледные цветы полноты. Нервы. Нет большего счастья. Быть живым. Участвовать. Нервы. Соприкосновение с миром. Быть пустым и наполниться болью. Быть свободным и наполниться счастьем. Быть зависимым. Быть тем парализованным, что лежит в сельской больничке, у него открывается уже только один глаз, он может лишь слабо пожать руку, которую ты неловко суешь в знак приветствия. Может, это лишь кажется, но он хотел еще что-то сказать, он лежит там, отгороженный своим телом, в плену своей бездвижности, возможно, он еще хотел бы сказать тебе что-то важное, ибо он человек, но ему осталось всего семь дней. Он отжил. Так бывает. И тогда ты понимаешь, что молчать нельзя, что тебе нужно сказать что-то и за него. Прокричать – и за него тоже. Трепет перед лицом будущего. Руки будущего пусты – небо, вневременье, неизменность, ясность.

Вспоминаю его похороны. Теперь я – его память, птенец.

Священник говорил с собою. Немного втянувший голову в плечи, спиной к покойнику, вполоборота к вдове и ветру. Он – рослый юноша, время еще не стерло с его щек пушок, какой бывает на оленьих пантах. Он в забрызганных грязью ботинках огромного размера, в платье из черной жесткой ткани, но поверх прозрачно-белое одеяние служителя Божия, делающее его невидимым.

Рядом лежит покойник. Это великая тайна, вырвалось у пастора, когда он говорил о Царствии Небесном. Еще он сказал – Бог есть свет, и от света иной

раз больно, как бывает с глазами человека, долго бывшего в темноте. Его голос совсем пропал, заглушенный неистовым щебетом скворцов в кладбищенских деревьях. Как крупные яблоки антрацита, скворцы качались в негустых волосах березы, непричастные к миру того языка, в который мысленно погрузился пастор, а с ним и души следующих за ним в поводу.

Турка, друг покойного, где-то на жизненном пути потерял ухо и полпальца. Обе потери как будто уже давно залечены, но темное отверстие в черепе кажется опасным, как открытая полынья, – человек без уха выглядит только что раненым. По пути на кладбище он помог вытащить из грязи машину. Колесо обдало его и погребальный венок черной жижей. Сын в красной полосатой рубахе оттирает отца снегом, в то время как тот смеется и радуется как дитя, гордо показывая всем заляпанную грязью грудь – во, во как меня Пича окатил! Во учудил! (Пича – так ведь звали покойного). У могилы Турка стоит молча, однако, привезенный обратно на двор ушедшего, взбунтовался. Вот он двор, вот дровяной сарай, мы его с ним вместе ставили, – к чему теперь это все? – он плачет и отказывается идти в дом на поминки. – Не выйдет мой Пича снова во двор, не потрясет кулаками, как всегда потрясал перед своими друзьями, не крикнет – держись, мужики! Эх-ма, жисть! – Турка поскользнулся на мокрой глине, плюнул в чью-то незримую рожу. – Тьфу!

Провожающие размесили кладбищенские дорожки в кашу. Там и сям в грязных колеях торчит кинутая машина. Пастора, пять девушек-хористок и синтезатор привезли на единственном джипе. Провожающие добирались сюда по серым покосам в резиновых сапогах. Рядом с могильной ямой лужа. Везде блестящие мочажины, грязь и снег. Повсюду вокруг живая, пробудившаяся вода, точно ледяной березовый сок. Только воздух теплый, как свернувшийся в коленях котенок, воздух полон розовыми, желтыми и фиолетовыми мгновеньями, влажными ветрами, болью прорастания. Двое соседей тракторами вытягивают застрявшие машины, как блёсна на шуку, по темным водам. Во вторник другие похороны, а до того сулят дождь. Во вторник никого не похоронишь, сюда не добраться, – если только не привезут тракторами и покойника, и провожающих.

Традиция трех горстей – алчно протянутые лопаты и то, что нужно бросить землю на ушедшего. Оставить ему свои прикосновения? После чего гробокопатели торопливо забрасывают песком могилу. Всегда они это делают в дикой спешке. Как муравьи, скопом, черпают, разбивают комья, швыряют, и выравнивают песок в темной яме, выхватывают сбоку от соседа, спереди, рядом с сапогами. Пока не рождается ровный холмик мокрого песка, пока цветы и венки не лягут сверху вдоль и поперек, крест в изголовье и свечи по краям, и все расходятся. Тишина.

Вдова медленно бросает розы между падающим песком в могилу. Свидимся в ином мире, говорит она. Розы падают. Песок. Спасибо за любовь, за всю жизнь, говорит она. Песок. Розы падают. Песок. Песок.

Он был слишком живым, голосистым и в полном сознании, когда уходил, потому я не верю в его смерть и все, происходившее на погосте. Переход был со скоростью света, не успела зафиксировать. Вижу фотографии. Мы все в то лето – снимки показывают счастье, которого в тот миг никто не ощущал. Что за счастье, жизнь как жизнь – сирень и солнце, картофельные борозды до горизонта, своими

руками поставленный дом, лично выбранная жена, собственноручно покормленные собаки, своими ногами исхоженный до нежного, зеленого бархата двор! Плакать о нем не дает даже чужим его таинственная улыбка в гробу – улыбка Моны Лизы – и крепко сжатая в руках иконка, белые четки. Путник, собранный в дорогу, но сам уже не присутствующий.

Тетки не хотят фотографироваться или рассматривать фотографии. Обсели комнату, как куры на насесте, и ну тараторить. Не хочу, не хочу, не желаю видеть эти дурацкие снимки! – восклицает одна, и все распускают шелковые крылья – кружевные, атласные, крепдешиновые – и наперебой: – Да кому они нужны! Он и не такой совсем! На тех снимках – незнамо кто! И в гробу его не узнать. Я вообще не согласна, чтоб в старости фотографировали! К чему это? Я их всех помню молодыми! – Будто в молодости скрывается правда, а в старости – ложь, мне подумалось. Но может быть, в молодости и на самом деле – правда? Душу обволакивает пластичный, прозрачный материал, не скрывающий суть. Идет жизнь и все перекрашивает – морщины, цисты, шрамы, падения, дети, споры, слезы, смех, зной, счастье, несчастья, любовь. Ничего больше не остается, лишь глаза, жизнь все остальное перетёрла. Снимки сохраняют обводы тела, отпечаток души – память? И всё же нет, одной памяти недостаточно. За снимками, за памятью, еще глубже, еще что-то.

Теперь на его кровати лежит его черный кот и смотрит на мир глазами, желтыми, как корень тайны.

Вдова выходит на дорогу с собакой, проводить. Воздух – пахучее ожиданье. Первые теплые дни. Пока природа не залечится настоящей зеленью, будет всего трудней. Жилы нальются, альвеолы переполнятся, вены и артерии, и мельчайшие капилляры, реки и канавы; листья вырвутся на волю, надо будет мыть окна, мести двор. Кто ей в нынешнем году вспашет землю? На одном краю неба всходит бело-золотой месяц, на втором красное солнце заходит в питанное влагой, темносинее поднебесье.

Могу ему рассказать. Теперь я – его память.

И я знаю, от чего мне больно больше всего. От того, что он не увидит этот вечер, вот от чего болит всего больше. Мне не хватает его глаз, они не видят этот вечер – и вечера словно нет. Жизнь, жистянка. Тонкая косичка, костистый хребет. Придорожный закат в день его похорон так красив после долгой, трудной зимы. Красив, как долгая жизнь, которую пьешь не напьешься, выпрашиваешь, вымаливаешь еще хоть один вечер, еще и еще один.

Он был всегда один у себя на дворе, нельзя было ему передать, предать свою думу. Бог был с другими. С проигравшими на пустых ипподромах. С теми, кто никогда больше ничего не скажет. С детьми, не умеющими говорить, только смотреть далекими глазами. С усталыми вдовами. С молчаливым монахами. С одержимыми в их проклятых судьбах. Теперь Бог с ним.

Человек есть свод сознаний в сложном теле, настолько влюбленный в это свое состояние, что боится быть чем-то другим. Приди, птенец, дай мне свои крылья! Но – когда ты мне даешь – я пугаюсь.

Самое трудное – стремительно подняться ввысь. Кажется, что ты уже высоко, но тут ты оказываешься еще выше, и высота снова и снова меняет точку зрения. Если нет времени привыкнуть к переменам, перемены убивают. С боль-

шой высоты лучше виден мир, ты увидишь, кому служишь. Не бойся, назови это своим именем – каждый кому-то, чему-то служит. Каждое сердце производит жизненную силу, и кто-то, что-то ее высасывает, – те громадные, незримые помпы из позапрошлого. Те, что существуют вечно. Те, которым нужно, чтоб были люди, те, кого еще шумеры называли богами. Искусство или знание, дети или страсть – что-то отнимает твою жизнь день за днем, удержать ее только для себя невозможно – отдай! Отдай кому не жалко! Когда смотришь с большой высоты, исчезают всякие мелкие *не мог, не хотел, не умел, не знал, опасался, боялся*, – остается лишь то, что сделано. Тени пропадают, остаются освещенные, открытые пространства. Сквозь трещины в облаках льющийся солнечный свет. Совсем немного. То, что свершил. Несделанное уже неважно, не имеет значения, не требует оправдания, его вовсе нету, остается лишь то, что есть.

Спустись пониже, зовет птица, у тебя нет птичьей памяти, ты разобьешься вдребезги! Есть у меня память птицы, есть! Ты моя птичья память, птенец.

Там, наверху, безжалостная красота.

И смертельная тишина.

Тишь.

Тело позволяет ее увидеть, но мешает принять, тело жаждет дыхания и болтовни. Выше небес нет воздуха. Вершины гор мерцают на солнце. Во все стороны – заснеженные горы, меж вершинами улеглось облако. Мы поднимаемся выше. Мы можем взять с собой свой жар. Мы оказались выше только благодаря этому жару. И так везде и всюду на Земле и вокруг Земли – страсти, которой хватает, чтобы продолжить род, слишком мало для искусства. Кто сказал это, не помню, но сказавший подтвердил закон тяготения. Бесконечный обзор, я хотела бы остаться внутри, но раствориться в белом свете, как в детстве в летнем зное. Они являются как белые световые тела и прикасаются ко мне. Они садятся мне на плечи и требуют вернуть свой пепел. Все гораздо ближе, чем я представляла. Я устала. Страшная тяжесть наваливается на меня и пронизывает тело. Знаю, что не могу предать тебя, птенец, но во мне страшная усталость. Пот течет под кожей. Очень трудно. Мир в белом всепроникающем свете, всё важно, каждая мелочь, каждое событие очерчено резким, сияюще-белым контуром. С приближением границ разреженного воздуха слабеет Божья рука – та, что вздымала мою грудь. Дальше не могу тебя проводить, если нет у тебя птичьей памяти, сказал Бог. Мне всё равно, откликнулось тело. Ум понимает, что *всё равно* – это начало конца, ничего хуже не бывает.

Самое лучшее – довериться. Не знаю, кто сотворил мир, не знаю, кто его погубит, но доверяюсь мировому порядку. Вешу не больше пылинки. Я всего лишь ворота, через которые непрерывно вливаются свет и тьма, через которые льется сознание, как вино в глотку пьяницы, я не могу удержать его в себе, мне нужно отдать, я земля с высаженным в ней виноградником, я око дракона, пожравшего солнце, я шлюзы, поверх которых плещет река, я ворота. Довериться – свято. Святость есть жар, перед которым застывает время. Бог – это тоже одно из слов, за столетия истоптанных нечистыми подошвами, но пусть тебя не раздражает неясность этого слова, птенец. Этим словом я обозначаю веянье, вздымающее мою грудь, то, которое подпирает твои крылья, которое живет в нас. Ибо там, на высоте, все становится зависимым не от мысли, а от тела. От того, что разду-

вает, как кузнечные меха, твои легкие, когда тебе уже всё равно. От того, что в тебе любит жизнь, когда ты уже ненавидишь. От того, что поддерживает тебя в сознании, когда ты уже готов сдаться. Ты понимаешь, что Бог обитает в мире, не в разреженном воздухе. И тогда ты целиком полагаешься на Бога и на того второго, что может быть одно и то же. И нет уже никакого сгущения, ты невесома, но есть мощное движение атомов, оно-то и рождает движение, влекущее ввысь, – есть только Бог и тот другой, может быть, никогда не было ничего другого, может быть, никогда не было твоего Я.

Когда солнце отразится в вершинах, ты отбросишь тень, птенец. После сна приходит жизнь и меняет высоту.гляди-ка, еще сон – повсюду звенят хрустальные колокольчики, ты держишься в расписной, дымящейся упряжи, мы мчимся, лихая тройка – тело жаждет дыхания, дух алчет ясности, душа рвется к солнцу, чтобы своим теплом оживить муравьев, и те медленно оттаивают во льдах, не имеющих своего тепла.

Владлен Дозорцев

ЧАСЫ ИДУТ, НО ВРЕМЕНА СТОЯТ

После распада

Здесь, в Лондоне, куда ни кинешь взгляд,
часы идут, но времена стоят.
Как и река: течет уже незримо.
Что видишь с кенсингтонского угла?
Что и отсель история ушла,
как некогда она ушла из Рима.

Теперь она обходит стороной
туманный город, правивший страной,
не только островной, но полусветом.
И слава Богу. Лучше местный эль,
чем кровь и хмель за тридевять земель
и обелиск над Темзою при этом.

Все позади. Разобран эшафот.
Потеряны Вест-Индия и флот.
Владычества искать – что ветра в поле.
Но для четы перемещенных лиц
нет ничего прекраснее столиц
плюс к вам перфектных метрополий.

Два-три кортежа. Минимум сирен.
Поскольку ты уже – не сюзерен,
послы все чаще пролетают мимо.
Таблоиды не надувают щек.
И чаевых тебе включают в счет
не больше, чем в амфитеатрах Рима.

Что характерно из простых примет:
не видишь армии. На тротуарах нет
всех тех, кому евфратилось и нилось.
Ни маршалов, ни генералов ВОВ.
И если не считать гранитных львов,
то тварь войны уже утомонилась.

Ну да, на Флит или на Бейкер-стрит
бывает, что гастрит ваш обострит
былая спесь, которой (не впервые)
посланник Тютчев оду посвятил,
воскликнув, что блажен, кто посетил
сей мир в его минуты роковые.

Я был блажен. Я знаю этот пыл
причастности к истории. Я пил
из этого ведра в былые лета
на баррикадах. Но сказав «блажен»,
я уточнил бы смысл, удвоив эн,
хотя словарь нам запрещает это.

Вид на море из дома слепых

Дятел в подкорку бьет, точно что-то передает
азбукой Морзе.
У азбуки Брайля – аллергия на пальцы: тронешь – и задымит.
В доме слепых смысл вида на море,
видимо, в том, что оно иногда шумит.

Тот, кто ослеп, но не тот, кто рожден незрячим,
видит по памяти. У звука есть форма, цвет.
Если мы не звучим, то мы ничего не значим.
Нас просто нет.

На проводах, идущих к слепому поселку,
как нотные знаки – две-три октавы галчат.
Но здесь не прочтут музыкальную фразу, поскольку
птицы молчат.

Нет северка – нет здесь ни моря, ни леса.
Не звенит о венец ведро – и колодца здесь нет. Почти.
Ничего. Даже знака из крашеного железа,
На котором – солнечные очки.

Польдер

Чем ближе море, тем темней песок
кладбищенский. В дождливую погоду
черней зонты, угрюмее лесок:
здесь уровень грунтовых вод высок,
и умерших здесь опускают в воду.

Пока обшитый гроб идет на дно,
все смотрят вниз. Смущенно. И не плачут.
Как в сговоре: все здесь, все заодно,
все совиновны в этой смерти. Но
как бы концы, конечно, в воду прячут.

Вода, конечно, та, из той Реки.
Но не она страшит молчальцев сходки.
Весь ужас в том, что смерти вопреки
наверх живые рвутся пузырьки
дыхания из затонувшей лодки.
Представь, как там внутри водоворот
вникает в полы серенького твида,
берет зачес, черты лица берет...
И ты, как он, сжимаешь бледный рот,
панически задерживая выдох.

И потому – ни слов про вечный сон,
про пух земли, про то, что было общим.
И если с моря пароходный стон
доносится, то кажется, что он –
не по усопшим стон, а по утопшим.
Здесь, в польдере, пропитанном всегда
текучим химикатом цвета ртути,
поймешь, что не земля, а лишь вода
все растворит. И что земля тогда –
есть лишь вода, сгущенная до сути.

Памяти парома

Как давно мы с тобою утратили жабры,
чешую, плавники и хвосты,
мы узнаем на дне, где лежат дирижабли
кораблей. Их глазницы пусты.

Посмотри в океан с высоты такелажа.
Где мы мечем икру от любви?
Там, где вышли на отмель – на лежбище пляжа.
Там, где стали людьми.

Только бусы твои из кораллов Кариба
да спины электрический нерв
говорят, что когда-то, как рыба, как рыба,
ты ходила меж крабов и нерп.

Опоздай. Оступись каблуком на причале.
Потеряйся в людском косяке.
Неужели не слышишь смертельной печали
в этом долгом прощальном гудке?

Неужели не видишь, что тело парома
провожает Господь, а не я?
Но звучит на пароме твоём «Ла Палома»
(«О, голубка моя...»)

Nota bene

С ноля часов откроется отстрел –
охота на чирков, гусей и уток.
Пока хранитель твой не долетел,
не выходи из дома. Кроме шуток.

Не начинай точить карандаши.
Не затевай лирического вздора.
Поскольку ангелу твоей души
сегодня лучше огибать озера

и мыслимые площади болот:
при недостатке перелетной дичи
его к тебе спасительный полет
охотники вполне сочтут за птичий.

Версия

Нет никаких планет. И нет, конечно, звезд.
А то, что видит глаз зрителя ночного,
есть дырки от гвоздей, пробивших небосвод
туда, откуда – свет и ничего иного.

И если астроном и смотрит сквозь стекло
на вогнутый дуршлаг с мерцающей просечкой,
то чтобы нанести надмирное светло
на карту бытия, закапанную свечкой.

И странно только то, что этих дырок сор
то образует ковш, то крест, то профиль Овна.
Как будто Дырокол так шифровал узор,
чтоб даже астроном не прочитал дословно.

Форштадт

Выход «в свет» совершается в темень, в полночь.
Это не выход в жизни. Но ты идешь.
При одиночестве это – скорая помощь.
Ты уже не один: ты и дождь.

Дождь, как и «свет» – в десяти кварталах от центра –
что здесь, что в Париже, куда забредал и ты.
Помнишь любительницу абсента.
Помнишь бодлеровские цветы.

Но забываешь: где-то здесь было гетто.
Тара халуп – все та же – вагонка, хлам.
Разве что в этом брутто другое нетто
шарится по углам.

Что ты не один – можно узнать по мату.
Значит, свои. Сбывают из-под пальто.
Съемная кукла залупает губную помаду,
высадившись из авто.

Можешь спросить что-нибудь у нее на идиш.
Примет за немца. Ответит на пальцах: ten.
Идиш остался там, где его не видишь –
под штукатуркой стен.

Деньги здесь держат тоже в носке ботинка.
Запах крутки с поправкой на никотин.
Рига – такая вмазанная блондинка!
Но все равно вас двое. Ты не один!

Локоть имеет смысл, если взять, до боли.
Слово что-нибудь значит, попав в ответ.
О, как тоскуешь об уличном мордобое,
если совсем никого.
Никого нет.

Если бы кто пошел за тобой по лужам,
вынул бы нож, засадил бы с оттяжкой в бок –
знал бы ты: хоть кому-то все же ты нужен,
голубок.

Вместо буриме

На песке, отшарканном от снега,
веткой нацарапано эссе:
«Я б хотела умереть от смеха.
Но умру, наверное, как все».

Детский почерк. Воткнутая ветка.
Как перо в чернильнице души.
Словно эта мыслящая детка
предлагает: хочешь – допиши.

Я бы тоже, детка, я бы тоже.
Жизнь смешна – животик надорвешь.
Каждый день, ее абсурд итожа,
хрипнешь. Но от смеха не умрешь.

Этот клекот, кашель, припаданье,
эти слезы честные из глаз...

Смех – он то же рвотное рыданье,
душеизвержение из нас.

Вот оно, как спазмы, убывает.
Ты затихнешь, смыслом смущена.
Если что всерьез и убивает,
то за взрывом смеха – тишина.

Мертвый сезон

Расставим стулья так, как при большой уборке
закрытого уже приморского кафе.
Последний алконавт, как тот моряк у Лорки,
уходит по кривой, куда уходят все.

Пора и нам домой из временного улья.
Но дом на одного жильца. И потому
уловка помогать сдвигать столы и стулья
есть повод лишний час побыть не одному.

Тем более – сентябрь. И если ночь бессонна,
ты слышишь молотки отчетливей всего.
А это значит, жить до мертвого сезона
с забитыми кафе осталось – ничего.

Я не умею жить один. С приходом ночи
меня смущает скрип в небесном колесе.
Но если не постичь науку одиночества,
то как нам уходить, куда уходят все?

Я говорю себе: осваивай потери,
благодари болезнь, благослови беду.
В умолкнувшем звонке, в задернутой портъере
не больше пустоты, чем в жизни на виду.

Наука отвыкать тем тяжелей, чем ближе
тот возраст, за каким забвенье на кону.
Лишь потому никто полковнику не пишет,
что все-таки он сам не пишет никому.

И если почтальон заедет ненароком
в твой одинокий дом в прибрежной полосе,
оставь ему листок, прикношенный к воротам
о том, что все ушли, куда уходят все.



Сергей Тимофеев

КОМНАТА

Истины

Я хочу рассказать тебе простые истины,
Открыть тебе важные вещи.
Всегда открывай двери, входи в лифты,
Поднимайся на этажи, проходи по коридорам.
Всегда садись в машины, заводи двигатель,
Если зима, подожди, пока он прогреется.
Всегда трать деньги, но понемногу
И только изредка трать все, что под рукой.
Летом будет лето, осенью будет осень,
Не тушуйся, не делай ничего, отчего тебе тошно.
Девочки станут девушками, а потом ты заметишь
Их, переходящих улицу за руку с малышами.
Мужчины будут хмуро прикидывать возможности,
А потом действовать по обстановке и часто ошибаться.
Правительства созданы, чтобы падать,
Корабли — чтобы проплывать под мостами.
Но тем не менее огни на том берегу реки,
Никогда, представь себе, никогда не погаснут.
А если они все-таки прекратятся, собери сумку,
Не бери лишнего и покинь город как можно скорее.
Приедешь в новое место, осмотришься, прислонись к дереву,
Можешь закурить, если куришь, постоять, подумать.
Видишь, и здесь пьют вечером чай, а по утрам кофе,
Ругают мэра, ждут перемен к лучшему.
А если есть река, и на той стороне видны огни —
Значит, есть за что зацепиться.

Случай с куклами

Я вижу 25 тысяч дефектных китайских кукол,
Сыплющихся, как динамичный горох, с нескольких
Поездов, перехваченных ими на границе. Они
Занимают кафе, рынки и супермаркеты. А потом
Выставляют на улицах полевые кухни и начинают
Выдавать варено из пластмассовых пакетов и генно-
Модифицированной сои. Наши войска в замешательстве,
Куклам невозможно нанести урон: разрубленный на части
Отдельный противник сразу становится несколькими

Цельми куклами, обрстая необходимой пластмассовой плотью
За секунды. Простреленные они только отлетают на пару метров
И поднимаются снова. В них не обнаружено никаких органов
Жизнедеятельности. НАТОвские войска быстрого реагирования,
Прибывшие достаточно скоро, по приказу своего командования
Лишь занимают позиции по границам страны, изолируя ее
Как своеобразную заражённую зону. Захваченную их спецназом
Пару кукол срочно перебрасывают самолетом в секретную лабораторию
Под Мюнхеном, где после множества срочных экспериментов
Выясняется: куклы безразличны к радиации, их выводит из строя
Только жара в районе +150–200 градусов Цельсия. Понятно, что такая
Огненная атмосфера заодно выжжет и всё живое вокруг. Тем временем
В захваченной стране куклы вводят жестокий режим — по всем каналам
Транслируются только кукольные черно-белые мультфильмы 60-х,
То же самое в кинотеатрах, театрах, клубах и другого рода
Общественных местах. Они идут без звука в сопровождении
Стилизованных иероглифов в зеркальном отображении. Закрыты
Все кузницы и котельни, общественные бани и другие места с
Высокой температурой. Начинается голод, цены на продукты,
Доставляемые из-под полы — фантастичны, ноябрьские холода
И проливные дожди делают жизнь невыносимой. Но все дороги
Перекрыты жестокими низкорослыми патрулями. Они безразличны
К холодам и в их маленьких черных глазах-пуговках читается только
Одно — равнодушное презрение. Нация на грани гибели, национальный
Комитет спасения, прячущийся в болотах севера, выпускает приказы,
Призывы и воззвания к странам-союзницам по НАТО и к мировому
Сообществу. Но ситуация полностью непрогнозируема, и мировые
Лидеры занимают выжидательную позицию. Кукольные фильмы
И иероглифы, кукольные фильмы и иероглифы. И патрули на всех
Мало-мальски проходимых дорогах. Что сделаешь в такой ситуации
Ты, поклонник Уолта Диснея и невоспитанного волка в штанах в цветную
Полоску, как докажешь, что ты — мужчина и защитник? Мозг работает
Лихорадочно, но пока ни одной подходящей идеи. Ты рисуешь синих
Зайцев и жёлтых лисичек, зелёные ёлки, фиолетовые облака на штукатурке
И бетоне спальных районов. Разбрасываешь размноженные на цветном
Принтере изображения Розовой пантеры. Но однажды ты видишь
Выходящую из дверей многоэтажки вереницу людей с печками-буржуйками,
Поставленными на обычные садовые тачки. Именно туда безжалостно
Запихивают кукол. Весть о новом оружии разлетается мгновенно, сметены
Все оставшиеся магазины домотехники и каминов. Партии печек сбрасываются
С самолётов и вертолётов ВВС НАТО. Выстроившиеся длинными рядами люди
Прочёсывают свои районы и двигаются дальше — до победного конца. Через каждые
Пару человек — тачка с передвижной печкой. Лица у всех покрыты пластмассовой
Копотью и счастливы. К Рождеству в стране в принципе всё окончено, войска НАТО
И остатки национальной армии входят в страну и интернируют последнюю пару
Сотен обезумевших дефектных кукол. Правительство КНР заверяет весь мир, что

Не имеет отношения к печальному инциденту. Тем не менее импорт пластмассовых Изделий резко ограничен. Снова входят в моду тряпичные и шерстяные куклы. Люди празднуют Рождество. «Чему научила вас эта история?» — спрашивают их Корреспонденты Би-Би-Си и Эль Джазира. «Она научила нас делиться теплом И поддерживать огонь», — отвечают они. Все местные расовые и национальные Конфликты забыты, начинается расцвет ремёсел и экологического мышления. Однако, поезда в стране теперь оборудованы системой управляемого Самовозгорания и поэтому, не пользуясь популярностью, мчат по путям Пустые, с тускло подсвеченными окнами.

Пятая полка

«Я решил перейти на детективы,
Потому что нет справедливости в этом мире!»
Так сказал он всем в районной библиотеке,
Протягивая читательский билет, слегка потёртый.
«Хорошо», — сказала библиотекарша,
Откладывая чашку с чаем и бутерброд.
«Как хотите! Пятая полка справа. Рядом
С портретом Бернарда Шоу». Мужчина
Глянул на всех победителем и удалился
С плащом, перекинутым через руку.
Пожилая женщина с сумкой в клеточку
Посмотрела ему в спину и покачала головой.
Библиотекарша снова придвинула к себе
Чашку и бутерброд. Кончался 2010-й.

Куда выведет кривая

В 1985 они записали свой первый альбом
В дешевой студии в Иллинойсе. Их было
Четверо, знали друг друга еще со школы.
Гитарист работал на заправке, барабанщик
Изучал акупунктуру, басист шатался по своей
Комнате с бутылкой пива в руке, а фронтмэн,
Гарри разносил почту и зачитывался историями
О двадцатиметровых пришельцах с синими лицами.
Их группа называлась «Шлёпанцы». А альбом они
Назвали «Шарк-Шарк-Шарк» и на обложку его поставили
Большую надувную акулу с надвинутыми на пасть
Солнечными очками. Целых полгода они добивались
Возможности выступить в самом престижном заведении
Своего городка — музыкальном баре «28 дул». Но в тот
Вечер басист не пришёл. Через пару дней остальные узнали,
Что он перебрался в проект под названием «Имперский
Нокдаун», чей сингл «Кривая, косая» в этом месяце

Пробился в топ-100 университетских радиостанций.
А тогда, вместо концерта, они выпили половину всего алкоголя в баре,
Так по, крайней мере, им казалось, и чуть ли не до драки
Поругались с менеджером заведения, оравшим, что
«Эти шлёпанцы задрипанные, только гляньте, дырявое никчёмное барахло!»
Через десять лет их альбом стал культовым среди подростков
В растянутых свитерах и высоких ботинках, через двадцать
Половина баров в их городке называлась в честь той или иной
Их песни. Но в ту ночь и утро за ним они перессорились
Окончательно и никогда больше не играли вместе,
Даже не выпивали друг с другом и при встречах
Переходили на другую сторону улицы.

Afrobeat

Сидим в колониальном доме,
Потому что жара.
Перечитываем ворох скопившихся газет,
Потому что жара.
Ты юная африканская богиня,
Я веселый опытный плантатор,
Чьи грузы постоянно топят немецкие рейдеры,
Раз за разом (заразы).
Пьем воду с лимоном и со льдом,
Потому что жара.
Из большого стеклянного кувшина,
Потому что жара.
Ты ходишь, обернутая в кусок красной ткани,
Я сижу в шортах и майке
И поглядываю на тебя из-за газеты,
А ты просто качаешь ногой, сидя в кресле.
На письма неохота отвечать,
Потому что жара.
Пусть они лежат и желтеют,
Потому что жара.
И только твоя кожа прохладна,
Прохладна она, ну и ладно.
И только твоя кожа прохладна,
Прохладна она, ну и ладно. . .

Вася

Иди, иди, сонный Вася,
Ловить приключения
Вдоль соломинки со льдом,
Вдоль холодной речки.

Лови, лови, сонный Вася,
Темную воду каналов,
Забитые стоки смыслов,
Всплывшие обертки от гамбургеров.
Носи, носи, сонный Вася,
Пустую кобуру от ТТ,
Коробку печенья «Тет-а-тет»,
Пояс мастера карате.
Уйди, уйди, сонный Вася,
Никому ты не нужен, проточная
Wasser в ванне дивной виллы,
На дне сонной кинематографической
Непристойности, покрытой
Литературным мылом. Скажи что-то
По-русски, Вася. Скажи «масло»,
«колбаса», «ласка», «яйца»,
«девушка, в вашу влюблен походку».
Все твои слова скосит шмайсер,
Как незабудки, в твою пилотку.

•

Когда девочки с улицы Чака
Вдруг пропали, вдруг исчезли,
Вдруг затерялись в бесчисленных съемных
Квартирах в столетних, пахнущих сыростью
Домах Москачки и других предместий,
Люди лишились бесплатного зрелища —
Возможности лицезреть из окон любого
Вида транспорта, их, фланирующих вечерами
На перекрестках, торгующих телом и временем,
Которые могли разделить с любим, у кого было
Достаточно наличных. Почему они выбрали именно
Эту улицу? Потому ли, что названная в честь Александра
Чака, она как-то связывалась с его текстами о легкомысленных
Барышнях и их неловких поклонниках? Вряд ли. Может быть,
Потому что именно эта улица отделяет фешенебельный центр
От районов, примыкающих к вокзалу и всегда пользовавшихся
Несколько мутноватой славой. Там, где большие 5-комнатные
Квартиры с протекающими батареями отопления и старыми разболтанными
Шкафами снимались компаниями молодых любителей ганджи,
Компьютерных мочиловок и выведенных до предела басов. Все
Они, слегка такие бледноватые, в серо-черно-коричневых вещах,
С проколотыми ушами и парочкой тату на хребте и локтях,
Казалось готовили какую-то секретную революцию, которая
Произошла так незаметно, так подпольно, так запредельно,

Что они рассеялись без следа. Может быть, каждый из них
Взял под руку по одной девушке с полноватыми ногами в чулках
В темно-синюю «сеточку», с выкрашенными плохой краской
Волосами, стоптавшей не одну пару красных лакированных туфель
По улице Чака, и они двинулись, двинулись куда-то, где
Их встретил сам поэт, среднего роста, с головой выбритой под
Электрическую лампочку, в круглых очках, без особых примет,
Склонен к философствованию, автор нескольких сборников,
Название одного из которых переводится порой на русский как
«Затронутые вечностью», а мне кажется, можно просто — «Тронутые
вечностью». Или траченные моментом. Я не имею в виду клей.

Инструкция № 4

Не теряй надежду, она плохо ориентируется,
Может, оставь какие-то координаты, прилепи
Жвачку к знаку с кирпичом, нашепчи свой номер
Телефона тонконогой собачонке, отчаянно храброй
И недоверчивой. Купи что-нибудь, потрать
Что-нибудь, заставь двигаться огни светофора.

В конце 2010 – начале 2011 года Латвийское Общество русской культуры совместно с редакцией и редколлегией «Рижского альманаха» провели конкурс молодых и/или малоизвестных авторов на право публикации на страницах нашего издания. Решением конкурсной комиссии 1-е и 2-е места поделены между Светланой Топуновой и Еленой Соковениной. Работы Анжелики Игнаце, Натальи Волковой и Дмитрия Смирнова отмечены дипломами – в благодарность за участие и как поощрение литературных опытов.

Е. Соковенина окончила искусствоведческое отделение Лицея им. Пушкина в Риге (1994), затем – филфак ЛГУ. Печаталась в лицейском журнале «АРС», в рижских журналах «Люблю!», «360 градусов», „EVA&ADAM” и др. В июне 2010 года по подписке читателей был напечатан роман «Пять баксов для доктора Брауна».

С. Топунова – выпускница Лицея им. Пушкина в Риге (2010). Публиковалась в лицейском журнале «АРС». Учится на первом курсе факультета прикладной русской филологии Государственного Института русского языка им. Пушкина в Москве.

АНТЕКСТАВАНТЕКСТАВАНТЕКСТАВАН конкурс, in memoriam

«ГЛУШЕНКОВСКИЙ САМОГОН», in memoriam.
Публикация А. Лебедева, С. Пичугина и Б. Равдина

В. Глушенков (1948–2009) – художник и поэт, блистательный рисовальщик, один из «малых духов» Задвинья. Сценограф, журнальный художник, мастер перформанса. Например: 28 марта 2004 года Глушенков прополз по земле от гостиницы «Турист» (отель Maritim Park) к дому-музею Ояра Вацietиса, прочитав при этом несколько его стихотворений в собственных переводах. Открывая глушенковскую выставку 2009 года, Борис Равдин сказал: «Я живу в сегодняшнем дне, а Глушенков живет во всех временах, в которых захочет. Я хожу по земле, а Глушенков... Хочет – ходит по земле, хочет – ползет по ней ползком, хочет – летает над землей. Я долго учусь у Глушенкова умению летать. Пока – не получается. Но я уже научился махать руками», – и помахал руками... В публикацию включен рассказ-воспоминание А. Герасимова о Владимире Глушенкове.



И
О
А
И
В
А
С
И
И
В
Ь
Е
В
И
Ч
Г
О
Г
О
Л
Ь

БАНЯ

Я же, оказывается, помню баню! Не ту баню, с березовыми вениками, с полками, благоухающими теплой древесиной и шведским травяным экстрактом, а другую.

То есть, конечно, веники там были. В темноте и без воздуха страшные старухи хлестали друг друга мокрыми листьями. Листья липли к развалившимся задницам. Ниже на полках застенчиво сидели рубенсовские женщины в косынках и вязаных шапках. Стоять на полу было нельзя от жара, ступать на решетки, как велено, было противно. Мне, четырех- или пятилетней, тогда казалось, что если я когда-нибудь умру и все-таки попаду в ад, то вот таким он и будет. Вести себя хорошо, чтобы этого не случилось, было никак невозможно. Значит, решено. Одна надежда была: бога нет, значит, ада тоже.

За чавкающей, низкой дверью было чистилище. Там, на каменных скамьях, раскаленных непрерывно льющимся кипятком (вас когда-нибудь пытались усадить на такую голым задом?), на скамьях из мелкой, обращенной в гладкий монолит, речной гальки, исходили пеной, отплевывались, шпарили соседей, ни на секунду не прекращая сражаться за место.

Чугунные краны, синий и красный, были огромны, и мне жаль, что их теперь никак не выложить в сообщество. Под ними каменная площадка, на которой, если вы человек везучий, можно охладить ноги и попить.

В мокром сером тумане находились души. И если вам сейчас показалось, что в этой фразе два смысла, – то да, так и есть.

Чистилище.

Выбраться в преддверие ада было нельзя. Нет, можно, но на несколько секунд, пока не догонят. Глотнуть воздуха (от этого в чистилище потом было еще хуже). Там мутная голая лампочка освещала шкафчики заборного зеленого цвета. В верхней части шкафчиков дыры, куда, если встать ногами на скользкую скамейку, можно сунуть палец. Банщица – тоже рубенсовская, выдавала дверную ручку, которой эти шкафы открывались. В щель скамейки было видно лужи на бутристом каменном полу.

Прозрачные целлулоидные пупсы с крышечкой в виде идиотского цилиндра улыбались и качали желтым, как моча, шампунем. Запах я не помню, но его, мерзкий, испарили везде.

В черном-черном коридоре стояла очередь с мрачными лицами и тазами, мешавшими вам спускаться по полуразвалившейся лестнице. Это была почти отвесная лестница, но браться за перила запрещалось: то там, то сям их не было. Были разорванные чугунные прутья.

Очередь тянулась до самой гулкой арки во дворе на улице Тургенева. По этой улице звенел трамвай. Стояла аптека с успокоительного вида витриной. Целился в перевернутый ботинок нарисованный молоток с кривыми концами: вывеска "Ремонт обуви" была еще на русском, грязного зеленого цвета. Набойки

у ботинка, впрочем, были красными. На углу, ближе к рынку, который, говорят, построили на месте ангаров, был магазин со сладостями.

А дальше, наискосок через перекресток от набережной, как раз там, где всегда было страшно переходить из-за движения, – прекрасное здание, кремовое, с волнистым, как крем на торте, верхом: пожарная часть.

Райка Гольдфрид как-то принесла из бани вшей.

На неделю о бане можно было забыть. С той, другой стороны, по которой я ходила в школу, была когда-то мельница. Сырая желтая штукатурка. В провалах окон – черные рухнувшие балки. Из непокрытого верха трепетала березка. Так вот, прямо перед мельницей был другой вход в эту же баню. Без всяких лестниц, с длинным коридором. Двери – штук пять, может быть, больше. Это номера. Честное слово, номера, так и говорили! Номер состоял из предбанника, где стоял стул и торчала носатая вешалка, и кафельной комнаты с чугунной ванной. По-моему, один или два были на одно лицо, остальные «семейные». Может быть, были еще какие-то.

Я была там один раз, долго допытывалась, почему нельзя ходить сюда всегда. Отвечали невнятно.

А, еще дом. Тот самый дом, к которому нужно переходить от мельницы и серых развалин на самом углу, через брусчатую мостовую, за аптеку, вдоль высящегося здания с барельефами и черным (горело) жестяным этажом, переходящим в крышу. Сыплющаяся, побуревшая красная краска. Да, конечно, чердак. С трухой между перекладин вместо пола. С огромным замком, который следовало навешивать, и ключом, в который можно было свистеть. Ключ висел на ленточке с национальным латышским узором, за дверью на кухне, брать его за прещалось, поэтому я вам ничего не говорила.

Вниз, все-таки. На ту улицу, что недолго бежала до старой набережной с сиренью и валунами на берегу. Под валунами... тьфу, опять унесло.

Так вот, дом. Я тогда не знала, что мой дом, точнее, два дома, спявшихся намертво в одно здание, называется югенд. На синей выпуклой табличке: 5, ул. Пушкина. На кругой белой жестянке: 1905. Тяжелая, как надгробие, дверь парадного. Гулкий хлопок, сырая тишина и запах из подвала. Темно. Десять ступенек, еще одно надгробие, полегче, железный топот, – и маленький двор-колодец, крошечный. Сарай, поленницы и первый этаж, из которого за вами шпионят: мама просила. Пахнет котами. Дрожат по углам толстые пауки.

Там было можно пробраться и влезть на плоские крыши какого-то, что ли, мебельного, завода. С этих крыш был виден весь мир.

Светлана Топунова

СТИХИ

•

Я микроб.
Паразит.
Я поэт.
Душа хрустит.
Я ребро.
Всем назло.
Я гангрена.
Менингит.
Полчаса – голова болит.
Я дыра.
Плешь в мечте.
И не думай обо мне.

•

моя бабушка молится на кабельное
телевидение
а мне –
где взять
богов и икон

•

головокружение
передо мной
события кружили людей
а люди кружились в событиях
я крепко сжимала сумку
в ней
макароны
и люди
кружили
вальсы событий
и ехали фуры
и летели
фурии
и мне было
тошно и страшно

подтелел
старик
 со слюной
в бороде
и стал хвататься
за мою сигарету
и вальсы событий продолжали ныть
и мне захотелось его ударить
или
хотя бы
его умыть

•

вы уродуете
своих детей
забываете
обещанное
 и мычите
 у телевизора

вы пьете
по пятницам
и не звоните
родителям
 даже
 и не знаю
почему
 вы должны
мне нравиться

•

Не сидится, не плачется,
И дышать не хочется.
Тишиной пустота надо мной расхохочется.
Как убийца, крадется сюда одиночество.
Мне убрать бы иглы с души,
Да привыкла, что колется.

•

зачем ты живешь?
– за шкафом.
тебе хорошо?
– сыровато.

наверное, грустно?

– слегка так.

к соседям заходишь?

– ну, было когда-то.

зачем ты живешь?

– за твоим, дура, шкафом!

МАЛАЯ ПРОЗА

•

Монах был черный, Достоевский рыжий, у Гишпиус были красные щеки и парик под старость, у Цветаевой – сумка через плечо, у Маяковского – желтая кофта, Булгаков смотрел сквозь монокль, Есенин – в валенках, Хлебников терял свои стихи, Ахматова ходила в рваном халате, Чехов был женат на лошади, Гоголь не был в восторге от Лермонтова, а Лермонтов по сто раз редактировал «Демона», а Замятин умер в Париже, почти как Тургенев, только тот у Виардо под забором, Герцен все не мог понять «Кто виноват?», в то время как Чернышевский думал о том, «Что делать?».

•

Сегодня я балуюсь с куклой, завтра с мамиными туфлями, потом пишу свой голос на кассету. Всё это слушать вынужден Гоголь. А к рассвету просыпаюсь и бегу баловаться с вами. Зимой балуюсь с желаньями, летом с жизнью.

Нет, не только летом. Сколько живу, столько и балуюсь с жизнью. Потому что мне всегда казалось, что я – больше жизни.

ГЛУШЕНКОВСКИЙ САМОГОН

Жил-был Владимир Глушенков

С тех пор, как ушел В. Г., художник, поэт и автор собственной судьбы, прошел год с лишним. Перед тем, как уйти, В. Г. лежал в больнице. Там ему не понравилось. Вернулся домой, бродил по комнатам, прислушивался, смотрел в окно на свое Задвинье/Пардаугаву. Но ни читать, ни писать, ни рисовать не хотелось ни в первый день, ни во второй, ни в третий. И всякое питье казалось горьким или приторным. Зима, декабрь, даже задвинских птиц не подсвистать. А что ж тут тогда делать, если не читать, не рисовать, не писать, если всякое питье кажется горьким или приторным, если даже птиц не подсвистать.

В. Г. оставил много работ, живописных, графических, поэтических. Еще бы, ведь ни дня без двух точек и запятой; и так не меньше лет сорока из наброска в шестьдесят с небольшим. Работы Глушенкова хранятся в Латвийском Художественном музее, что-то висит на стенах у друзей и подруг в разных частях света, экспонировалось на выставках, представлено в газетах и журналах, в энциклопедиях, посвященных театру и искусству (лат. яз). Дома, на антресолях, картины в рамках, на подрамниках, свернутые в увеличительную трубку. Рисунки, наброски, эскизы. Много начатого, брошенного, незавершенного. Стоит ли завершать, если работа уже просвечивает сквозь холст, сквозь бумагу, сквозь время.

В доме – шкаф, на шкафу – чемодан, в чемодане – листы А4, сложенные надвое по высоте, или конторские тетради. На листах строчки стихов рукою В. Г., почти без правки, как только кончается стихотворение, зрим: день, месяц, год и характерная подпись-монограмма.

Зачем В. Г. подписывал свои стихи, зачем останавливал время? Склонность к орнаментализму? А если так, скажем: вернется В. Г. к строчке, картине через год-другой, сравнит дни, посмотрит, что изменилось там (в картине, стихе) за истекшее время.

Стихи, как и картины Глушенкова, на ощупь слуха и взгляда – черновик. Причина? Как будто, мы уже говорили о незавершенности его работ. Добавим, незавершенность как прием? Как магический прием? Как завязь цветка? Как распутившийся гвоздь?

Пустые строчки соседствуют с залежами, сквозь очевидную банальность проглядывает универсальность. Изысканность или вычурность? Игра в палиндром вскрывает звуковую опору слова? Возраст автора? А сколько дадите? Сколько ни дадите – всегда угадаете! Кто в чтимых поэтах? Строчки, выполненные в архаической манере, говорят ли об ориентации автора на архаику? Грубость, как это часто случается, скрывает чувствительность, доходящую до сентиментальности? Тогда – Маяковский, что ли? Хлебниковская стихия? Чак? А куда деть ужатый репертуар строфики, размера? А нарушение ритма, пренебрежение рифмой – тоже прием? Ни на один из этих и подобных вопросов В. Г.

не стал бы отвечать. Или в очередной раз ответил бы стихом, картиной, своею, выражаясь высокопарно, набело прожитой жизнью. Серия: жизнь в искусстве. Опус № В. Г.

•

Ниже строки, обломки строк В. Г., т.е. – извлечения (не путать с одно-строками) из его стихов. В. Г. знал о таком способе обращения с его стихами, не возражал.

Дойдет ли дело до публикации собственно стихов, не только строк? Хотелось бы. Для этого нужно придти в дом В. Г., снять со шкафа чемодан, открыть крышку.

•

Строчки В. Г. отобрал и подготовил к печати Анатолий Лебедев.
Редакция Сергея Пичугина и Бориса Равдина.

Б. Р.

ВЛАДИМИР ГЛУШЕНКОВ

Сто строк с прицепом

1. Ярость в небо вбила гвоздь.
2. Дикорастущий крик души...
3. Уходя – коснитесь солнца!
4. Я стар, я хищную, я – выстрел вслепую.
5. Хочешь – время отстегну, будем пить!
6. Копытца печатных машинок маршруты пробьют без ошибок.
7. ...отвислую челюсть ронял воротник.
8. Слова неверные стучат мечами.
9. Ноябрь. Деревья ветру хлопают в ладоши.
10. У ладошек черствая листва.
11. В Перу доили пчелки клевера вокруг ступеней пирамиды.
12. Лето, млеют сенокосы, рососою окропляя вечер.
13. Время варит в котле мякоть твою.
14. Август залезал в сентябрь. Дождик капал. Чернело в туче серебро.
15. Я из детства лопуховый лист.
16. Муха, любимица полета, не соблюдает тишину.
17. И я там был, и ветер дул...

18. Во мне гнездо дурных привычек.
19. Луна пришта к небу перламутровой пуговкой нижнего белья.
20. Люблю по памяти вытаптывать Мадрид, плескаться и бросать фонтанные песеты.
21. Милетский стиль – сосуды и портреты осьминогов.
22. Входило солнце циркулярною пилою.
23. Я веком опрокинут... стынет совесть, белеет кость, чернеет пропасть, сюжет захлопывает пасть.
24. Согнуло шпагу ремесло.
25. Голова лежит на блюде – я заснул в тарелке овощей.
26. Наивно зло, добро – безумно.
27. Умру – я два крыла сложу на плаху.
28. Я погружен в себя – в девицу погружусь я завтра!
29. Школьный дым по туалетам – мечтал я стать легкоатлетом, а влюбился в рыжую (все жуют, и я жую).
30. Она – паренье пьяного орла, застенчиво я тру ее колени.
31. И бредит почками весна – святого лета одуванчик.
32. Клубком совьются на покос стеклянны крылышки стрекоз.
33. Закат мутнел от крови с молоком.
34. Себя по шляпку завинчу в пространство.
35. Весной оглох я – шумно лезли травы.
36. Стук сердец в толпе – что град по шерсти.
37. Я стар, ружье мое старо – патронов ржавых полное ведро...
38. Взяв строку – перекрещусь!
39. И черточками черта: бум-бум-бум – стучит аорта.
40. Метели кровь бела.
41. Ненужное желе обид дрожит.
42. Где смерти папуас чернеет.
43. Бьется птичка-сердце: просится и пробует крыло.
44. Рифмы полные, худые: слово съедено с костями.
45. Я – самозванец, я – Владимир, плыву поленом по реке, переворачивались льдинами мои надежды вдалеке.
46. Я такое, которое облаком есть!
47. Я слышу роста хруст в траве.
48. Царь, пропитанный чернью.
49. Осень: лист падает, как в оркестровую яму.
50. Пустое время запасаю впрок – язык чернеет горькой шоколадкой.
51. Он подошел, а что она? Варила дым из топора!

52. На глубину вершин пишу роман в халате одиноком.
53. Осмелев, потрогай травы – голос их...
54. Манит бесстрашие воров; бить в лоб – и воевать домами.
55. Я старый, я хромой – ржавею крышею.
56. Мое лицо – лицо измятой телеграммы.
57. Шепелявит тень хромая – осторожно бьется оземь – мчатся за город трамваи.
58. Вот я вернусь убитым – назавтра и до срока – смотрите, как дымится голова!
59. И ведьма не спорит – белей потолка!
60. Запутан узор Задвинья – сирени сгорели...
61. Молчание изобрази, мольберт поднебесья!
62. Усталых дев огромный мир еще не заселен.
63. Вы обнаженная лежите – крылами голуби укроют! Амур тайком пощипывает лиру...
64. Задвинье – штопоры чудес, волшебный берег междометий, гремит разобраным роялем.
65. Что-то давно не тоскливо. Может, душа огрубела?
66. Глотает пуля воздух.
67. Станут старше возрастом брёвна.
68. Одуреваю, гвоздем ржавею: дорогая, я в тебе, а ты во мне – нагая, и не в своем уме...
69. И маленькие птички воздух мнут.
70. Лист ржавел щекою на морозе.
71. Бисквит – застенчивый фарфор.
72. Сутуля плечи, тени пляшут на стене.
73. Книги врут, писцы их мрут – но неба движутся объемы!
74. Обидчив я – непроходим...
75. Залпом «Авроры» вхожу в Эрмитаж.
76. Не надо переправ – родниться не с кем.
77. Полезен кашель серебра – и хохот золота полезен.
78. Полнолуние бежало по реке.
79. Не хороши, не свежи были рожи – календарей шагреньевые кожи!
80. Выстрелы в кобуре – гибнут слова во мне.
81. На четвереньках по полу ползет грядущее.
82. Коридоры сузим хлопаньем дверей.
83. Забулькает аквариум утра трамваем.
84. Скрип лодки – осенний звон пустых уключин...

85. Кашель в шарф мой прячется на шее.
86. Мой стих в ночи белеет крышей.
87. Мы, как деревья, уходим в спички и на дрова.
88. Вечность: здесь стихи не пробегали?
89. Топотом букв строка бежала...
90. Туман. Молочное светло. Блаженный водоем зеркал!
91. Я мерил шаг, проглатывая угол. Мой циркуль ног скрипел.
92. Коленопрклоненной тенью ошупывал тебя Везувий.
93. Я стар, ружье в моих руках старо – но я цепляюсь намертво за землю – буду драться!
94. С извилин снят был головной убор.
95. Люблю безумные глаза лохматых чернокнижников.
96. Я наивен, ты наивна – неостриженная плоть...
97. Мне слова – не по карману...
98. Луна сияла вороненым блеском сабли.
99. В небо закат прорастал пожаром, собаки луну кусали за ребро.
100. Ну обними меня, обман, в бессмысленной кровати!
101. Небо – рыб божественного клёва.
102. Хожу рассеянно, на травы волком воя.
103. Позволяю себе умереть!
104. Лупит по моей душе тапёр – кульминаций бешеные клавиши.
105. Хвостом разинутый павлин.
106. Арфистки серебром доили небо...
107. Чернеет парк ветвей венозных – чугунно студят ветры слёзы.
108. Мыши свинцовые кабели тихо жуют.
109. Дождями август хорошо упитан.
110. По законам справедливости – съем я печень канибала.
111. Звук догорает, сорвавшись в ущелье роаяля.
112. Грозною кажется лошадь, когда упирает копытом брусчатку.
113. Я ложью пахну: солнышко вращается в мёд, небо в белых тучах чахнет.
114. Как много в музеях прилежных хреновин!
115. Торчали строк оглобли: строка теряет птиц прозрачностью страниц.
116. Флаги родины – тёплой крови!
117. Строчки вывих: якоря заброшены в небо.
118. Я макаю в закаты безумий топор.
119. Листопад – во весь опор. На кровать могилы дай молитву положить.
120. Я вор судьбы – и я прошу не хлеба!

121. Шелест многих губ у аквариума звезд.
122. Не подадут руки усохшие века.
123. У затылка дня взведён курок.
124. Ты воскреснешь, лет считая переломы...
125. Глупо вышло: расстались с сухими губами.
126. Зацветает окном, в подоконник вцепившись, герань.
127. Пляшут головы на блюде.
128. Солнце подросло – секунд щепотка стала толще.
129. Здесь строка не пробегала, но вечность изредка проходит.
130. Детство, сданное под ключ.
131. Теплота трамвайных рельс.
132. Струны тронуты – полуголые пляшут октавы.
133. Сердобольный шнурок с ключом мне на шею повесит детство...
134. Вы разговаривали телом.
135. Башни тучи рвут на тряпки.
136. Скрипом стула зуб шатался.
137. Музыка! Полыхает ямой оркестр.
138. Гуляли башенно слоны.
139. Лезла из штольни хохота – гогота вышь.
140. Рост поэзии моей распластан в пламени.
141. Дружок по школе мог быть рыжим, но он был лыс, душа его икала.
142. Зачем щипать кусты бород? Давай обнимемся пространством!
143. Сгорело будущее в прошлом.
144. Язык во рту – алхимик в колбе.
145. Надежд горбатых караваны, соленый вкус глубокой раны.
146. Петля судьбы – пустые ножны.
147. Захлопни небеса – сквозит!
148. Ржавел закат – я время пью в вечерней жажде.
149. Орут вороны на заборе – моль тихо разрушает плед.
150. Будем воздух есть сырой – и слезу ронять икрой.
151. Я голосом в пыли – я лени целовал колени.
152. Шар земной на бис в который раз вращался.
153. Я в теле, вроде как в тюрьме.
154. Поздние трамваи грохочут копытами.
155. Я безумно целовал свои ошибки.
156. (Хармсу) Я слова загибаю в бивни – память лыса у слонов.
157. Колесо стучит о рельсы – в висок!

158. Застыл в недоуменье застекленный взгляд в очках.
159. Весна – любви копировальная машина: все юные растения снова обязательно в цвету!
160. Срастаемся в любви мы, будучи обыденно обнажены – не трогая ни вечности, ни мига...
161. Я ведь корабль – почешемся днищами!
162. Нежным побегом тела спина декольтирует Вас...
163. Береза вслух роняла сок, переходя от капельки – на шёпот...
164. Встаю не с той реки – открыты окна настужь!
165. Птички, свив розовое нежное гнездо, в нём теплые снесли яички.
166. Натирайте флаги ветром!
167. Ваш милый шаг – в мои печали шёпот...
168. Болели ветки в черном небе – над невменяемой рекой.

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИМОВ

•

Я с Владимиром Глушенковым общался всего-то раза три и очень коротко, поверхностно.

Познакомились мы в одной из галерей, на открытии выставки. Рядом с моим тогдашним редактором – Катериной Борщевой, ныне тоже покойной, стоял маленький худой мужичок в усах, очках, бороде и шляпе. Я знал, что его зовут Глушенков Владимир, что он поэт и художник, по каким-то публикациям с его фотопортретами я его уже знал. С его работами я не был знаком, но мне их многие разбирающиеся люди хвалили.

Глушенков и Катерина пили красное вино. Я тоже взял бокал и подошел к ним – знакомиться с ярким представителем старшего поколения рижской «культурной среды».

Вместо ответа на мое приветствие Владимир Глушенков спросил, указывая на мое лицо: «Это, случайно, не я тебе залепил?»

А я-то уже совсем забыл, что у меня под левым глазом – четырехдневный бланш. Уже рассасывался потихоньку. Где я получил эту медаль, неважно, но Глушенкову почудилось, что мы с ним – давние приятели-собутельники, и мой синяк якобы мог быть его креатурой.

Я ответил ему: «Вряд ли...»

•

Второй раз мы с ним встретились, когда я поехал с Катериной Борщевой в Задвинье – к Олегу Золотову. Катерина собиралась издавать книжку стихов Олега и несколько раз ездила к нему для решения вопросов. Да и денег она ему подбрасывала, называя это «авансами». (Золотову, кажется, очень импони-

рвало, что все происходит «по-взрослому» – переговоры с издателем, авансы и тэпэ). А меня она брала с собой в качестве эскорта, потому что побаивалась заходить одна в стремный двор, где в старом флигеле своих знакомых Золотов жил, пущенный туда из милости.

И вот в первый же наш визит мы застали в гостях у Золотова Глушенкова. Оба были совершенно трезвы. Глушенков пил чай, не сняв шляпы.

Мой нос был исцарапан – веткой, что ли, где-то хлестнуло, и Глушенков, хитро мне подмигнув, спросил: «Это не я тебе, а?!»

Я ответил: «Вряд ли...»

Мы все покурили, попили чай. Золотов почитал вслух свои новые стихи, которые он писал карандашом прямо на старых обоях, которые свисали лоскутами со стен флигеля.

Среди стихов красовался и карандашный рисунок – очень хороший, мастерский – городской пейзаж: кривые чахлые деревца, трущобные развалины, проваливающийся тротуар.

Глушенков сказал: «А это – мой пейзажик! Три лата...»

Катерина, ни слова не говоря, выложила на стол три монеты. Художник отодрал со стены кусок обоев с рисунком. Катерина уложила рисунок в папку. И мы почти сразу ушли.

•

В третий раз я увидел Глушенкова на литературном мероприятии, которое проводилось под патронажем некой общественной организации. Мероприятие было довольно унылым и, собираясь на него, я предполагал, что оно, скорей всего, будет довольно унылым, но пошел, как жожу на все подобные мероприятия – в надежде встретить, наконец, родственные души.

Выступали авторы, читали свои стихи, а в соседней комнате был даже накрыт стол.

Уже поняв, что родственной души мне здесь не найти, я присматривался к поэтессам: может, сердце мое ёкнет?! Не ёкало чего-то сердце, и я стал тупо ждть фуршета...

Под самый конец в дверь протиснулся не кто иной как Глушенков. Его неизменная шляпа съехала на затылок. И он явно где-то уже хорошо принял! Сел на подоконник – окно было открыто, на улице зеленели деревья, чирикали воробьи. Послушал с ухмылкой нескольких чтецов. Почесался, зевнул. Достал из кармана сложенную пополам потрепанную школьную тетрадь, тонкую. Безапелляционно изрек, обращаясь к публике: «Я уже понял, что все вы – чуждые мне духовно и эстетически люди! Да и все это ваше так называемое творчество – глубоко мне чуждо!»

Сообщив это немного растерявшимся коллегам, он раскрыл тетрадь и начал, пьяненько раскачиваясь на подоконнике, читать свои стихи. Стало бо-язно – не грохнулся бы он из окна! К сожалению, я не запомнил ни одной его строчки. Помню только, что они имели странную особенность: когда казалось, что очередная строка уже ритмически и смыслово завершилась и ожидалась за ней уж следующая, у строки вдруг отрастал маленький забавный «хвостик», аля-

поватый, но милый. Как будто бы, например, читал бы вам кто-нибудь нечто подобное:

Я вас любил, любовь еще, быть может, *(а в чем проблема?)*
 в моей душе угадала не совсем, *(вот, прилипла зараза!)*
 но пусть она вас больше не тревожит, *(спи спокойно, моя дорогая)*
 я не хочу печалить вас ничем. *(пойду-ка, что ли, пивком себя побалую)*
 Вот, в таком, примерно, духе и были все прочитанные Глушенковым стихи. Мы даже заслушались!

А потом явился патрон мероприятия (и спонсор фуршета), председатель общественной организации. И впился грозным взглядом в Глушенкова. Автор осекся, спрятал тетрадь и заметался по помещению. Подбежал к окну – выглянул – высокогато, пятый этаж. Председатель молча сделал несколько шагов к Глушенкову, который, извернувшись, проскользнул вдоль по стеночке и вышмыгнул за дверь.

Некоторые стали возмущаться: «Ну, зачем вы так! Поэты ведь разные нужны!»

Председатель стал взволнованно объяснять: «А мне все равно, какой он поэт, я не оцениваю никого! Он мне мероприятия срывает!»

Вобщем, мы поняли, что у Глушенкова с этим господином какой-то стародавний конфликт тлеет.

И больше я Владимира Глушенкова никогда не видел. Слышал только, что он устраивает перформанс «Чакстилице»: в восемь утра он собрался ползти по-пластунски от своего жилища до мемориального дома-музея Ояра Вацietиса, а это вроде бы – несколько километров. Своего рода – театрализованный аскетический подвиг.

Я, может, и пошел бы на это смотреть, но лень было рано вставать. И многие бы пошли, если б, допустим, – в восемь вечера!

Но Глушенков, наверное, специально назначил перформанс на утро: чтоб пришли только самые преданные искусству зрители, а не праздные зеваки!

И кто-то все-таки пришел! Кажется, Борис Равдин, еще кто-то...

А вскоре я узнал, – случайно, из некролога в газете: я ведь ни с кем из этой среды тесно не общался, – что Владимир Глушенков умер. У него была репутация «городского сумасшедшего», но профессионалы знали его как поэта, графика, живописца и сценографа.

•

Примечание. Четыре живописных работы Владимира Глушенкова были представлены на выставке, о которой говорится в заметке А. Герасимова «Ars ad marginem», стр. 30.

Юрий Калешук. ЗЕЛЕНЬЙ ЛУЧ, рассказы

162

Ю. Калешук (1939) окончил филологический факультет Латвийского университета. Выпустил несколько книг документальной прозы, среди них – повесть «Предполагаем жить», роман «Непрочитанные письма». Лауреат премии Союза Журналистов СССР, а также Пушкинской премии за вклад в историю русской словесности. Живет в Москве.

Клавдия Ротманова. РЕМИЗ, рассказы, стихи

173

К. Ротманова (1949) – поэт, автор эссе и сказок для взрослых. В годы Перестройки сотрудничала в газете Народного Фронта Латвии «Атмода»\«Балтийское время», затем в даугавпилсской газете «Латгалес лайкс». С 1993 года живет в Дюссельдорфе. В 2002 году там издан ее сборник стихов «Силуэты судьбы». Рассказы и эссе опубликованы в альманахах «Edita», «Бременские страницы» (Германия), стихи – в альманахе «Связь времен» (2009, Сан-Хосе, США).

ТЕРТЕКСТИНТЕРТЕКСТИНТЕРТЕКСТИ

гостиная, из архивов

ИЗ АРХИВА «ДАУГАВЫ»

От редакции: из «архива» не потому, что эти произведения устарели. В редакции журнала «Даугава», как у любого периодического издания, имелся «портфель», и туда складывались самые разные работы. Иные просто дожидались своей очереди быть опубликованными; для обнародования других редакция надеялась «вытянуть» из авторов новейшие, лучшие вещи, чтобы они – вместе с прежними или без них – заблестали на страницах журнала во всем великолепии... И вдруг этот обычный «портфель» в одночасье превратился в «архив»: «Даугава» была вынуждена прекратить свое существование за отсутствием средств на издание. Это случилось в 2007 году; и с тех пор писатели и поэты, публицисты и переводчики, исследователи истории и культуры, искусства и литературы Латвии живут надеждой на воскрешение издания. Пока же – ссылаемся на «архив».

В публикацию включены тексты Игоря Трохачевского, Алексея Герасимова и Евгении Богуславской.

Игорь Трохачевский. ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ, рассказ

176

«Родился в 69-м году прошлого века, – сообщает о себе автор. – В столице Латвийской республики. В 2000-м году закончил Литературный институт. Работал кочегаром, сторожем, монтером на железной дороге... [...] Считаю, что известность в наше время – не показатель выдающихся качеств. Скорее – наоборот.»

Алексей Герасимов. ПУТЕШЕСТВЕННИК, рассказ

178

А. Герасимов (1969) – прозаик, поэт, переводчик. Публиковался в «Рижском альманахе», в журналах «Даугава», «Дружба народов» и др. латвийских и российских изданиях. Пишет драматические произведения, участвует в театральных представлениях, сочиняет и показывает литературные перформансы.

Евгения Богуславская. ИМПРОВИЗАЦИЯ, стихи

182

Е. Богуславская публиковалась в журнале «Даугава», в газете «Железнодорожник Латвии». Образование музыкальное.

ТЕРТЕКСТИНТЕРТЕКСТИНТЕРТЕКСТИ
гостиная, из архивов

ПОЭТЫ ДАУГАВПИЛСА

Фаина Осина. НАДЕЖДЫ НА ВЕТРУ, стихи

187

Закончила филфак Уссурийского государственного педагогического института. В Латвии – с 1976 года. Соредактор сборника «Dzejas dienas» («Дни поэзии»), создатель и редактор «Провинциального альманаха HRONOS». Автор поэтических книг «Когда зачерствеют будни твои» (2000), «Дека» (2003), «На фарфоровом лепестке» (2007) и др., книги переводов латгальских авторов «Лучи по зеркалам». В 2005 году ей присвоено звание почетной даугавпилчанки.

Татьяна Чехольская. ВЫХОД ВСЕГДА В ТУПИКЕ, стихи

190

Родилась в городе Котлас Архангельской области. Окончила художественное училище в Бобруйске по специальности «живописец по фарфору». Публиковалась в периодической печати, в сборнике «Dzejas dienas», журнале «Невгин».

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ

Зеленый луч

Откуда взялся этот майор, никто из нас так и не понял.

Только что мы вчетвером мило сидели за уютным столиком открытого кафе на батумской набережной, как появился, а точнее, возник, материализовался из влажного воздуха человек в ладно сидящей форме пехотного майора – и вот уже он ловко заворачивает в лаваш сулугуни, добавляет два перышка кинзы и разлапистую ветку рехана, наливает вино, балагурит, все делая одновременно, да так естественно, словно мы выросли в одном дворе и никогда не расставались.

Но мы только что встретились – на это, возможно, и рассчитывал майор: сперва трое из нас решили, что он – знакомый Нодара, а Нодар подумал, что майор – из нашей компании, просто приотстал немного. Когда все прояснилось, было уже поздно: без участия майора мы не могли выпить глоток вина – тост, сказать слово – комментарий, ступить шаг – пространная краеведческая справка. Говорил майор почти безостановочно, и если задался целью не дать нам перемотвиться и полусловом, то преуспел в этом.

Да что я все время о нем и о нем! Пора и о нас.

Во-первых, Нодар. Он тоже был в военной форме, только другого рода войск, и звездочка на погонах у него была, как у майора, одна, но поменьше, и форма сидела мешковато, однако маскарадным костюмом не выглядела: 40-летний писатель Нодар Думбадзе проходил военные сборы в Батумском погранотряде.

Теперь мы трое: Бригитта, переводчица из Берлина; Мадлена, редактор одного из московских издательств; мое присутствие было почти что случайным – лишь в качестве родственника, что ли, издательского редактора. Еще два дня назад мы с Мадленой безмятежно загорали в Пицунде, покупали у рыбаков мелкую кефаль и жарили ее на маленьком костерке из плавника, но Мадлена решила, что непременно должна позвонить на работу: как там идут дела? – у многих из нас была в те годы такая отвратительная привычка; трубку взяла начальница и обрадованно затараторила: в Москву прилетела немецкая переводчица Нодара, ее нужно встретить в Тбилиси и свести с Думбадзе в Батуми – всего-то и хлопот, Малечка, вы же меня не подведете...

Бригитта была настроена решительно и деловито – перед нею лежал толстый блокнот-вопросник с разноцветными закладками; Нодар поглядывал на него с почтительным ужасом и по-своему был рад многословию майора, но того достало вино, и он был вынужден временно покинуть нас. Бригитта открыла блокнот, потом скользнула глазами по погонам Нодара и спросила, конечно, о том, о чем нельзя было не спросить:

– Почему вы в военной форме?

– Собираю материал для романа об армейских буднях, – без запинки ответил Думбадзе, но при этом озорно улыбнулся, словно давая понять: не только в романе дело.

Бригитта тут же спросила:

– Может, у вас неприятности с властями? Из-за «Нианги»?

Она неплохо подготовилась к поездке, эта длинноногая глазастая немка, подумал я: знала, что Нодар Думбадзе не только известный писатель – он еще и главный редактор сатирического журнала «Нианги», а люди, понятное дело, любят посмеяться над другими и не любят, когда смеются над ними: возможно, это единственное свойство, делающее чиновников похожими на нас с вами.

– Что вы! – весело возразил Нодар. – Какие могут быть неприятности? Мы же просто шутим!

– Разные бывают шутки, – резонно заметила Бригитта.

– Конечно, – легко согласился Нодар. – Мы, к примеру, в последнем номере напечатали такую шутку. Нет, сначала информацию дали – она по всем местным газетам прошла: из тбилисского зоопарка сбежали львы, но беспокоиться не надо – львов уже поймали. А мы дали маленький комментарий: хорошо, что сбежали львы; вот если бы сбежали обезьяны – было бы куда хуже.

– Хуже? Почему?

– Кто бы их поймал? Их же от нас отличить невозможно!

– Обезьян? От нас?

– Самые лучшие обезьяны – в Сухумском зоопарке, – авторитетно заявил вернувшийся майор. – Вы там бывали, Мадлена? Да? А вы, коллега? – спросил он у меня.

Я забыл сказать, что свое появление в нашей компании майор легендировал заданием окружной газеты: дескать, ей срочно потребовалось интервью с Нодаром Думбадзе, а он, майор, творчество Нодара Владимировича знает как никто другой в редакции. Последнее, судя по некоторым его репликам было похоже на правду, однако журналист из него был такой же, как из меня Штирлиц.

– Мы немедленно отправляемся в Сухуми! – безапелляционно заявил майор. – Здесь есть быстроходные катера – я договорюсь!

– Не надо ни о чем договариваться! – отчеканила Бригитта. – У нас работа! Вы готовы, Нодар?

– Конечно, – обреченно вздохнул Думбадзе.

– Как переводчика меня беспокоит вот что. В ваших романах много местных слов и словечек. Я понимаю: они придают особый колорит. Но и вы меня поймите: в этом особая трудность перевода. Конечно, я могла бы сохранить все, как есть, давая сноски-пояснения. Но наш читатель сносок не любит, они замедляют процесс чтения. Необходим какой-то эквивалент. Я надеюсь найти его вместе с вами...

– Вы читали «Трех мушкетеров», Бригитта? – неожиданно спросил Думбадзе.

Та недоуменно пожала плечами.

– А вы, Мадлена?

– Это к Юре. Он Дюма до сих пор перечитывает.

– Я тоже! – воскликнул Нодар. И спросил меня: – Помните главку

«Обед у прокурора Кокнара»? Помните, как писцы прокурора пьют вино?

– Отпивают полстакана – доливают воды, отпивают еще полстакана – и опять доливают воды...

– Что же они пьют в конце обеда?

– Воду в стаканах из-под вина.

– Вот именно! Вы поняли, Бригитта?

Та снова недоуменно повела плечами.

– Вы только не обижайтесь, пожалуйста. В моих романах действуют люди из разных уголков Грузии. Для вас все они – грузины, а для меня – мингрелы, гурийцы, абхазы, кахетинцы, сваны. Все они по-разному говорят, я это слышу и стараюсь передать так, как слышу. Зураб Ахвледиани – именно он перевел и переводит мои вещи на русский – мастер своего дела, но воспроизвести полностью такие тонкости в русском переводе даже не пытался. Наверное, это просто невозможно... Кстати, Бригитта... Ведь вы не с грузинского на немецкий переводите?

– Конечно, нет! С русского.

– Понимаю вас. Но и вы поймите – с моим текстом в конце концов произойдет то же самое, что и с вином в стаканах писцов прокурора Кокнара.

– Вы не хотите, чтобы я переводила ваш роман? – сухо спросила Бригитта.

– Что вы! Просто это будет не мой роман.

Майор, беспокойно заерзав на стуле, сказал:

– Нодар Владимирович! В вашем романе есть эпизод – монах разговаривает с комсомольцами. Он говорит: «Безбожников – в храм Божий? Ни в коем случае!» – а ваш герой ему: «У меня за два месяца не уплачены членские взносы. Мне можно?» – и монах отвечает: «Конечно!» Разве такое невозможно перевести на немецкий?

– Разумеется, возможно, – улыбнулся Нодар.

– Вот видите, Бригитта, – обрадовался майор. – Нодар Владимирович говорит, что возможно. И так постепенно, эпизод за эпизодом, слово за словом...

– Вы тоже занимаетесь переводами? – ехидно спросила Бригитта.

– Да нет, – простодушно улыбнулся майор. – Я просто хочу, чтобы всем было хорошо. Как у Нодара Владимировича в романах...

То был, кажется, 68-й или 69-й год – не могу вспомнить точнее. Помню только, что к той поре у Нодара Думбадзе вышли романы «Я, бабушка, Илико и Илларион», «Я вижу солнце», «Солнечная ночь» – легкое, как шампанское, чтение, где даже трагические страницы расцвечены искрами завораживающего юмора. «Смех делает человека свободным», – сказал писатель одному из своих интервьюеров, однако этот постулат Нодар Думбадзе сформулировал позднее, а тогда в его романах просто шумела жизнь, прекрасная в любом проявлении, потому что тогда казалось, что после 20 съезда все самое страшное позади и любая печаль не страшнее двойки на экзамене: от этого не умирают, более того – продолжают расти.

«Спаси!» – просили меня глаза Гурама.

– Уважаемый профессор, вы совершите несправедливость, поставив ему

двойку. Мы всю ночь занимались вместе, – вступился я за друга.

– Молодой человек, я пять лет учился в Оксфордском университете с Чемберленом. Он стал премьер-министром, а я сижу в Тбилиси и учу подобных вам идиотов. Ясно?

Все было ясно, как солнце. Я спустился в университетский сад, шлепнулся на скамейку. Девчурка, присев передо мной на корточки, маленькой лопаткой копала землю и посыпала ноги мальчика. Тот покорно стоял, словно молодой саженец, и улыбался. Девочка частенько посматривала на мальчика, проверяя, не вырос ли он, и продолжала копать землю.

Мальчик тоже ждал, когда начнет расти, и улыбался.

В саду стояла теплая, майская погода».

Впоследствии критики станут упрекать писателя за то, что не видит истинных сложностей жизни, творит новые мифы взамен обветшалых, что его проза всего лишь развлекает, а не зовет, и что не осторожностью редакторов литературного журнала «Цискари», а их пронизательностью объясняется тот факт, что первый роман Нодара Думбадзе был напечатан в разделе «Юмор» мелким, вспомогательным шрифтом, – однако мне при этом всегда вспоминалась девочка, которая верит, что мальчик станет расти, если посыпать землей его босые ноги. Много позже Нодар Думбадзе напишет повесть «Кукарача» на рискованный, почти что бульварный сюжет – о любви милиционера к подруге вора: добро здесь не побеждает зло, за жизнь платят смертью, и только любовь порождает любовь – и вот тогда критики заговорят о новом Думбадзе, а писатель оставался прежним: просто мальчик, которому девочка засыпала землей босые ноги, наконец-то подрост – и что же в этом странного?

– Разве вы не хотите, Нодар, чтобы с вашими героями познакомились в других странах? – спросила Бригитта.

– Конечно, хочу. И все же поверьте: дороже всего мне внимание земляков. Оно, кстати, проявляется порой весьма занятно. После выхода романа «Я, бабушка, Илико и Илларион» Илико написал мне: «Больше половины – вранье. Если я скажу об этом, тебя не арестуют?»

– Арестовать? – удивился майор.

– За что? – ужаснулась Бригитта.

– Это юмор такой, – пояснил Нодар. – Деревенский.

– А-а... – протянул майор.

– Не понимаю, – раздраженно сказала Бригитта.

– Знаете, Бригитта, – примирительно сказал Нодар, – по-моему, я сам себе противоречу. Я не представляю себя – не как писателя, а как человека – без героев Сервантеса и Рабле, без д'Артаньяна или Тома Сойера. У меня мечта есть – я могу в ней признаться, потому что она невыполнима: я хотел бы писать, как Чехов.

– Да? – растерянно сказала Бригитта, нервно перелистывая блокнот-вопросник. – Но Чехов переведен на все языки мира.

– И вы переводите меня, если вам хочется. Только ваш читатель поймет в нашей жизни не все.

– Такая она сложная? – усмехнулась Бригитта.

– Нет. Просто она – другая.

– Вы же грузин, Нодар, – медленно произнесла Бригитта. – А болезнь у вас типично русская. Это только русские считают, что они какие-то особенные.

– Разве? Послушайте одну историю, Бригитта. Можете считать ее байкой, но она – подлинная. Значит, так. Односельчане забрались к соседу в винный погреб, потому что хозяин надоел им своими рассказами, какое у него получилось замечательное вино. Отведали – вино и впрямь превосходное. И тогда один говорит другому: «Теперь давай споем». – «Да, только потихоньку». Спели. И второй говорит первому: «Давай теперь постреляем». – «Да, только потихоньку».

– Как это можно – стрелять потихоньку? – недоуменно спросила Бригитта.

– Конечно, нельзя! Потому-то хозяин и застукал их. Можно сказать, повязал.

– Неправда, Нодар, – сказала Мадлена.

– Почему?

– Да хозяин проснулся еще от их пения, спустился в подвал и запел вместе с похитителями. Разве можно устоять перед знаменитым грузинским многоголосием!

– Правильно! Умница, Мадлена!

– Ага, – подтвердил майор. – Однако я, пожалуй, немного пройдуся. Вино, знаете ли...

– Как вы его терпите, Нодар! – возмущенно сказала Бригитта, когда майор ушел. – Он же из вашего штazi! Он подослан, чтобы следить за нами!

– Вряд ли, – сказал Нодар.

– Почему?

– Он пить не умеет.

– Он притворяется! Но я его насквозь вижу!

– Ладно. Давайте сбежим от него. Неподалеку, в Махинджуре, есть прелестное местечко. Я только позвоню, хорошо?

Мы мчались в такси вдоль моря, оно казалось разделенным пополам бесцветной полосой, выжженной солнцем. Нодар попросил остановиться. Мы вышли из машины и спустились к скале, похожей на окаменевший пеня. Нодар сказал:

– Давайте вернемся сюда к заходу солнца. Когда оно опускается в море, один из солнечных лучей становится зеленым. Только не каждому дано увидеть зеленый луч.

– Ну и что? – пожала плечами Бригитта.

– Ничего. Есть поверье, что тот, кто увидит зеленый луч, будет счастлив.

– Вы видели его, Нодар?

– Нет.

– Но вы счастливы?

– Да.

– Вы чего-нибудь в жизни боялись?

– Да. Совсем недавно, ночью, на границе, я стоял на вышке, ждал рассвета. И вдруг наступил миг, когда звезды погасли, а солнце еще не зажглось. Земля показалась мне такой опустелой, что у меня защемило сердце.

– А потом?

– Потом я увидел солнце.

– Да вы романтик, Нодар, – вздохнула Бригитта.

Думбадзе засмеялся:

– Вы произнесли это с такой интонацией, с какой обычно говорят: «Какой же вы дурак!»

– Нодар, вы меня не так поняли!

Нодар Думбадзе застанет только пролог новых времен, даже виноградники не успеют вырубить при его жизни. Он напишет роман «Закон вечности», который принесет ему преходящую славу, а критикам даст неиссякаемую пищу: одни назовут роман философским, другие мистическим, героя книги классифицируют как романтика и идеалиста, а материалистическое сознание аналитиков будет оскорблено ключевой фразой романа:

«Душа человека во сто крат тяжелее его тела. Она настолько тяжела, что один человек не в силах нести ее. И потому мы, люди, пока живы, должны стараться помочь друг другу обессмертить душу друг другу: вы – мою, я – другого, другой – третьего, и так далее до бесконечности...»

– Поехали, – сказал Нодар. – Тут уже недалеко.

Через минуту-другую мы подъехали к ресторану на берегу моря; зал был пуст, только один стол накрыт, за ним сидел майор. Он приветствовал нас, как Робинзон приветствовал бы матросов корабля, причалившего к его острову:

– Давайте скорей сюда! Я придумал тост!

Чего я не умел никогда и о чем искренне жалею, так это запоминать витиеватые тосты, звучащие за грузинским столом; слова майора втекали в меня, как в бассейн из школьной задачи, через одну трубу и вытекали через другую. С моего места была видна полуприкрытая дверь кухни, там священнодействовали люди в белом: в большой сосуд, скорее похожий на вазу, чем на бокал, крошили фрукты и наливали разные напитки. Потом главный из тех, кто в белом, одернул халат и, приблизившись к столу едва ли не церемониальным шагом, поставил бокал-вазу перед Бригиттой. Та подняла сосуд обеими руками и протянула его залиvisto токовавшему майору. Нодар успел сделать предостерегающий жест, но больше ничего не успел: майор приник к сосуду и не отрывался, пока не осушил его, потом что-то разжевал и отчетливо произнес:

– Компот хороший. Но персик сырой, – и медленно опустился на стул.

Я заглянул ему в лицо. Майор крепко спал.

– Что это было? – спросил я.

– Крушон, – ответил Нодар.

– Крюшон, – машинально поправил я, но тут же понял, что сделал это напрасно: судя по сокрушительному воздействию напитка на майора, это был действительно крушон.

– Его подают перед трапезой – все пьют по кругу из одного большого бокала, – пояснил Нодар. И после паузы добавил: – Зря вы так сделали, Бригитта.

– Я? Я же не думала, что он выпьет все!

– Зря, – повторил Нодар. – Он, понятно, из нашего, как вы сказали, штази. Но он добрый человек. Неужели вы не поняли, почему он безостановочно говорит? Он офицер, дисциплинированный службист, и должен докладывать обо всем, что от нас услышит. Вот он по-своему и старался не дать нам сказать лишнего.

– У вас все добрые, Нодар, – сказала Бригитта.

– Да.

– Но так нельзя!

– Можно. Пока они не докажут обратное.

Нодар Думбадзе умрет в 56 лет – очередной инфаркт: не выдержит сердце, изношенное добротой. Но успеет написать цикл рассказов, которые потом назовут рассказами-предвиденьями. В одном из них, в «Собаке», мудрые односельчане в одночасье решают истребить всех собак, потому что одна из них, кажется, бешеная. И только один маленький мальчик попытается защитить свою собаку, которую так и зовут – Собака...

– Пойдем на берег, – предложила Бригитта. – Вы обещали, Нодар, показать зеленый луч солнца.

– Поздно уже. Солнце зашло.

Сколько раз с той поры – в южных морях и северных, западных и восточных – я следил за заходом солнца, стараясь разглядеть зеленый луч. Но ничего не выходило: не каждому это дано.

Прощание

Не знаю, покажется ли вам это странным, но я никогда не умел сказать Ему «ты» – только «вы», не иначе.

И не было в том пыльного налета официальности или нарочитого уважения – лишь благодарная нежность, вот и все. Случалось ли вам задумываться над тем, что слова «я люблю Вас» звучат куда проникновеннее и острее, нежели просто «я тебя люблю»? Я тоже заметил это не сразу, и, быть может, в том причина, что рассказ мой, еще не начавшись, уже начинает петлять и дробиться, словно русло равнинной реки...

Был Он тогда, пожалуй, по своим меркам не юн и давно привык к одинокой жизни комнатного городского кота – брезгливо глядел сквозь стекло на гадающих голубей, при случае охотился на залетающих в дом бабочек, ночами деловито и бесшумно, ловко обходя медные кувшины и подсвечники, путешествовал по книжным полкам, сторожко шурша сухими цветами. Днем Он оставался один, и Его досугом было ожидание. Расписание нашей жизни всегда было путаным и рваным, мы возвращались поздно и в разное время, и тот, кто приходил раньше, всегда свидетельствовал: задолго до того, как ты вставлял ключ в замочную скважину, а скорее, был лишь на входе в колодец двора, Он бросал любые свои занятия и устранивался у дверей.

Однажды я возвращался из командировки, уже зная, что у нас гостит сестра с детьми, жили мы тогда в коммуналке, прилетал я в несуразное раннее время – и потому поехал сначала к друзьям.

В начале пятого кот проснулся, утробно завыл и бросился к дверям, царапаясь и сердясь.

– Что с ним? – испуганно спросила сестра.

– Юра прилетел, – ответила Жена.

Я пришел, когда в доме садились завтракать. Он, как обычно, встретил меня у дверей, но был сдержан и, я бы даже сказал, сух.

– Ты когда прилетел? – спросила сестра.

– Около четырех утра.

– В четыре пятнадцать, – уточнила Жена, и, поверьте мне, кот поглядел на нее с благодарностью.

– Не сердитесь, пожалуйста, – сказал я Ему, присев на корточки.

Он потерял о мои ладони и сначала тихо, а потом все громче запел свою песенку, тельце пружинилось и обмякало, передние лапы месили мою ладонь, и шерсть начинала светиться ровным, матовым, успокаивающим светом.

Но глаза Его были печальны.

Потом я не раз задумывался, почему кошачьи глаза, в которых столько лукавства и таинственного огня, чаще всего бывают печальны, и это темная, непроницаемая печаль. Нам только блазнится, что коты проживают у нас, под нашим кровом, а на самом деле это мы находимся под их великодушным покровительством; они знают, что сроки нашего пребывания на земле не совпадают, и печальное понимание, что наступит пора, когда они оставят нас, когда мы останемся одни, для них, хорошо знающих, что такое одиночество, должно быть, является постоянным источником бессильной тоски...

Когда мы уезжали в отпуск, Он оставался на попечении обожавших его соседей, но предпочитал не выходить из комнаты, а за неделю до нашего возвращения просто устраивался клубком у внутренних дверей – и никакие уговоры, никакие лакомые кусочки не могли сдвинуть Его с места. Едва мы открывали дверь, Он поднимался навстречу, и было такое ощущение, будто Он встает из своей шкуры: пол был густо покрыт Его опавшей шерстью. Конечно, мы охали, ахали, мы переживали – но что там скрывать: мы гордились Его верностью, Его преданностью, Его любовью.

Вот здесь, наконец, я приступаю к своему рассказу.

Случилось так, что по дороге с дачи к нам заглянули друзья, и была с ними кошка по имени Мисюсь, очаровательная потаскушка, при воспоминании о которой у всех дачных котов туманились глаза и начинали ныть свежие и несвежие раны. Мисюсь освоилась мгновенно, едва ее выпустили из корзины, тут же метнулась к Его подносику и принялась за еду.

Он сначала оторопел, а потом вдруг обмяк и на каких-то ватных, ополовиненных лапах осторожно прокрался в кресло, стоявшее рядом.

Оттуда Он мог видеть ее сверху – чавкающую дурочку, жадно хватавшую фарш и громко лакавшую бульон.

Но, Господи, как Он смотрел на нее – с обожанием, восторгом и мукой!..

Такой мужской взгляд я видел лишь однажды, мельком, почти тайком, когда вдруг заметил, что мой старый товарищ тягучим взором провожает холодноглазую блондинку. Я знал ее. Да все мы ее знали. И все мы, Севкины друзья, жалели его, дурака, и надеялись, что пройдет это наваждение, а стихи – пускай останутся стихи, ведь это же прекрасно и это прекрасно само по себе: «И пусть судачат, что гнезда не вьешь, что ломки крылья и что всюду сети, – благодарю Тебя за то, что Ты живешь на этом белом, беспокойном свете...»

Недавно мы похоронили его. Умер он в пустой квартире, хватились его не сразу – в своей недлинной, не прямой и нелепой жизни он не раз исчезал внезапно, а потом так же внезапно возникал. На этот раз не возник, а вознесся дымком над новомодным и холодным крематорием, похожим на современный аэропорт. Собравшись помянуть его в чьей-то холостяцкой квартире за большим и нескладным столом, мы говорили bestолково и все же договорились об одном: пускай она не приехала на похороны, не будем хотя бы сегодня говорить о ней дурно – Севка любил ее, любил всю свою жизнь, и, значит, было и в ней, и в его душе нечто такое, чего нам никогда не узнать, и никогда уже не изведать...

Остаток дня, вечер, ночь и следующее утро Он провел в кресле, сосредоточенно глядя вниз.

Нас это забавляло. Мы подтрунивали над Ним, в каждом телефонном разговоре с подругой Жена непременно передавала привет Мисюсь, кончики Его ушей трепетали, когда Он улавливал новое звукосочетание и, будьте уверены, абсолютно точно соотносил эти звуки с тем видением, что промелькнуло в нашей комнате несколько дней назад.

Однажды мы позволили явную bestактность – завели при Нем разговор, что у Мисюсь опять новый хахаль, что это просто террористка какая-то и спасу от нее нет никому. Он внимательно прислушивался к разговору, извлекая сначала знакомые звуки, но довольно скоро, совершенно непостижимым образом научился распознавать смысл новых, унижающих Мисюсь звукосочетаний и стал смотреть на нас... как бы это сказать поточнее? проще всего было бы сказать – с презрением, но проще – не значит точнее, ибо в этом взгляде, помимо презрения, муки и тоски было еще – представьте себе – сострадание.

Казалось, Он жалел нас.

Тогда-то и появилась у Него странная привычка – вдруг, ни с того ни с сего усесться в угол комнаты лицом к стене и сидеть так неподвижно часами; то место впоследствии мы так и прозвали Печальный Угол.

Он и прежде отличался чопорностью, старомодностью манер и, быть может, даже некоторым ригоризмом. Задолго до этой истории произошел забавный случай, который потом мы пересказывали как анекдот.

Жена была в отъезде, в гости ко мне пришла давнишняя приятельница, с которой мы разболтались славно и ни о чем, что так приятно делать, когда работы невпроворот, а приниматься за нее неохота. Кот всегда относился к гостям с вежливым равнодушием. Он выходил поздороваться, а потом погружался в свои дела. Так было и на этот раз, однако в одиннадцатый вечера Он неожиданно вспрыгнул на стол, за которым мы сидели, холодно посмотрел на меня, неодоб-

рительно поглядел на гостью, коротко взвыл, а потом, глядя на нее неотрывно, принялся выть безостановочно и гадко. Мы принужденно захихикали, и я пошел провожать гостью, а вернувшись, сказал:

– По-моему, Вы себе позволяете.

Он боднул меня и перевернулся на спину, приглашая к игре, обхватив мою руку, и стал колотить задними лапами, но когтей не выпускал, бил мягкими мохнатыми подушечками. И все время глядел на меня – покойно и понимающе.

Он вернулся к привычным занятиям, был с нами, как обычно, великодушен и терпелив, и однажды я, наивно желая, чтобы воспоминания о Мисюсь угасли в нем насовсем, сказал:

– А Вы знаете: Мисюсь уехала. Навсегда. В Канаду.

Тогда тоже уезжали. Правда, не так густо, как сейчас, но уезжали. Но тогда уезжали, и это означало: никогда.

Он повел ушами, вслушиваясь в мои слова. Я погладил Его, крепко прижал затылок, и это тоже было приглашение к игре: обычно Он яростно крутил башкой, выворачиваясь из-под ладони, потом вскакивал на задние лапы и, размахивая передними, шел на меня, притворно рыча. Но на этот раз Он каким-то неуловимым, изящным движением высвободил голову и, вдруг собравшись в пружинящий комок, прыгнул с пола на верх книжной полки, прошел по ней из конца в конец и уселся рядом с сухими цветами.

Было уже сумеречно, и свет, падавший сквозь прутья виноградной корзины, заменявшей нам люстру, отбрасывал дробные тени; кот был дымчат и невидим, только глаза светились, они существовали отдельно и были, словно слога, не составленные в слова.

Я улетел в очередную командировку, а когда позвонил домой, Жена, едва узнаваемая сквозь слезы, сказала, что Он умирает. «Ты не поверишь – у него рак. Приезжай скорей».

Позвонив накануне прилета, я узнал, что уже трое суток Он не встает, не поворачивает головы и почти не дышит. Но когда вошел, не поверил глазам: мой любимый, мой исхудавший, мой полинявший, мой самый красивый на свете кот медленно выходил навстречу.

– Это Вы! Здравствуйте!

Он раскрыл рот, но звука не получилось, и Он посмотрел виновато, словно бы прося прощения за то, что оставляет нас на земле, таких одиноких и таких не умеющих любить.

Мы давно уже не живем в коммуналке, у каждого из нас теперь по комнате, у нас по-прежнему путанный, рваный распорядок дня, но теперь никому нет дела до того, листаешь ты до трех часов ночи книгу или в семь утра начинаешь барабанить на машинке. Только в отпуска теперь мы почему-то ездим порознь. По всей квартире, вперемежку с книгами, висят фотографии, на которых изображены все коты мира. Мы с удовольствием узнали, что уличному лондонскому коту Хэмфри был поручен отлов мышей в правительственном комплексе на Даунинг-стрит. У нас появились книги, которых в те годы почему-то не издавали, в них рассказывалось про самые разные кошачьи тайны и загадки. Только ни в одной из книг, ни на одной из фотографий я не нашел хоть кого-нибудь, похожего на Него.

Иногда, внезапно просыпаясь ночами, я вспоминаю прощальный взгляд и силюсь понять – упрек то был или сожаление или просто просьба. Я понимаю, что гайная наша надежда, что мы только игрушки, и потому нас пощадят, не тронут, не дает нам права считать себя выше кого бы то ни было, но мы так считаем и не в силах отказать себе в этом. Я понимаю, что дело не в том, чтобы разгадать тот взгляд и не в том, чтобы вернуть ушедшее мгновение, а только в том, чтобы удержать тепло холодеющей крови. Нас не щадило время, ну а мы-то – мы-то кого пощадил?

Мы похоронили Его в березовой роще, в парке, разрезающем город.

– Мы же хотели Его уберечь! Мы же хотели, как лучше! – рыдала Жена, когда мы возвращались в пустой дом после этого печального обряда. – Правда?

В тот год с особым усердием убивали уличных котов – топили, вешали, жгли, четверговали; это потом принялись друг за друга.

– Да, мы хотели как лучше, – ответил я.

Но вдруг подумал – Ему мы хотели лучше или только себе?

Первое время мы часто ходили на могилу, потом реже, потом совсем перестали.

Теперь я нашел это место с трудом. Буквы, которые я вырезал на стволе, зашлыби, вырос подлесок – молодой березняк, но прямо над могилой росло деревце, не похожее на березу. Я вгляделся в листья и ахнул. То был клен, то были листья канадского флага, то были цвета страны, куда Мисюсь никогда не уезжала, но Он этого не знал и в погоне за нею выбрал самый прямой путь, и земля, приняв Его в себя, не захотела, не смогла остаться безучастной.

Р. С. Я написал эту историю десять лет назад. У меня давно другой кот. Только теперь мы с ним остались одни.

РЕМИЗ

Ремиз. Сказка для взрослых

Меня среди ночи разбудил ливень. Молнии фотовспышками освещали резную мощь соснового леса. Взрывы грома откликались мгновенно. Видно, белый дом под красной черепичной крышей оказался прямо в эпицентре грозы, бушевавшей над побережьем. Вертикальным частоколом стояли струи воды. Во всем этом было нечто нереальное. Все в доме спали. Их почему-то не тревожила стихия.

— Ночь, гроза... Осталось только появиться трагической красавице с младенцем на руках... Как в индийском кино! — сказала я в темноту.

— Скорей — в американском, — услышала я чей-то голос. — Море гудит. Вокруг лес. Не хватает лишь путника в ковбойской шляпе с кобурой на боку, который заблудился в непогоду. Бррр!... Чем не начало для вестеррна?!

Кто-то большой, в насквозь промокшей шубе, резко вздрогнул и прижался к моим ногам. Опять блеснула молния. И снова громыхнуло. Пес, как и я, старался спрятаться под узкую стреху крыши над входом в дом. Ему тоже было мокро. И он к тому же боялся грозы. При каждом ударе грома вздрагивал.

— Вестерн? А ты откуда такие слова знаешь? — удивилась я.

— А ты думаешь, что, ежели я собака, то кроме «Фас!», «Фу!» и «К ноге!», ничего и знать не могу? — проворчал пес. — Меня Человек иногда в дом пускает — погреться и телевизор посмотреть. А уж в раскрытую книжку заглянуть — нормальное дело! Только не говори моим, что я с тобой ласы точку! Им обоим не понравится это! Знаешь, шум начнется, телевидение придет. А мы тишину любим, спокойствие...

— Он знает, что ты умеешь разговаривать?

— Еще бы! Я, как пришел, сразу сам ему по имени представился. Сказал, что меня зовут Ремиз. И что лапам больно — отморозил, пока добирался. Зима стояла жуткая. И дорога неблизкая. Я тогда совсем щенком был... Ну да ладно! Дело давнее!...

Ремиз, наконец, устроился рядом со мной под узким карнизом крыши и смотрел на низвергавшийся с небес поток воды уже с меньшим отвращением. Мое присутствие его успокаивало. А я уже и не удивлялась, что настоящая собака разговаривает со мной на вполне понятном, очень хорошем человеческом языке.

— А почему тебя назвали Ремизом? — осторожно спросила я.

— Я сам себя назвал! Мой Прежний, как в карты играл, все говорил это слово. И очень злой был, кричал на меня. От стола гнал. Я прятался, чтоб не стукнул... Ну, вот я и решил, что этот самый «ремиз» я и есть! Стал отзываться. Ему это слово очень даже нравилось. Когда те другие, что с ним играли, говорили «ремиз», он рад был! Так один из них сказал: «Ремиз» — да как пнет меня сапогом! Я задохнулся от боли — и вцепился ему в ногу. А Мой Прежний за меня не заступился. Он же видел, что я не был виноват, и не заступился. Он схватил меня и вышвырнул в снег. Больно так схватил! И кричал, что я... сама понимаешь, что! Плохое слово — чего повторять! Как будто я виноват, что мамаше моей прохожий беспородный пес понравился! Ну, я и уполз! А что было делать?! Отдышался. И ушел, куда глаза глядят.

Дождь тем временем стих. Промежутки между вспышками молний и раскатами грома все удлиннялись. Пес внезапно выскочил из-под навеса и исчез в темноте. Вдруг стало слышно, что кто-то похрумкивает в саду. Большая рогатая тень нарисовалась рядом. Огромный лось невозмутимо объедал яблоки в саду, а Ремиз стоял рядом и тихонько потягивал, виляя хвостом. Я пошевелилась, чтобы выбросить сигарету, намокшую от дождя.

— Зря ты куришь тут, — сказал обиженно вернувшийся ко мне Ремиз. — Друга спугнула! И полакомиться не дала. Между прочим, здесь нет других яблонь. Песок... На нем только сосны и умеют жить.

Мне стало неловко. Я потрепала пса по мокрой спине и ушла в дом. Спать.

Утром я встала поздно. Солнце слепило глаза. От дождя и следа не было, только роса перед домом была особенно густой. Пес гремел цепью в глубине сада, к нам не подходил, только издали поглядывал на меня. Я не рассказала о ночном разговоре с Ремизом никому. Потому что обещала. Да и все равно никто бы не поверил!

СТИХИ ИЗ КНИГИ «СИЛУЭТЫ СУДЬБЫ»

•

Любимый ушел неизвестно куда.
Возможно вернется. Когда — неизвестно.
За окнами всплескивает вода.
И всхлипывать, вторя ей, — бесполезно.
Так что же осталось? Глядеть на часы,
Взборматывать: все же, когда-то, быть может...
И слушать, как хохот далекой грозы
Дома пробирает морозом по коже.
Когда же уйдет эта ночь без следа,
То злом на зов тишина ответит:
«Любимый ушел неизвестно куда».
И капля дождя по листу расползется.

Риге

Не привыкающий — и непривычный,
Остроугольный и черепичный,
Иноязычный — и все-таки мой...
Что же мне делать, единственный город,
Если в любом бесприютстве и горе
Только к тебе означает — домой?

Мой неприкаянный, пасмурный, милый,
Я о твои опираюсь перила
И к твоему прижимаюсь плечу.
Впрочем, меня не надолго б хватило,
Если бы не...
Но о нем промолчу.

•

Чернела черника в далеком лесу,
И ягоды прятались где-то под листьями.
Был ветер, который нас так обнимал —
До голово-
Нет, до Вселеннокруженья.

А после была электричка. Она
Ползла нескончаемо. Нас уносило
В прекрасный, чужой и заброшенный дом,
В котором — ты помнишь...?
Продолжить не смею.

Прощанье настигло под утро, когда
И страхи, и страсти развеялись пеплом.
Зачем же сейчас, через тысячу лет
Ты вздумал стучаться в забытые двери?
Там свет не погас.
Но меня уже нет...

•

Наш поезд ушел, укатил, неизвестно куда.
Что будет — увидим. Мы сделали все, что сумели.
В той жизни остались и ветры, и злые метели.
Но там нам сияла высокая наша звезда.
И мы отсекали, как нечисть, покой и уют.
Не то, чтоб любили мы холод и горькие вести —
Но слово «уют» рифмовалось тогда с «предают»,
А этот покой был покойнику только уместен.

И всех, кто был нами в той жизни любим,
Судьба отняла, или жизнь по Земле разметала.
И вот мы с тобой посредине Европы стоим,
Обнявшись, вдвоем...

ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ

Люблю я артистов. Занимательный народ. Когда еще Дом знаний, он же планетарий, не перекроили обратно в Храм Божий, ходил на всех подряд... Покупал за 50 коп. билет на лекцию о загадках космоса, и шел в другой зал. На выступление чаще всего московского лицедея.

Рубля два сэкономил. Бумажка на посещение планетарного зала – копия билета на звезду с человеческим лицом.

Случалось, попадал и на рядового декламатора из провинции. Афиша призывно пламенела: «Такой-то Сучков. Вечер поэзии Сергея Есенина». Шел я, понятно, на Есенина, а не на Сучкова.

Помимо меня на вечере – две небесные старушки и еще земная парочка, две румяные, как блины, девушки.

Встречу с прекрасным открывает пышная дама. Ее груди благодаря вырезу платья выставлены как аппетитный товар, разве что не видно сосков.

«Сегодня, дорогие ценители поэзии, – воркует она, – вы, образно выражаясь, припадете к живительному роднику, имя которому – лирика Сергея Есенина... Перед вами – заслуженный артист Удмуртии и почетный житель города Сарапула...»

Как она его представила, не помню. Предположим, как Сучкова.

Разыгрывая корабельную качку, заслуженный добрался до микрофона. Попытался ущипнуть уходящую попу эффектной женщины. Пальцы тронули воздух.

Мое половое созревание так и подмывало крикнуть: «Не уходите, тенька! Хорошо, не пойте, не читайте ничего. Двигайтесь просто туда-сюда, сюда-туда...»

– Черный человек, – представился артист и притих, опустив личушки век. Думаю, ему представилась какая-нибудь кремлевская «Олимпия», набитая по самое «не могу» женскими прелестями. – «Черный человек». Поэма бессмертного певца земли советской, – пояснил Сучков.

Наваждение отпустило, веки распахнулись и прозвучало с нотками задора: «Товарищ! Товарищ! Я очень и очень болен...»

Сзади меня послышался недовольный шепот. Один девичий голос сказал режиссерское: «Не верю». Второй, девичий, поправил: «Не товарищ, а друг». А в первом ряду сиамские, плечико к плечу, бабульки зааплодировали непонятно чему.

«Товарищ» вместо «друга» – еще ничего по сравнению с тем, что посыпалось дальше. – «Как прыщавой курсистке симпатичный пацан говорит о мирах, половой истекая истомою», – услышал я... Озабоченно переглянулись старушки, как бы говоря: «От какого такого верблюда взялся «симпатичный пацан»?»

Девушки позади притихли от негодования. Если уж редактировать по живому, то все подряд, и «прыщавую курсистку» стоило бы заменить на «невинную».

А мне понравилось. Верную внес поправку дядя. Сгоряча и в угаре вдохновения обозвал поэт нормального человека. Ну истекает парень истомою. С кем не бывает? Здоровый, значит. Почему сразу – «урод»? Конечно, сам классик почему зря о мирах долго не растекался, и быстро переходил от прелюдий к делу.

– Наш дядя. Только артист никакой, – подумал я. Подменил, наверно, загулявшего до потери башки дружка или родственника из филармонии. Вызубрил наскоро поэтическую нетленку...

Только я догнал, что к чему, тут мнимый артист меняется в лице. – Я взбешен, разъярен, – медленно и грозно читает он. Сейчас убьет – белые от напряжения кулаки... Я неожиданно забыл, что он на сцене, что читает всего-навсего стихи. Причем, не свои. Мгновение – и долбанет стремительная трость меня по чайнику. Зная поэму наизусть, я испугался слов, что вот-вот прозвучат, и зажмурился, беззащитный зритель в пятом ряду, строго напротив разъяренного мужика.

– И летит мой кирпич, – нахально меняет Сучков эффектную трость на оружие пролетариата, – прямо в морду его, в переносицу.

И откуда у него, с виду пустого валенка, взялся талант? Или он, всего вернее, личное раздражение выплеснул – взбешен, разъярен... Или нервы мои ни в белую, ни в красную армию. Почудилось по-крупному... Конечно же, ничего не просвистело мимо виска, не случилось и грохота от летящего предмета...

Упитанный, лысеющий Сучков подобрался к финалу. – Я печально стою, – всхлипнул он, – никого со мной нет... – Он на секунду смолкает, и я бы на его месте заглох бы на полуслове – непонятно, откуда куски стекла по краю сцены. До того, как я зажмурился, – их не было. Ноготь даю на обрезание.

Тем не менее Сучков невозмутимо заканчивает: «Я один и разбитое зеркало».

Хилые аплодисменты, прощальный кивок артиста или как там его назвать...

«Стеклянные фокусы... Цирк и только», – бурчала старушка, направляясь к выходу с другой пожилой кошелкой. Девицы взмахнули рукавами, но отчего-то не взлетели, процокали по полу и исчезли в проеме.

Декламатор напоследок мощно высморкался в платок и сказал мне: «Всего тебе интересного, парень».

Что-то удерживало меня, и это что-то не заставило себя ждать.

Артиста сменила женщина, что открывала выступление.

На этот раз она держала совок и щетку, похожую на зубную фабрики «Гулливер».

Она сметала осколки в совок, груди ее увлекательно раскачивались.

– Хотите, я вам почитаю Есенина, – не выдержал я.

– Читайте, если приспичило, – не поднимая взгляда, разрешила она.

– Как прыщавой курсистке длинноволосый урод, – начал я с золотой середины...

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Мне двенадцать лет. Я стою на берегу залива и смотрю, как пара кораблей, кажущихся с берега лишь черными штрихами на линии горизонта, плывут один за другим в сторону маяка. Может показаться, что они неподвижны, но это обман: если закрыть глаза на минуту, а потом открыть, то видно, что корабли немного сместились вправо. Погода сегодня ясная, в небе ни облачка, и хорошо просматривается изогнутое подковой очертание залива. По всему пляжу, вдоль берега, расположены полосатые кабинки для переодевания, деревянные скамейки, детские площадки и площадки для игры в волейбол, – издали видно только, как взлетают подбрасываемые вверх мячи, и падают вниз – сотни белых волейбольных мячей.

Небольшие волны набегают на берег и слизывают постепенно песчаные замки, что лепят дети: сначала вода подмывает сооружение снизу, потом вся эта причудливая конструкция рушится и размывается окончательно. Но строители неутомимы. Маленькая девочка в большой панаме воздвигает сначала фундамент, потом зачерпывает песок со дна и льет темно-серую жижу, – зачерпывает еще и снова льет. Песок застывает в самых разнообразных невысказанных формах, растут вверх стены и башни, и все это так фантастично, как не придумает и самый изобретательный архитектор. Весь берег, и вправо, и влево от меня, усеян песчаными замками и городами: некоторые дети работают совместно, по несколько человек, – у них получаются гигантские сооружения с зубцами на стенах, эркерами, мостами и улицами.

Я оглядываюсь и ищу глазами своего друга, Витьку. Витька очень занят: он висит на турнике, болтая ногами, и пытается подтянуться; рядом стоит его отец, атлет-средневес, подбадривает Витьку голосом и крепкими шлепками по филейной части.

Ветер дует мне в лицо. Шум сосен, которые растут на возвышении, за дюнами, почти не слышим: ветер относит его в другую сторону. Слышно лишь звонкое хлопанье волейбольных мячей, тьяканье балонок, детские писк, шелест велосипедных шин по песку, болтовню курортников, ругань футболистов, да иногда пробежит вдоль берега, тяжело дыша, какой-нибудь любитель здорового образа жизни. Из воды выходит парень в маске и ластах. Он развлекает свою компанию, лежащую неподалеку на песке, не снимая ласт. Бегущий человек в ластах похож на лягушку из мультфильма, – ему приходится высоко задирать ноги, чтобы не упасть. Мужчина в шортах сосредоточенно запускает красного воздушного змея с кошачьими, нарисованными черным, глазами. Кажется, что змей качает головой. У мужчины такое серьезное и строгое выражение лица, что можно подумать, будто бы он занят каким-нибудь архиважным делом, а не игрой. Он хмурится, натягивая леску, не обращая внимания на десяток мальчишек,

которые вьются поблизости. Наконец, змей падает в море, как-то жалко и виновато вильнув на прощанье своим разноцветным хвостом.

Я вхожу в воду; у самого берега она прозрачна, и хорошо видна ребристая поверхность дна, камешки, ракушки, почерневшие щепки и зеленые бутылочные осколки, обточенные водою. Водоросли путаются между пальцев; похожие на диковинные тропические растения, они, выгнутые из воды на воздух, теряют свою экзотическую красоту и становятся похожими на обычную тряпку.

Смотрю внимательно на воду: сейчас у берега затаились в неподвижности, слившись с дном, целые косяки небольших, с ладонь, серого цвета рыб. Лишь когда подбираюсь к ним вплотную, они срываются с места и удирают от берега с невероятной скоростью.

Большое июльское солнце стоит в зените, раскаленное до металлического блеска. Приходится идти долго, через три-четыре отмели, прежде чем удастся добраться до настоящей глубины.

Я плыву брассом, то ныряя, то выныривая. Вдохнув поглубже, пытаюсь достать до дна. Вода очень мутная и дальше одного метра ничего не видно. Натыкаюсь руками на что-то длинное и округлое, оказавшееся затонувшим бревном, – осколком давнего кораблекрушения, не иначе. Переворачиваюсь и смотрю сквозь толщу воды вверх: очень-очень слабо просвечивает серебряный диск – Солнце.

Вижу, как возле самых моих глаз проплывают мельчайшие водоросли, похожие на бактерий под микроскопом. Пытаюсь что-нибудь сказать, – получается: быр-быр-быр, – и вверх устремляются крупные пузыри воздуха, дрожа и меняя форму, как живые.

Сильно оттолкнувшись от дна обеими ногами, плыву вверх; вынырнув, жадно и глубоко дышу. Прямо перед моим носом оказывается красный пластиковый буй размером с баскетбольный мяч, который слегка покачивается на воде. Я повисаю на нем, обхватив обеими руками; хочу погрузить его под воду, но веса моего тела для этого недостаточно; тогда я подтягиваюсь и пытаюсь сесть на буй верхом. Но теряю равновесие и шлепаюсь в воду.

Метрах в пятидесяти от меня – большой белый катамаран со спущенным парусом. Трое мужчин сидят на носовой части спиной ко мне. Катамаран очень велик: на таком, наверное, можно плавать и в океане. Я подплываю к нему со стороны кормы; на белых, гладких, блестящих, глянцевых боках его играют блики отражающегося от воды солнечного света. Катамаран слегка покачивается, и слышится негромкое: хлюп-хлюп-хлюп. Я притрагиваюсь ладонями к корме и слушаю звуки музыки из транзисторного приемника, голоса яхтсменов: говорят по-эстонски. Надо мной промелькнула тень: подняли парус. Очень медленно, со скоростью пешехода, катамаран начинает движение. Я успеваю схватиться за какую-то загогулину у кормы. Судно набирает скорость, а я – вместе с ним. Держусь обеими руками, свободно вытянув расслабленное тело. Катамаран плывет не так быстро, как моторный катер, но скорость его все же велика. Я стараюсь держать голову повыше, чтобы вода не захлестывала лицо. Мы плывем вдоль береговой линии; я вытягиваюсь в струну, скользя по воде. Мимо нас, наклонившись так, что задевает поверхность воды, проносится спортсмен на парусной доске; и белая доска, и он сам, его жилет и волосы – мокры и блестят. Он делает

поворот, и на какое-то мгновение наши взгляды встречаются; я вижу в его глазах недоуменье. Он, отвлекшись на миг, теряет управление и вместе с треугольным парусом своим падает в воду. Вокруг катамарана кружат чайки: с борта им кидают кусочки чего-то съедобного, и чайки ловят это клювами на лету – почти у самой воды.

Я не сразу замечаю, что катамаран повернул и плывет уже от берега – в море. Когда замечаю и оборачиваюсь назад, то становится страшновато: берег далеко. Жалко бросать такую игрушку, но приходится: еще чуть-чуть и будет поздно, – придется звать тогда на помощь. Разжимаю руки и какое-то мгновение плыву по инерции. Держусь на воде и смотрю, как катамаран уплывает от меня, уменьшаясь в размерах, оставляя за собой двойной след, и вскоре превращается в белое, – как мазок краски на холсте, – пятно на фоне синего.

Надо плыть обратно, и мне становится не по себе. Плыву сначала брас-сом. Чтобы отдохнуть, переворачиваюсь на спину и работаю одними ногами, поднимая фонтанчики брызг. Высоко-высоко в небе, наискосок, по диагонали, летят, параллельно друг другу, два реактивных самолета, – один чуть впереди другого, – оставляя за собой молочно-белые дорожки. На ясном голубом небе эти следы выделяются четко – узкие и плотные в начале, они расширяются к концу и становятся бледнее и бледнее, пока совсем не растворяются в небе, – как сливки в воде.

Наконец, я доплываю до буев, которые расположены один за другим параллельно берегу. На одном из них сидит чайка, – все птицы почему-то имеют очень серьезный и деловитый вид, – заметив меня, она, на всякий случай, отлетает подальше и приводняется. Берег уже совсем близко: я вижу пляжников, купальщиков, велосипедистов; дюны, засаженные зелеными кустами; сосны, за которыми кое-где проглядывают жестяные крыши дач. По берегу проезжает патрульная машина; мороженщик катит свою желтую тележку о двух колесах; два мальчика набирают воды в ладони и гоняются за третьим. Оттуда, где растут сосны, с крутой дорожки, скатился отчаянный велосипедист; его расстегнутая рубашка развевается от встречного ветра; когда велосипед на высокой скорости попадает передним колесом с твердой поверхности на мягкий, сухой песок, велосипедисту требуется приложить всё своё умение и силу, чтобы сохранить равновесие, – колеса вязнут в песке, виляют, – велосипедист едва не вылетает из седла через руль, но, круто завернув, взметнув задним колесом веер песка, оставивается, опершись на левую ногу.

На первой мели, – до которой мне удастся дотянуться ногами, – вода оказывается по подбородок. Плыву дальше, и за следующей могу уже не плыть, а идти. Только сейчас чувствую, насколько сильно я устал и замерз. Меня слегка пошатывает, я весь сжимаюсь от ветра, дующего мне в спину; мышцы напрягаются, я весь дрожу, обхватив плечи руками, и как можно быстрее иду к берегу. Оглядываюсь назад: катамаран уже скрылся из виду, а вместо двух кораблей на горизонте виден только один.

Я вышел на берег очень далеко от того места, где оставил одежду, и всматриваюсь вдаль, пытаюсь определить расстояние. Неожиданно встречаюсь глазами с мужчиной, в котором узнаю артиста Хазанова (весь город обклеен афишами).

Он прогуливается по берегу с двумя дамами. На них легкая летняя одежда. В руках артист держит небольшую красную нераспустившуюся розу.

Я пристально смотрю на него, стуча зубами; он также внимательно изучает меня.

Когда они проходят мимо, я слышу голос артиста: «Как они могут купаться в такой воде? Мне на Балтийское море даже смотреть холодно».

Прежде чем искать свою одежду, я падаю на песок, нагретый солнцем, лежу на животе, потом переворачиваюсь на спину, вываливаясь в песок, как сырая рыба в панировочных сухарях. Перестаю дрожать, постепенно расслабляясь. Закрываю глаза, – сквозь кожу век пробивается солнечный свет, поэтому веки кажутся красными. Потом перед глазами начинают мелькать золотистые искры и черные точки. Засыпаю...

Евгения Богуславская

ИМПРОВИЗАЦИЯ

Он, впрочем, как и создание из праха и глины,
схвачен, заверчен тенью круговую порукой,
плачущий над совершенной судьбой Магдалины –
ваш саксофон, плывущий в нелепице масляных звуков.
Он отпечатком заката стекает по тонущим стеклам,
хрустом прожекторных слез на губах оседает
и привкусом пепла.

Кажется, здесь, под звезды всеобъемлющим оком
выхода нет из падения великолепия.

Здесь, за окном, в заросшем, заброшенном садике,
будто замедленный оцепенением выстрел,
мчат по песку одинокие черные всадники –
обожженные

осенью

листья...

•

Когда начнет чужак-мессия –
автобус, поезд, или рок
в тоске колесной аритмии
наматывать клубок дорог,
вносить лихие коррективы
в мельканье повседневных вех,
не по законам перспективы
мчат во вчера, назад и ... вверх,
что делать осени-бродяжке
в своем *Jardine de souvenir* –
брести в пальтишке нараспашку
вдоль затаившихся квартир?
В провале пыльной галереи
из выцветших имен и лиц
хранить, как Пассии Матфея
горсть золотящихся страниц?
Нашедшему – мираж оплакать
в сетях предельной немоты –
что суесловье нотных знаков
без человеческой теплоты,
когда вспорхнет с бегущих строк,
как наказание, как довод

звук, оголенный, точно провод,
затертый стадом праздных ног, –
безукоризненная нота,
чья непутевая сестра
куражит сердцем у ребра,
подранком, чающим полета,
и просится пробить насквозь
душевной глухоты искусство,
чтоб то блуждание по чувствам
импровизацией звалось.

Ах, что за груз не по плечам –
обыденных предметов тени
жгут объявлением потери,
как «книга, колокол, свеча».

И письменами на золе,
рябинных мягких губ речами,
на грешно дремлющей земле
всё превращается в звучанье,
всё превращается в движенье –
сокрестье судеб, звезд и рук –
и ворожбою-вороженьем
порочный размыкает круг
освобождение аккорда,
чья крылья легкие просты...
И вознесенье к горизонту
от всепрощенья суеты.

Полнолуние

Опять замкнется непорочный круг
проклятием геометрических прогрессий,
швырнет в провал тягучий поднебесья
сплетенье голых тополиных рук,
стечение полночных облаков,
сведение на затылке пальцев ломких...
Порез смычковый на скрипичной кромке –
обрыв высокий звуковых оков.
Чей монотонный лепет осенен
шуршащей россыпью крахмальных крыльев?
Нет, в душу пораженную бессильем,
вход ангелам сегодня запрещен.
Не снятся добродетельные сны.
И загнанным зверьком сердцебиенья,
закинув морду к плоскости луны,

захлебываясь, вяжет упоением
протяжный вой уставшей тишины...

ВРЕМЕНА ГОДА

1

В прощании с беспутным и шумливым днем
нисходит долгожданная фермата
и ночь, вдоль ровных долек циферблата
бредет едва, как пьяный нищий с костылем.
Недоуменье фикуса в углу,
свет фонаря – неровные заплаты
спят на давно некрашеном полу
и расползаются по мерзлому стеклу
кривые, белые, искрящиеся лапы.
У зимних окон – убежденность якорей
и сиротливо зябнувшие плечи
и улыбается моей тоске навстречу
щербатый рот проема без дверей –
судьбой забытый дом – в его простывшем горле
таится – кровли край уже порушен –
и просится погреться в наши души
фотоальбомная печаль...

А дату стерли...

На уходящий бал слетались голоса,
звучали клавиши потертых половиц и
над завесью дочитанной страницы
был вечный полдень на испорченных часах...

2

Наивные, как тиканье часов,
обида загостившей непогоды.
Мчат облаков и мыслей хороводы
сквозь побережья беспробудный липкий сон.
Над дюной – мутно серый оком,
оконный глаз обиженно слезится,
охваченный воркующим дождем,
мир плавится, теряется, двоится...
Всё, что вмещает убежденье рам:
прибоя бестолковая морока –
дань постоянства ветренным волнам
и наважденье скрипки в темных окнах –
соседний дом, как ящичек с секретом,
медуза, киснувшая в луже на песке,

танцующая девочка с пустым сачком в руке –
 лишь тени убегающего лета.
 И резкая секунда лишь канун
 того, что отмечает вскользя разлука
 двух – безнадежно параллельных струн,
 двух – разделенных высотой звука...

3

«Конфликт не в том, что Эльсинор тюрьма», – мне
 газетный желтый, уносимый ветром лист
 торопится вещать и далеко между домами
 его крыла обрывок треплется. Когтист
 и недоверчив сквер, осиротевший в непогоду,
 и кто-то пляшущий по крышам хлипким днем,
 махнув над городом нелепым рукавом,
 небрежно разбросал кленовых карт колоду.
 Не сходится пасьянс, летящий стайкой в россыпь
 на сером на асфальтовом сукне,
 и сиротливый луч печалью бледноокой
 горит обыденно, как из-под шапки просесть,
 холодный поцелуй пророчества в окне,
 и апокалиптических коней
 безумный и необратимый токот...

Рождественская мистерия

С копьём луча наперевес,
 в прожекторном застывший круге,
 на возвышении – разрез,
 разлом пастушеской лачуги.
 Кортёж огрехов и грехов,
 пестры волхвов речитативы,
 беспечна радость пастухов,
 посулы кесарей правдивы.
 Зарамповая муть мирка –
 альянс безумия и детства
 вздетая в раёк рука
 не согревает бездны сердца.
 На стиснутость увядших век
 фантазмагорией рожденья
 нисходит миг – бумажный снег,
 как на душу – освобожденье.
 Рисованная гладь пруда
 глядит в коловращенье выси,
 где Вифлеемская звезда –
 дыра в засиненной кулисе.

Церковь в *Montreux*

Тому пророку – вечности в обрез,
минуя вскользь мгновения бездонность,
нести на покалеченных ладонях
итог печальный сотворения чудес.
Суть звуков больно стиснутых в висках –
в лепшине потолка, теряясь, таять,
как окон завитраженных высокая тоска.
Органый ливень, захлестнувший память, –
в руке души коварный камертон.
Начнет безукоризненный молебен
(прозрачно-долгий колокольный звон
колышет облачки на предвоскресном небе,
их тоненькие низки хрупко рвутся,
стекая с горла робкого подобия Монблана)
та нота, чье желанье – обернуться.
Туда, где, как лиловый скарабей,
висят над городом предгрозовые волны,
где узкий грязный двор с утра наполнен
витиеватой речью глупых голубей.
Где над антенны обнаженным нервом
чудят вне перспективы облака
и площади небритая щека
обожжена слезинкой пыльной первой.
И мимо мчит гроза, нелепо чертыхаясь,
как заплутавшая в несбывшемся судьба.
И тишина подносит к спекшимся губам
с обломанным и почерневшим ногтем палец...

Фаина Осина

НАДЕЖДЫ НА ВЕТРУ

•

Акварели осенние смыты.
Бледный луч-каллиграф
бегло абрисы правит:
в скелетах палитры
зашифрован изменчивый нрав.
Обнажённых причуд иероглиф,
сна творящего скрытый озноб –
истончилось над серой дорогой
облаков золотое руно.
Ключ скрипичный ветров.
Звуков скважность.
Под корой – ток невидимых вод.
Чем стремительней шаг,
тем отважней.
Знаю, знаю, куда заведёт...

ПАУТИНА

1

На кружеве тонком аграф паучка,
в шёлке натянутом – дрожь напряженья.
Ловчие сети – приют и кашкан:
непродолжительно время княженья.

А с краю в ином раздвоенье идей
муха на нити издёргалась пусто,
будто испытывает за людей,
что может сниться на ложе Прокруста.

2

Не по тебе, затейник-паук,
манёвры...
Акробат на канате дней,
лицедей, ловец,
по безгливости своей
рисую за кругом круг,

натыкаясь всё ж
на пружинящие тенета.
Не природы венец
я для тебя –
первобытная круговерть...
...И жертвенной мухе – крах,
и пауку – разор или смерть,
и мне – ощущение липкой грязи, –
вот и вся игра
причинно-следственной связи...

3

Лбом ли камешком чмок стекла –
брызнет паучья сетка,
ловчий промысел зла.
Форма идею схватила цепко.

Знаков срастанье. В будущий текст
сунься, не зная брода.
За паутиной всемирной – плеск
не дающей мне свободы.

•

Ещё не вызрел клич,
а мы уже в доспехах.
Вдали – всегда вдали! –
победный грохот труб.
Надежды на ветру
с какого шага прячут
лохмотья в рукава?
Иначе надо бы...
С какого шага – ропот,
с какого – неуживчивые тропы
любым движеньем
жалуют мозоль?
А трубы – где-то там...
А здесь – назойливы и грубы –
протест перевирающие губы.
...Ныряющий во что бьет головой? –
в свою же голову.
Плывет, и обнимает отраженье,
и бой ведет с собой,
и, не дай Бог, бороться перестать.
А клич уходит – в ропот –

из уст в уста...
Так выйди же из кадра! Выйди...
Раму – в щепки,
покорно на растопку отнеси,
чтоб обогреть прозревшее *прости...*

•

Ночь, пропахшая гарью
со времен неолита,
сонным маревом –
за калитку:
широко простираться положено...
Всякая тварь, пока на своём пути,
чувства – ветром-смычком
по волосу, по боязливой коже –
обречена нести.
Тьма, попадая в утро,
поднимает веки. Глаза –
в росистые перламутры...
Слеза и зимой, замерзая, мерцает...
Утро...
Вот как следует жить,
думать, идти, писать... –
впитывать миражи...
Судьба... Пльвущие небеса...
Что бы навстречу тебе ни шло,
в гости кого бы ни зазывать,
зеркал скриптории, повторив чело,
приглашают в небыли почивать...

Татьяна Чехольская

ВЫХОД ВСЕГДА В ТУПИКЕ

•

Перед тем, как кошка начнёт вылизываться,
Перед тем, как сосед за стенкой
Перевернёт отлежалый бок,
Перед тем, как поставит точку
Последняя капля на шатком карнизе
И сорвётся в ванной прищепка-мыльница
И душистый, розовый, в ней восторг,
Перед тем, как залепечет, запричитает
(обошлось без пинка!)
Старуха подъездная дверь,
А ночной кавалер
Так и не вспомнит, куда идти,
И уйдёт наугад,
Перед тем, как начнётся снег,
И взвизгнет во дрёме домашний зверь,
Перед тем, как накроется белым
Перекорёженный яблонями
Онемелый сад,
Перед тем, как накроются белым крыши,
Ты прошлестись мне в висок слова,
И они прорастут, и корни коснутся сердца
Осторожно, едва,
И кроной станет всё, что рассказано выше.

•

Выход всегда в тупике.
Но он настолько странен,
Что кажется не выходом,
А уходом.
Тупик — не загон какой-нибудь,
Но ступенька.
Когда окна начинаешь путать
С глазами,
На стене проступают растения.
Нечто лазающее,
Может быть ломонос

Ищет опору
В тебе, в себе.
Вот здесь, за домом,
На полуденном камне,
Всерьёз
Медитирующая ящерица
Расскажет,
Что выход всегда в тупике.

Она выходила сто раз.

•

Всё. О зиме — ни слова!
Не то вновь захочется
Под сонное покрывало.
Засыпая медленными,
Нежными хлопьями
Белая няня начнёт разговаривать
Со мной
Разными голосами.
Семейство растений, цветов,
Их запахов, насекомых
Примется прорасти по ту сторону
Игольного ушка распада,
Где свёрнутое лето как
Скомканная в бумажку вселенная
Разворачивается, разворачивается...

•

Если нет у тебя любви,
Не ищи ее.
Не обшаривай в слабой надежде
Закоулки постели.
Всё равно её не будет нигде:
Ни в страсти на час, ни в вине,
Ни в балагурной компании,
Ни даже в любимом деле.
Молекула распалась —
И прежнего вещества уже нет.
Ата. Бай-бай. Ничего не поделать:
Ни купить, ни родить,
Ни взять напрокат,
Ни написать акварелью.

Просто перемена времени
Года, погоды
(птицы на юг, а ты в дверь)
Созвучны и с твоими
Психологическими часами.
Это ведь только
Во французских фильмах говорят:
Faisons l'amour? /Займемся любовью?/
А на самом деле она занимается нами.



За нефермису
Харителу Колеж Кобарчи
на гурпа на 16
19.2.95 Делба



Бирому Харителу
с Харителу Колеж
Торк. на 16
18.03.95



Харителу Колеж
на 16
18.03.95

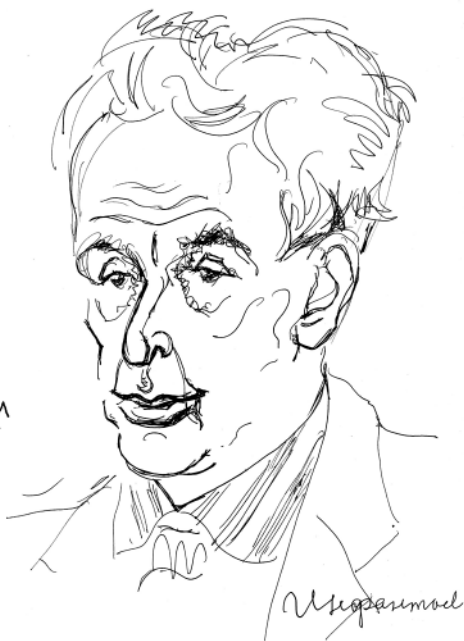


Всичкият д. харителу!
Спасибо за харителу
рату. Харителу Колеж
места харителу!
18.03.95



Харителу Колеж
на 16
18.03.95

M



Владимиру Нобикову.
В. Т. XX век.

Владимир Новиков. ШТРИХИ К НАБРОСКАМ, комментарий

146

В. Новиков (1947) – поэт, прозаик, переводчик, художник книги; член Союза писателей и Союза художников Латвии, Союза российских писателей. Автор сборников поэзии и прозы. Был главным редактором выходивших в Риге журналов «Гном» (1991–1995) и «Sveiki!» (1993–1999). В 2010 году стал лауреатом Всероссийского литературного конкурса им. П. П. Ершова. Редактор латвийского журнала «Вестник моряка». Живет в Риге.

ДЕТСКИЕ СТРАНИЦЫ

Людмила Метельская. НАКРОШЕННЫЕ СКАЗКИ

146

Л. Метельская: «Родилась я в Риге, была поздним и любимым ребенком. Папа фотографировал меня не покладая рук и читал на ночь глядя одни сказки – из книжек, а днем рассказывал другие. Выдал очередную серию при постороннем дяде – тот спросил: ‘где такое можно найти?’ И только тогда я узнала, что дневные сказки папа сочиняет для меня сам – на ходу, по пути в лес или детский садик...»

ЕРТЕКСТГИПЕРТЕКСТГИПЕРТЕКСТГИ

правда, вымысел

Янис Балтвилкс. ПРАЗДНИК ТАНЦА, стихи для детей Перевел Владимир Новиков

151

Я. Балтвилкс (1944–2003) – известный латышский поэт и прозаик, автор многих сборников стихотворений и рассказов (преимущественно для детей). Лауреат литературных премий. С 1988 года работал в различных латвийских изданиях, в том числе – в журнале для детей «Zilīte» («Синичка»), с 2000 по 2003 годы был его главным редактором. Переводил русскую поэзию и прозу на латышский язык. В Москве и Риге выходили его книги в переводе на русский.

Владимир Новиков. НАСТЯ В ПАСТИ, рассказ для детей

151

Евгения Рузина. СКАЗКИ – МАЛЮТКИ

151

Е. Рузина – член Международной ассоциации детских писателей и поэтов. Ее стихи, новеллы и сказки опубликованы в латвийских и зарубежных сборниках и альманахах. Была членом редколлегии журнала «Гном», вместе со своим сыном – художником Германом Трифсиком сочиняла детские странички для «взрослых» журналов.

Владимир Новиков

ШТРИХИ К НАБРОСКАМ

На собраниях, у телевизора, в трамвае, в зрительном зале — у меня в руках блокнот, я постоянно делаю наброски. Чаще всего рисую лица окружающих. Но никогда специально не шаржирую. Так что некоторые рисунки сразу можно назвать портретами, другие — никак иначе, только — шаржи. У одних героев рисунков беру автографы сразу, у кого-то — потом.

И во время работы в кукольном театре (сначала — рабочим сцены, затем — художником-декоратором) я рисовал много — и на репетициях, и во время спектаклей. Например, при постановке «Руслана и Людмилы», в начале восьмидесятых. Режиссером его был известный актер театра Дайлес Миервалдис ОЗОЛИНЬШ, тонкий, интеллигентный человек, этим он отличался от многих постановщиков. Озолиньш старался не «себя показать», а проявить лучшее в каждом актере. Конечно, в день премьеры я подарил такому удивительному режиссеру дружеский шарж на него и на кукол — главных «действующих лиц» постановки. Как я потом узнал, впервые в зрительном зале Миервалдис оказался в трехлетнем возрасте, в 1925 году. Уже тогда он высказал желание сыграть роль чертенка — одного из героев шедшей на сцене пьесы. До 1997 года большой актер и режиссер Миервалдис Озолиньш выходил на сцену театра Дайлес. Много работал он и на радио, и на телевидении, и в кино.

В 70–80-е годы литературный консультант газеты «Советская молодежь» Ольга НИКОЛАЕВА, сама прекрасный поэт и критик, словно добрая фея, дала путевку в литературу многим начинавшим тогда. Она не только редактировала присланные и принесенные в редакцию стихи, но и составляла для публикации в газете большие поэтические подборки. Очень бережно Ольга относилась и к произведениям для детей. Детские стихи в «Советскую молодежь» присылали не только из Латвии. Приходили письма и из Ленинграда, и из Москвы. Ольга Николаева занималась корреспонденцией не формально, не «по долгу службы». К примеру, в начале восьмидесятых в «Советскую молодежь» стихи прислал тогда начинающий московский автор, подписавшийся «Тимофей Собакин». Ольга посоветовала ему сократить в псевдониме имя — и именно после этого появился известный ныне российский детский поэт и сказочник Тим Собакин. Когда же в 1991 году в Риге стал выходить журнал для детей «Гном», с первого же номера Ольга Николаева включилась в работу над ним.

В библиотеке ЛОРКа висит шарж на Юрия Ивановича АБЫЗОВА, сделанный полвека назад замечательным рисовальщиком, впоследствии многолетним сотрудником журнала «Крокодил», Львом Самойловым. Я нарисовал Юрия Ивановича уже в XXI веке во время презентации книги латвийских русских частушек, в подготовке к изданию которой известный писатель принимал живейшее участие. Мне было приятно то, что шарж изображенному понравился. Он сказал: «Похоже... Но очень молодой», — и по-доброму улынулся.

Представленный здесь шарж на Валентина ПИКУЛЯ был опубликован в книге Сергея Каменева «Любовь к истории питая» и в московском журнале «Морской вестник» (в самом последнем интервью писателя). На шарже писатель датировал свой автограф так: «XX век». Чем это объяснить?.. Однажды Валентину Саввичу пришла заказная бандероль. Получать ее он должен был на почте сам. А в то время работой над очередным романом писатель был погружен в девятнадцатый век. Заполнив на почте бланк, Валентин Саввич «споткнулся» на дате. «Какое сегодня число?» — спросил он человека, который стоял в очереди за ним. Тот подсказал. И тут последовали следующие вопросы Пикуля: «А какой у нас месяц?..» «Какой год?..» С тех пор писатель и стал рядом с автографом ставить: «XX век».

В восьмидесятых годах мы, группа писателей и художников книги, выступали в Добельском районе. На утро второго дня наших «гастролей» я перед завтраком каждому из членов группы вручил шарж на него. Возможно, испортив этим кому-то аппетит. Все обратили особое внимание на шуточный портрет поэта ЗИРНИТИСА, старшего нашей группы. «Петерис! — обратились к нему коллеги. — Как же это мы не замечали раньше твоего сходства с Рудолфом Блауманисом!» И действительно, что-то общее между поэтами есть.

Пожалуй, больше всего шаржей нарисовано мною на Александра ГЕНИСА. И не только во время его приездов в Ригу. Газета «Телеграф», где я был художником, завела рубрику «Кухня Гениса», в которой по пятницам помещала отчеты Александра о путешествии по всему миру с оценкой кулинарных особенностей разных стран. Я нарисовал к ним не один десяток рисунков, в каждом из которых присутствовал Генис. На приводимой здесь работе — судьба занесла автора очерков на Рижский центральный рынок.

Шарж на Иманта ЗИЕДОНИСА я нарисовал, находясь у него в гостях вместе со сказочницей Евгенией Рузиной. Нам были известны «Разноцветные...», «Медвежья...» и другие сказки Зиедониса. Конечно, было интересно как он эти сказки сочиняет. Спросили. И услышали ответ И. Зиедониса, который затем воспроизвела в отчете о нашем визите на страницах «Гнома» Евгения Рузина. Вот он: «Сочиняю? Не-е-ет! Я ничего не выдумываю и не сочиняю. Все сказки со мной... случаются! Вот я иду — и они рядом идут... Они идут и болтают... о своем о чем-то... о разных пустяках... Иногда одна из них спотыкается, или, например, чихает, или чему-то вдруг смеется... Я все это вижу и слышу, и записываю потом...»

Михаил Михайлович ЖВАНЕЦКИЙ подписывал этот рисунок в 1991 году, именно в том году у него родился сын Максим. Совсем недавно в одной из телепередач великий писатель сообщил: «Я сказал своему сыну: 'Имей совесть — и делай что хочешь'». Любому родителю надо бы взять это изречение на вооружение в воспитании своих подростков детей.

Владимир ПОЗНЕР с удовольствием вспоминает о давних годах, когда он впервые оказался в Латвии, в поселке Звейниекциемс. В то время в связи со сложными семейными обстоятельствами он искал место, где можно спокойно прийти в себя. Встречи с рыбаками, выход на «мартышка» (МРТ — малых рыболовных траулерах) в Рижский залив, колпение угрей — все это телеакадемик вспоминает с восторгом. К одному только он не смог привыкнуть — к салату из соленых огурцов и селедки со сметаной, которым его часто угощала хозяйка дома, где он снимал комнату.

Андрея ВОЗНЕСЕНСКОГО я рисовал во время встречи поэта со своими почитателями в Союзе писателей Латвии в мае 1995 года. Этот рисунок был опубликован газетой «СМ» как иллюстрация к материалу замечательной журналистки Наталии Морозовой «Поэт вертикального поколения». Ниже — цитата из этой статьи, где приводится прямая речь Андрея Андреевича: «... Для меня это первая премьера моей книги 'Гадание по книге: вещи последних лет'. Я не знаю, что такое перестройка. Что дала нашей стране перестройка положительного, мы не знаем конкретно, что разрушила — знаем. Но вот такой книги я не мог издать никогда. Это то, что я хотел издать в течение моей жизни... В молодости мы часто гадали на каких-то стихах — часто совпадало. Вот я и решил сделать какой-то выход на просто книгу. Чтобы эта книга жила среди людей, чтобы была судьба. К счастью или несчастью, совпадает все время. Алла Пугачева, например, первой погадала по это книге и ей попала строчка: 'в эротическом сиром галопе я и мужа нашла на галерке'... На Новый год я гадал, и получилось: 'Господи, спаси нас от самоварварства!' Если бы я думал, я не мог бы догадаться. Я думаю, что когда пишутся стихи, ведь это ты закодирован кем-то. [...] Вот я живу и не знаю, правильно я живу или нет, но когда сверху диктуются стихи, я знаю что это правильно. Потому, что если это неправильно, меня бы лишили этого».

Людмила Метельская

НАКРОШЕННЫЕ СКАЗКИ

•

Тени от деревьев шевелились на земле и перешептывались:

- На меня больно наступили.
- Спасибо, лечусь помаленьку.
- Как дети, как внуки?
- Помаши ручкой.
- Ата-ата!

Ты идешь, а тебе машут с земли ручкой. Неужели не ответишь?

•

Две рожицы наелись кислого и побрели к зеркалу себя пугать.

•

Щенок сдунул хвостом жука с травинки – тот подкосил испуганные лапки, щелкнул в воздухе ботинками и упал в сказку, которую читаешь ты.

•

Хомячата пьют – миска улыбается пятью лысыми лучиками и боится, что к вечеру все вырастут и уйдут.

•

Попугай улетел к галкам в стаю. Кукует сейчас где-нибудь совсем один, удивляется: «Гоша, Гоша, это что такое?» Как что? Галки черные, ты белый – вот и все.

ЧТО ТАКОЕ?..

Что такое мир

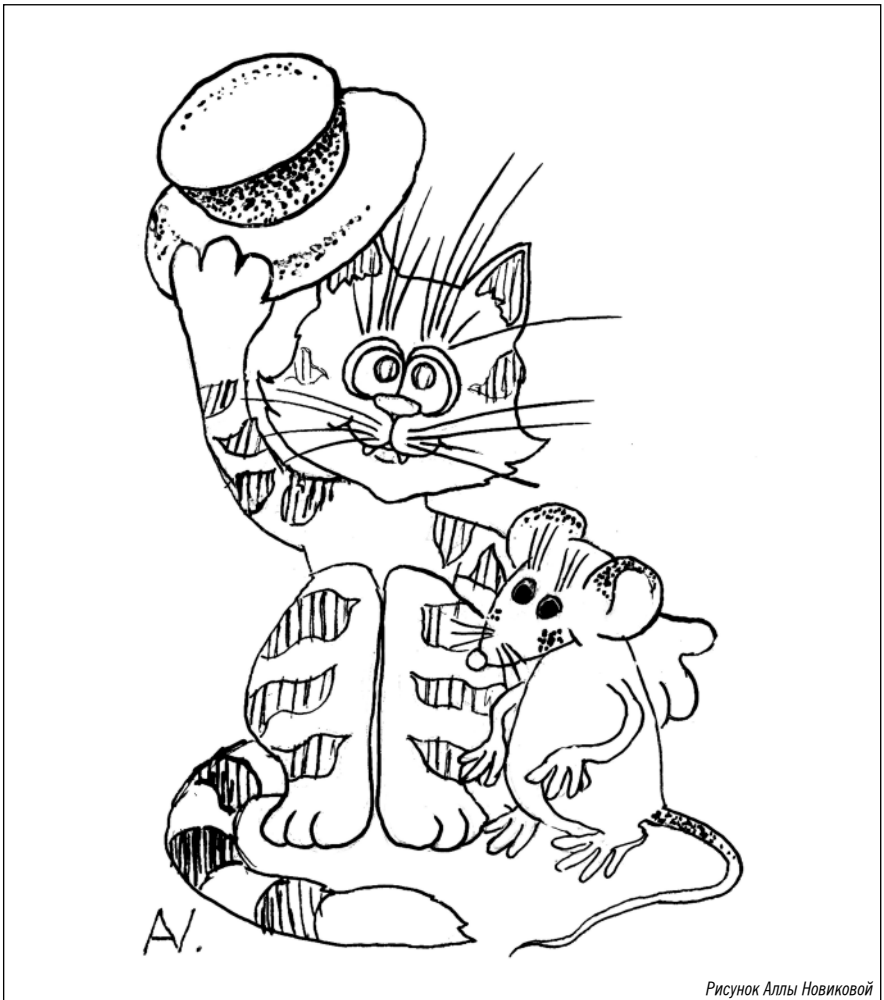
Мышь кивнула. Кот приподнял шляпу. Грянула музыка, и их сфотографировали.

Что такое удача

Мысли родились, умылись и пошли толкаться: «Я первая!» – «Нет, я!» В голове подул ветер. Почихали мысли в платочки, пожелали друг другу здоровья и помирились. А могла бы быть двойка по арифметике...

Что такое мечта

Кот замочил хвост в аквариуме, как мама белье на ночь. «Ловись, рыбка, большая и маленькая!» Зажмурил глаза и заказал себе сон о завтраке.



Янис Балтвилкс

ПРАЗДНИК ТАНЦА

Перевел Владимир Новиков

Спешащий стих

А этот стих
Спешит, не унимается:
Не начат он ещё,
Да вот, уже кончается.

Праздник танца

Юкумс из Тукумса,
Лига из Риги
В Талси представили вальсы.

Алдис из Салдуса,
Магда из Дагды
В Колке представили польку.

Это рассказывал
Калвис из Балви,
парень русоголовый.

Доброе утро

Поднялся утром я,
а долгожданная
уже пришла.

На липу забралась она
и ножками болтала,
и отражалась в луже,
что посреди двора.

А как, а как её зовут?
Да ты, пожалуй, знаешь,
конечно же, весна.

Украденный Париж

Ворона Лизавета
нашла в лесу газету.

Кричит: «О, что я вижу –
там пишут о Париже!»

«Парижа краше нету!» –
вздыхает Лизавета.

Вдруг ветер злой газету
отнял у Лизаветы.

И хочет выше крыши
поднять он весь Париж!

Ох, грустно Лизавете –
Париж уносит ветер!



Рисунок Владимира Новикова

Проворный хорёк

– Ты с утра, хорёк, куда
разбежался – не догнать!

– На базар ушёл хозяин,
надо куриц посчитать.

Сколько стоит самое дорогое?

Сколько стоит лодка?
Столько-то и столько!

Сколько стоит танкер?
Столько-то и столько!

Сколько стоит мост?
Столько-то и столько!

Сколько стоит Даугава?
...нисколько...

Сколько стоит самолёт?
Столько!

Сколько стоит небо?
...нисколько...

Сколько стоит рожь?
Столько-то и столько!

Сколько стоит Родина?
...нисколько...

Сколько стоит роса на лугу поутру?
Сколько стоят искристые радуги краски?
Сколько стоит улыбка сестрёнки моей?
Сколько – голос отца, сколько – мамочки ласки?

Думаю я, тебе ясно теперь:
нет цены у того,
что дороже всего.

Глупые сельди (считалка)

Сельди рады, –
сейнер ждут:
«Кильку скоро
привезут!»

Сейнер прибыл.
Бросил сеть.
Вся попала
в сети сельдь.

Раз, два, три –
ты свободен, посмотри!



Рисунок Владимира Новикова

Владимир Новиков

НАСТЯ В ПАСТИ

Сегодня учитель предложил первоклассникам рассказать о цирке. Первой руку подняла Настя Кругликова, самая весёлая девочка в классе. Она умоляюще смотрела на преподавателя и повторяла:

– Дайте я расскажу, дайте я!..

– Рассказывай, – улыбнулся ей учитель.

Настя встала и удивила весь класс:

– Недавно я побывала в пасти крокодила!

– Не сочиняй! – сказал Даник.

– Врёшь ты всё! – прокричал Вадик, который давно уже мечтал о переменке.

А Настя продолжала:

– В выходной я пошла вместе с дедушками Толей и Вовой в цирк. Билеты у нас были на первый ряд. Дедушки с двух сторон уселись, а я – посередине. В цирке все смеялись и радовались, пока на арене не появился... крокодил! Не зелёный вовсе, как в сказках, а с коричневой спиной. И пасть у него – жёлтая, словно одуванчиков объелся.

Вместе с крокодилом вышел клоун. И принялся забрасывать в эту одуванчиковую пасть маленьких человечков. Мне их стало очень жалко. Поэтому – раз – я увернулась от своих дедов, перелезла через барьер и побежала спасать этих человечков от безжалостных клоуна и крокодила.

– Ты что это?! – кричит дед Вова.

– Куда ты?! – вопит дед Толя.

Я им не отвечаю, всё сами видят. И некогда мне – ведь нахожусь у же прямо у раскрытой крокодильей пасти.

Но тут пригляделась – и вижу: ещё не все маленькие человечки проглочены. Да и не человечки это вовсе. А куклы. Я обрадовалась и принялась от счастья хохотать. А рядом смеются дед Вова и дед Толя, они прибежали вместе со мной человечков спасать.

Я всех веселее была. Так хохотала, что даже потеряла равновесие – и грохнулась в крокодилью пасть! А сама думаю: «Что будет? Проглотит или нет?» Но особенно-то не боюсь – ведь я уже большая, 7 лет исполнилось. Меня крокодилу надо будет долго пережёвывать. А за это время деды спасут свою любимую внучку!

Лежу я в крокодильей пасти и слышу издалека переговоры:

– Что делать? – спрашивает дед Толя.

– Надо спасать, – отвечает дед Вова.

– Только осторожно, пожалуйста! – умоляет клоун.

И начали они меня спасать. Дед Толя тянет за правую ногу, Вова – за левую. Но ничего у них не получается! Тянут-то они меня, а на самом деле весь крокодил тащится по арене.

Деды в конце концов поняли, что так меня не спасти. Поэтому они стали тащить по-другому: дед Вова за мои ноги, дед Толя – за крокодилий хвост.

А клоун вокруг бегаёт и кричит:

– Осторожно, осторожно! Крокодила не пораньте! Не погубите его, пожалуйста!

А я крепче держусь за жёлтый язык – чтобы зрителям интереснее было. И всё выдержала! Крокодил не выдержал. Лопнул! Потому, что был надувной. Настоящий надувной крокодил.

Клоун любезно раскланялся перед зрителями, потом посмотрел на моих дедушек и сердито прошептал:

– Вы со своей девчонкой мне реквизит испортили! А сегодня ещё два представления!

– Возместим потери! – дружно сказали мои дедушки.

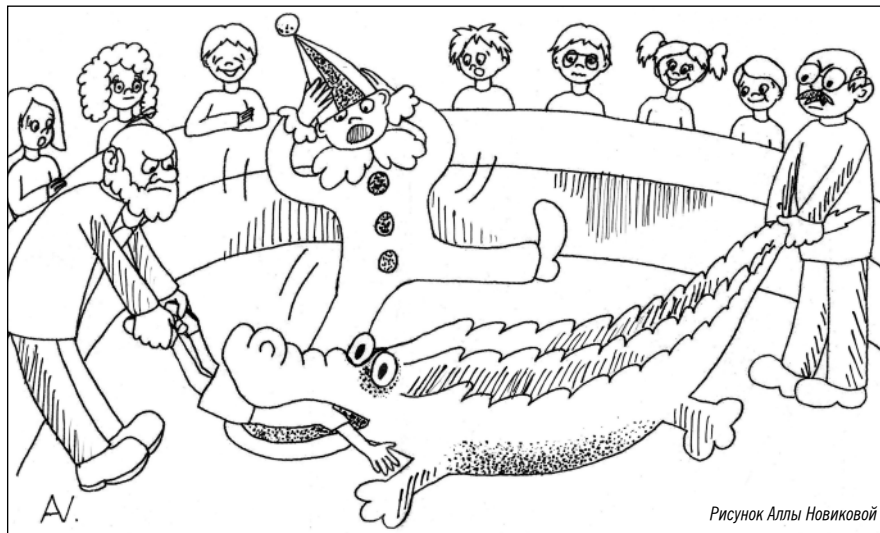
Мне всё равно стало жалко клоуна и я заплакала...

На этом Настя Кругликова закончила рассказывать и вздохнула.

Даник грустно сказал:

– И в самом деле, жалко.

– Ещё бы! – согласился с ним Вадик. – Очень жалко! Жалко, что крокодил был не настоящий... А то бы вам его никогда не лопнуть!



Евгения Рузина

СКАЗКИ – МАЛЮТКИ

Про лето

Слово ЛЕТО, конечно же, произошло от слова проЛЕТать. Кто же сейчас не знает, как оно пролетает: быстро-быстро! Но давным-давно, когда лето пришло на землю в самый первый раз, про него еще никто ничего не знал. Да оно и само не знало про себя ничего: ни как его зовут, ни кто оно такое, ни чем ему предстоит заниматься, ни что с ним будет потом... Да что там! То, самое первое на земле лето еще даже не догадывалось, что оно однажды кончится!

То древнее лето было жарким и солнечно-густым, как мед, в который нападали мушки и листики.

Мушки и листики тоже ничего о себе не знали. Одни кружили, другие шелестели. В общем, занимались, чем попало, и ни о чем не заботились.

Они несказанно удивились, когда все это однажды кончилось.

«Неужели мне конец? — подумало лето. — Значит, я пролетело? Почему жизнь так коротка?»

И лето разревелось.

Бедное, безутешное лето! Оно не знало, что еще вернется...

О чем мечтают лужи?

Человек мечтает: «Эх, если бы я умел летать!..»

У дерева другая мечта: «Вот бы походить по земле!..» — недаром стволы многих деревьев ухитряются так изогнуться, что оказываются совсем в стороне от того местечка, где вышли из земли корни...

Но о чем может мечтать лужа?! Самая обыкновенная, такая, довольно-таки кривоватая, растекшаяся после дождя лужа?

Вот в том-то и штука — что лужа ни о чем не мечтает! Она отражает сначала небо, а потом вообще все подряд — дома, деревья, прохожих... Вбирает все это в себя и радуется. Лужа наслаждается! Чем это? — спросите вы. Она наслаждается своей сбывшейся мечтой...

Человек свысока смотрит на эту лужу и брезгливо обходит ее стороной. Или еще хуже — швыряется в нее всякими камнями и палками...

Но если хорошенько подумать — получается, что с лужами все не так-то уж и просто!

Если подумать —образишь, что их родина — то самое небо, о котором мечтает бескрылый человек!

Вот пригреет солнышко, лужи начнут испаряться — и запросто опять окажутся на небе!

Сегодня ты на них смотришь свысока. А завтра они снова заберутся на такую верхотуру — только голову запрокидывай!

И вот там-то, на небе, у себя дома, бывшие лужи опять начнут мечтать. Но это не будут мечты «о высоком». Наоборот! Это будут мечты о том, чтобы снова пролиться. Мечты о земле, которая где-то там, далеко внизу. О чьих-то смешных босых пятках. О кружащихся в воде сосновых иголках и случайных листиках... И конечно же — о том, чтобы отражать в себе все подряд...

В следующий раз, если соберешься бросить камень в лужу, подумай: а не лучше ли просто как следует отразиться в ней? Возможно, когда она опять станет испаряться, она захватит и твое отражение на небо... Может быть, это — твой шанс, бескрылый человек?!

Про задранные носы

Бывают на свете люди, которые очень любят что-нибудь «этакое» себе вообразить... Только, пожалуйста, не путайте: не «о» себе, а — себе. Без «О» — понятно?! Это легко спутать. Потому, что человек, который любит воображать себе что-нибудь этакое, заодно обязательно любит сидеть где-нибудь подальше от других, подняв глаза к небу, или к потолку, или — ну, в общем куда-нибудь кверху...

Вот в этом-то вся и беда! Когда смотришь вверх — всегда заодно задирается и нос. Сами попробуйте!.. Теперь понимаете?!

Дети! Никогда не торопитесь дразнить «воображалой» того, у кого задран нос! Сначала хорошенько разберитесь — а куда он смотрит?..

Про крылья

Мне удалось подружиться с одним деревом. Это дерево растет у меня за окном. Выглянешь — оно всегда тут. Машет веточками. Никуда от меня не торопится...

На это дерево иногда садится ворона. Про которую я никогда точно не знаю: опять та или совсем не та, а, может, уже какая-нибудь другая?

Иногда я думаю: «Наверное, и ворона тоже хочет со мной подружиться! Наверное, я ей в прошлый раз понравилась, и именно поэтому она прилетела сюда снова...»

Но ведь не исключено, что это уже совсем другая ворона! Которая меня знать не знает! А я вдруг ни с того ни с сего полезу к этой неизвестной новой вороне со своей дружбой...

Да уж, нелегко подружиться с тем, у кого есть крылья... Ну никак не получается! Наверное, если бы дерево умело летать — я бы и с ним не подружилась...

Наш краткий перечень далеко не исчерпывает всей информации о событиях культурной жизни Риги и не охватывает всего множества культурных обществ и организаций.

Конец прошлого года ознаменовался крупными событиями со знаком минус: за неимением средств закрылось несколько культурных изданий. Среди них – литературный ежемесячник «Karogs» и газета «Kultūras Forums», освещавшая музыкальную, театральную и литературную жизнь, изобразительное искусство и др. новости культуры Латвии. С 1-го января не выходит русская газета «Ракурс», которая была замечательна тем, что давала не только обычный раздел «Культуры», но и регулярно находила место для литературной странички [www.kulturasforums.lv, www.rakstnieciba.lv].

В августе 2010 года увидел свет Латгальско-латышско-русский разговорник. Разговорник предназначается в первую очередь латгальцам Сибири; им могут пользоваться для освоения языка студенты – и все, говорящие на латгальском, латышском или русском языках. Составители – Лидия Лейкуме (Латвийский университет) и Алексей Андронов (Санкт-Петербургский университет) [www.lu.lv, www.spbu.ru].

«В Вентспилсе вручена премия Международного Дома писателей и переводчиков и Вентспилской Городской думы 'Серебряная чернильница'. В номинации 'Поэзия' награду получила эстонка К. Эхин, в 'Прозе' – латышская писательница А. Манфельде; за 'Перевод' – рижский поэт и переводчик А. Заполь (сборник стихотворений четырех латышских поэтов 'За нас / Par mums'). Стипендий 'значительному для латышской культуры, заслуженному литератору и молодому, многообещающему писателю' удостоились поэты К. Скуениекс и А. Остус, приз 'читательских симпатий' получила Майра Асапе...» [www.ventspilshouse.lv].

Вышли в свет три первых тетрадки нового литературного журнала «Latvju teksti». В рубрике «Переводы латышской литературы (и не только) на другие языки» А. Гутане информирует о книгах, изданных в 2010 году: «Издательство 'Dienas Grāmata' выпустило книгу Н. Икстены на русском языке 'Amour Fou. Чокнутая любовь в 69-й строфах' в переводе Л. Нукневич. Стокгольмское издательство 'Ariel' издало роман Г. Репше 'Оловянный крик' (перевод Ю. Кронбергса). В ереванском издательстве 'Antares' в переводе Наиры Хачатрян вышли «Цветные сказки» Иманта Зиедониса на армянском языке. В Москве на русском языке появились книги 'Берега дождя. Современная поэзия латышей' в переводе С. Морейно и сборник стихов У. Берзиньша 'Падежи и песни' в переводе О. Петерсон. В Канаде на английском языке вышли стихотворения Э. Паупса...» [www.literature.lv, www.satori.lv, www.openspace.ru].

Первые полностью переведен на другой (грузинский) язык эпос Александра Чака «Осененные вечностью» («Mūžības skartie»), в переводе – «Помазанные вечностью». Книга издана грузинским обществом «Георгика» и презентована в Рижском Латышском обществе (июнь), переводчик – Эрик Григолия [www.rlb.lv].

Международный центр культуры Рижской международной высшей школы экономики и управления (RISEBA): «Международная конференция 'Северные Афины'. Презентация книги М. Костенецкой 'Письма из дома'. Концерт национальных коллективов 'Весенняя радуга' (март, Дом культуры ВЭФ). Открытие Института бизнеса, торговли и культуры Турции и выставка карт Османской империи (март, Рижская Дума). Вечер турецкой культуры – Рамадан (Рамазан по-турецки), выставки мраморных рисунков 'Эбру' и каллиграфии (сентябрь, RISEBA)...» (председатель правления С. Самбурская [www.riseba.lv]).

Русская община Латвии (РОЛ): «Фольклорные представления 'Святки' (январь) и 'Масленица' (февраль) в рижских русских школах, а также в отделениях РОЛ в Елгаве, Салдусе, Лиепаве, Даугавпилсе, Резекне... Празднование Дня славянской письменности (май) совместно с Латвийской Ассоциацией русских обществ. Вышел в свет поэтический сборник В. Алтухова 'Преодоление'...» (президент РОЛ В. Алтухов [www.russkije.lv]).

Еврейский общинный центр «Алеф»: «В августе – сентябре 2010 года прошел Фестиваль еврейской культуры '5771'. 1 сентября увидел свет еврейский календарь, посвященный еврейскому образованию в Первой Латвийской Республике. 3 сентября в Верманском парке состоялось мемориальное событие 'У каждого ребенка есть имя' – впервые были зачитаны имена еврейских детей, погибших в период Холокоста в Латвии. В Риге, на Маскавас 14-а, открылась первая очередь Музея Рижского гетто. С 2010 года центр 'Алеф' начал выпускать новый журнал на русском языке 'Калейдоскоп еврейской жизни'. Это – единственное в странах Балтии издание такого рода. В журнале есть Литературная гостиная...» (директор центра В. Губатова [www.alef.lv]).

Под эгидой Организации российских библиофилов и Балтийского филиала Международного общества пушкинистов вышел в свет сборник «Рижский библиофил». Составитель – А. Ракитянский [www.knigoluby.ru].

Осенью 2010 года в Риге прошел I Европейский литературный форум, куда съехались писатели из 22 стран. Организатор Форума – Международная Ассоциация писателей и публицистов (МАПП) [www.apia.lv].

В НАЧАЛЕ БЫЛО...

КОНТЕКСТ – 8 –

Сергей Морейно. СОЛОВЕЙ ПЯТОЙ ЗОНЫ
Гарри Гайлит. СЛАБОУМНЫЙ РОМАН
Виктор Авогиныш. БЕЗДЕЙСТВИЕ – ЭТО НЕ КУЛЬТУРА
Анна Ранцане. ТРИ ПЕСНИ ИЗ БЛИЖНИХ САДОВ
Алексей Герасимов. ARS AD MARGINEM

ПОДТЕКСТ – 34 –

Вадим Агапов. НЕСБЫТОЧНЫЙ ДАР МНЕМОЗИНЫ
Сергей Морейно. Ж(ИЗНЬ) КАК ПОПЫТКА СИНХРОНИЗАЦИИ
Беседа за круглым столом. ПОЭЗИЯ ЖИВА
Владимир Ореховский. ДВА СУПЕРМЕНА
Гарри Гайлит. ПУТИ И ПЕРЕПУТЬЯ НЕОФИТА

ТЕКСТ – 84 –

Анна Аузиня. ТОЛЬКО ВО СНЕ БЫЛО ГРУСТНО
Игорь Трохачевский. ЛЕВЫЙ БАРМЕН
Семен Ханин. НОВОЕ СЛОВО В НАУКЕ ЛЮБВИ
Сергей Морейно. КОВЧЕГ
Инга Абеле. ПТИЧЬЯ ПАМЯТЬ
Владлен Дозорцев. ЧАСЫ ИДУТ, НО ВРЕМЕНА СТОЯТ
Сергей Тимофеев. КОМНАТА

АВАНТЕКСТ – 146 –

Елена Соковенина. БАНЯ
Светлана Топунова. СТИХИ
In Memoriam. ГЛУШЕНКОВСКИЙ САМОГОН

ИНТЕРТЕКСТ – 162 –

Юрий Калешук. ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ
Клавдия Ротманова. РЕМИЗ
Игорь Трохачевский. ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ
Алексей Герасимов. ПУТЕШЕСТВЕННИК
Елена Богуславская. ИМПРОВИЗАЦИЯ
Фаина Осина. НАДЕЖДЫ НА ВЕТРУ
Татьяна Чехольская. ВЫХОД ВСЕГДА В ТУПИКЕ

ГИПЕРТЕКСТ – 194 –

Владимир Новиков. ШТРИХИ К НАБРОСКАМ
ДЕТСКИЕ СТРАНИЦЫ. Составил Владимир Новиков
СОБЫТИЯ. ССЫЛКИ

*Шаржи на стр. 61, 137, 193, 194 – Владимир Новиков
Портрет Н. В. Гоголя на стр. 145 – Владимир Глушенков*

